КРАСНАЯ НОВЬ

№ 2

ФЕВРАЛЬ



МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

★
ПЕРВАЯ
ОБРАЗЦОВАЯ
ТИП. ГОСИЗДАТА.
Москва, Пятницкая, 71.
Главл. А. 5613. П. 13. Гиз 25109.
Заказ 235. Тираж 15 000.

Тени стоящего впереди.

(Роман).

Глеб Алексеев.

I.

Бережной просил приехать ровно к четырем, к концу занятий, и Глушков был точен до минуты. Бросив шоферу: — «Вы подождете, товарищ!», — Глушков вошел в вестибюль аляповатого, под крикливый купеческий мрамор разделанного дома, занятого трестом, и с легкой, почти юношеской бодростью побежал вверх по лестнице. Занятия в тресте подходили к концу, — служащие с притворной озабоченностью метались по коридору, наспех доделывая то, что нужно было доделать сегодня, как будто завтра им не предстоял такой же трудовой день; уборщица равнодушно заметала окурки в угол; курьеры, натужливо позевывая, поглядывали на часы. В комнате для посетителей у прозрачного, как пруд, зеркала, половина которого была отгорожена рыжей фанерой под директорский кабинет, пудрилась девушка с волосами цвета золы, в цветастой кофточке из модного трикотина. Она с инстинктивной грациозностью отвела в сторону руку, когда в комнату вошел член правления синдиката тов. Глушков, и, угадывая, что этим жестом она по-женски привлекала его внимание, и радуясь, как всегда радуется мужчина дразнящему кокетству новой, малознакомой женщины, Глушков спросил ее:

— А скажите, товарищ Бережной у себя? — Он знал наверное, что Бережной у себя и ждет его.

— У себя! — отвечала девушка, отмахиваясь пуховкой, как бы защищаясь ею.

— Так! Так! — Глушков покачал головой, разглядывая с нагловатым спокойствием знатока ноги девушки, и та, ловя этот беспокойно-оценивающий мужской взгляд, отставила ногу, покачиваясь и поводя узкими, как лодки, бедрами. В оконном стекле крутым кипятком варилось солнце, по-весеннему шалые, жизнерадостные как щенята, лучи кидались в зеркало, играли в нем. В открытую форточку тянуло первым апрельским сквозняком, бередливым запахом зарождающей земли и тем смутным беспричинным беспокойством, что каждую весну обновляет людям жизнь.

Кивнув форточке, солнцу, девушке, ее голодным глазам девственницы, следившим за его отражением в стекле, — Глушков шагнул к директорской двери с той легкой, просторной стремительностью, с какой движется человек в такие вот пахнущие молодостью, солнечные, удачливые дни. И все с самого утра сегодня было радостно и удачно. Утром проснулся он с ощущением силы и здоровья, как всегда у человека, у которого вчера был наполненный, не прожитой впустую день, которому предстоит такой же день сегодня. Он принял холодный душ, занимался гимнастикой, вышел к ожидавшей за столом семье крепкой, хозяйской походкой уверенного в каждом своем движении человека, — и на пороге в его колени, смешно трепыхая бантом, бросилась дочь. За кофе он вслух читал телеграммы, держа в своей руке теплую, податливую пожатиям руку жены. Потом он прочитал письмо отца из Мещовска, отец писал о своем, уездном, о том, что прорвало по весне плотину. И ощущение домовитости, покоя, прочности своей личной жизни, привычности предстоявшего трудового дня — сегодня, как всегда — наполнило его уважением к месту, которое он занимал в жизни, к своим мыслям и поступкам. В приоткрытую фортку с весенней гулкостью хрипел настойчивый, вызывавший его рожок автомобиля — и он стал пить кофе, обжигаясь и торопясь не опоздать в НТО, где с его участием должно было состояться плановое заседание. Едучи на заседание, Глушков не без самолюбования повторял отдельные фразы предстоявшего ему доклада о «стандартизации производства путем сокращения сортов до двенадцати наиболее ходовых образцов», и эти фразы, круглые и решительные, как ядра: «рационализация производства», «формы ситцевонабивных машин», «проценты», «онколь», «векселя», «единицы себестоимости» — фразы, с которыми он сам познакомился всего несколько лет назад, казались убедительными одной своей лаконичностью, и он считал дело выигранным. И в самом деле:—собранию импонировала уверенность, с которой он говорил о производстве, о машинах, о рынках сбыта, и оно приняло его предложение, — и это опять наполнило его горделивой мыслью, что он не ошибался в основном: воистину революционное самосознание оказывалось верным ключем к рынкам сбыта и стандартизации выделки. «Вот видите! — возвратясь из НТО, сказал он товарищам по синдикату, — бывшим хозяевам нужны были годы, чтобы вникнуть в сущность нового дела, а мы, большевики, подходим к этим запертым дверям с ключем классового самосознания, и двери открываются перед нами со сказочностью «сезама отворись»!» И он с обычной своей стремительностью принялся за очередные, уже ждавшие его дела. В кабинет входили представители объединенных в синдикат трестов, заведывающие отделами, секретари с набухшими папками «для подписи». И с каждым из них с размашистой уверенностью ворочающего миллионами дельца он говорил о производстве, о накладных расходах, о новых машинах из Германии, вдруг ошарашивал неожиданным, будто и не шедшим к делу, вопросом об урожае в Калужской, в Тамбовской губернии, сбавлял отпуск товара, перебивал себя, пересказывая свой доклад о стандартизации

производства и о том, как ловко было поставлено голосование в отсутствие главного оппонента... «Ведь это миллионы! Миллионы экономии, батенька мой!» — пристукнул он по столу, от чего почтительно-неподвижный секретарь с выщербленным лицом захлопнул портфель, словно пустой кошелек. Потом он подписывал телеграммы и срочные бумаги, — не переставая рассказывать, рисуясь тем, что одновременно может делать два дела. Потребовал реестр векселей на сегодняшний день, реестр задолженности отдельных трестов и, — морща свои блестящие, круто взбегающие брови, — небрежно черкнул нотабене против двух трестов, от чего мокрые, зашлепанные губы заведывающего отделом сами собой сложились в детскую дудочку: нотабене тов. Глушкова оставляло без товаров целый трест. В перерывах Глушков звонил по телефону Тане, спрашивал: — отвели ли в детский сад Ирочку и о том, что утром вид девочки показался ему нездоровым; потом, выждав, когда в кабинете никого не было, позвонил Надежде Борисовне, жене Архипа, едва успел сказать ей, что сегодня надо свидеться там же, и что попрежнему она — милая-милая. «Так не забудьте, товарищ!» — холодно оборвал он: — в кабинет уже входил с официально-вежливой, опасливой улыбкой очередной посетитель, — и бросил трубку. По улицам с расточительной торжественностью шествовала весна, наливая солнце и жизнь в окна, в блестящие, словно смазанные маслом лужи, в глаза прохожих. Шальной, дуреющий по весне ветер рвал с тополей теплую вату сережек, и она садилась на плечи прохожих нетающим снегом. В открытые окна, от фабрик, от автомобилей — шибал в нос горьковатый запах гари, бензинной вони и жизни — и, как всегда в тяжелом, весеннем воздухе, стелился по земле, мешаясь с прелым туманом почвы и прошлогодней листвы.

С размашистостью не привыкшего к докладам человека он отворил дверь в кабинет и шагнул в желтоватый, прокуренный сумрак.

— Это я, Архип! — сказал он, бросая кепку на стол и тут же у стола опускаясь в крутое кожаное кресло. В этом углу кабинета мебель была новой и мягкой: здесь Бережной принимал посетителей и тут же, как знал это Глушков, имевший в своем кабинете такие же чужие, холодные кресла, происходили заседания правления.

— Я сейчас, Саша! — сказал Бережной, не поднимаясь из-за стола и не здороваясь с вошедшим, словно расстался с ним только что. Эта привычка не здороваться у них, как у многих революционеров, осталась от гражданской войны, и оба бессознательно дорожили ею. В солнечном пятне, налегавшем через окно, были видны по-мужичьи маленькие, проколотые глаза Бережного, беспокойно шуршавшие в раздерганных кустиках бровей, его короткие не по росту руки, одубевшие по-мужичьи, прямые пальцы которых, собирая со стола бумаги, вздрагивали, словно прикасались к раскаленной плите.

— У тебя машина с собой? — спросил Бережной, не подымая головы и еще глубже зарывая руки в бумаги. По этому движению Глушков догадался, что Бережной стыдится дрожания своих пальцев и не может

его сдержать, и впервые за тот тревожный и необыкновенный день ощутил щемливое чувство внезапно слетающей тревоги.

— Машина внизу... ты хочешь ехать на фабрики?

— Да нет же! — вскричал Бережной со смешной растерянностью, словно ловил в воздухе мух, всплескивая руками. — Замечательно! У тебя машина, у меня машина! Я хотел предложить тебе проехаться в Петровский парк по хорошей погоде...

Он рассмеялся, оскаливая желтый прокуренный рот — и вдруг, словно вспомнив что, оборвал смех, прикрывая запрыгавшие губы ладонью. Глушков вскинул голову, чтобы отказаться — дома ждут жена и дочь, вероятно, уже готов обед — почему не поехать вместе обедать? — а в шесть будет ждать Надежда Борисовна, чтоб еще раз — в который раз! — обжечь опасной, украденной у друга и потому особенно заманчивой лаской. Но, подняв голову, чтобы сказать то, что можно сказать — Глушков увидел перед собой очень холодное, белое от нечеловеческого напряжения лицо.

В это время в комнату с товарищеской развязностью секретарши вошла давешняя девушка в цветастой кофточке. Ее напудренный носик, будто белый флажок, плескался на широком, на все согласном лице. Она кивнула Глушкову, как человеку, о котором она сегодня, в весну, в беспокойный весенний вечер узнала тайное, понятное ей одной, — и Глушкову стало стыдно. Он старательно принялся раскуривать папироску, долго искал, куда положить спичку, воровато засунул ее под бюст Ленина.

— Пойдем, Саша! — усмехнулся Бережной, когда девушка, забрав папки со стола, вышла.

Машина шла ровным, чуть звенящим ходом по Тверской, зарываясь в бестолковую суетню извозчичьих лошадей, покрякивающих автобусов, метавшихся пешеходов, по-весеннему крепкого стука сапогов, по-весеннему громких голосов, окриков, бензинной вони, горько шибавшей в нос из-под колеса. От разогретой кожи пахло пбтом и свежим лаком, с витрин били в глаза красноватые отсветы солнца, и — как всегда на быстром автомобильном ходу — пешеходы почти не примечались, словно они и не заливали гомонливой, озабоченной толпой обе стороны улицы. Но отчетливо — как никогда, если идешь по улице пешком — стремились в глаза, запоминались вывески «Коммунаров», «Личных трудов», «Тэжэ», Петровых и Гусаровых. «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Приехал Гузнам — любитель дешевле всех продавать обувь» — окна с галстуками, с обувью, с яблоками, с куличами, с подтяжками, с парикмахерскими куклами, которые жеманно кланялись проезжавшим. И дома, под которыми выпирали вперед эти окна красотой и богатством нэпа, казались беременными, выставлявшими на всенародные глаза распоротое свое брюхо. Бережной отвалился назад, нахлобучив кепку на самые брови, и, казалось, дремал в этом звенящем движении машины, мчавшейся мимо разворoченных картин паноптикума. Взглянув на товарища сбоку, Глушков

и в самом деле увидел, что глаза его закрыты, словно он спал, как спал иногда слышащим сном на заседаниях, как спал когда-то зорким сном в гражданской войне.

За Триумфальными воротами автомобиль вырвался в холодноватый простор пригорода, в лицо ударила волна засвежевшего к вечеру, сладковатого ветра. По длинному, накатанному до глянца треку один за другим, словно связанные веревочкой, докучливо тянулись велосипедисты, и казалось, что они стоят на месте, и непонятно, для чего с такой натужливостью перебирают ногами. Походка прохожих стала медлительнее, как всегда за городом, и Глушков уже различал их лица. Он снял кепку, — с тем пьянящим удовольствием, с каким насквозь городской человек отдается природе, выплеснул волосы ветру, и ветер подхватил их и ласково заиграл ими.

— Как хорошо! — воскликнул Глушков.

— Что хорошо? — глухо, будто в шапку, переспросил Бережной.

— А вот это! — нежась, повел рукой Глушков, указывая на деревья, поблескивавшие беловато-весенней, уже запыленной листвой, на желтое, пустое как блюдце поле аэродрома, плеснувшее в глаза слева, на дальний горизонт, по которому, в холодной оправе синеющего вечернего бора, словно грибы, белели палатки лагерей.

— Я очень рад, Саша... — начал Бережной осторожно, как бы все еще не решаясь, но Глушков перебил его криком, указывая на аэродром: — по лугу с неловкостью весенней, оживающей стрекозы бежал самолет.

— Ты видишь? Видишь?

— Да, Саша,— не взглянув и насмеливаясь, продолжал Бережной,— все приходит в свои сроки, даже ветер, как сказал какой-то мудрец... Я очень рад, что ты чувствуешь вот эту... эту красоту, что ли? Мирную красоту возрождения... Я всячески приветствую, — раздельно, как на собрании, заговорил он, окончательно овладевая собой, — что из тебя образовался такой отчетливый, видный хозяйственник, и даже непонятно, как ты командовал отрядом на войне... Постой! — сурово оборвал он, приметив, что Глушков привстал с сиденья и протестующе поднял руку, — я только хотел спросить, понимаешь, не для масс, не для собрания, — мы с глазу на глаз сейчас, — тебя удовлетворяет это?

— Но что же собственно? — вскричал Глушков, не понимая.

— Это! — упрямо продолжал Бережной, — магазины, мимо которых проехали... толпа, шествующая к мирным очагам после службы во славу социалистического отечества... кустари, парикмахерские болваны, правозаступники, жилищное право, суды, сумочки по последней парижской моде — все то, чего не будет, не должно быть в обществе, за которое мы боролись, и что преступно расцвело сейчас при нашем с тобой снисходительном попустительстве... Пиджаки, понимаешь?

— Но при чем пиджаки! — перебил Глушков, кладя руку на колено товарища.

— Я не могу яснее... но до боли, понимаешь, чувствую, — и ты пойми... Мне иногда кажется, что мы передели с одних плеч пиджаки на другие, и вместе с пиджаками и пиджачную философию... Я не могу для себя лично терпеть лицемерие фразы, на которой успокоилась революция... Понимаешь? «Мы боремся за социализм, но в переходное время, знаете!..» Это паскудное «знаете»... Хочешь — сойдем здесь?

И, тронув небрежным жестом, — Глушков понял, что жест этот был нарочито небрежен, и этим жестом он как бы передразнивал его, Глушкова, — плечо шофера, Бережной пролаял сквозь зубы:

— Подождете нас здесь.

Они вышли из машины. В западающих лучах солнца сосны стояли надменные и безмолвные, с их раскидавшихся шапок стекал торопливый закатный румянец. И когда последние, вялые и уже безразличные лучи, как бы в отчаянии цеплявшиеся за вершины, все сразу скользнули за горизонт — подул, просыпаясь, ветер и тронул хвою. Глухая, проржавевшая прошлогодней листвой тропинка уводила в бор, в молодой весенне-залиловевший кустарник, и по ней пошел Бережной, спотыкаясь и размахивая короткими своими руками. И тогда — еще раз в этот страшный день — ощутил Глушков чувство настойчивой тревоги, и шаг его невольно сделался мягким и связанным, ботинки цеплялись за иглы, и он уже остановился-было сказать, что итти дальше — сыро и грязно, и что за охота получить насморк!

— Я принимаю все, что исходит от нашей организации, как закон, — ты понимаешь меня! — выкрикивал на ходу Бережной, — но есть вещи, — мои вещи и во мне, и их никто не вправе регулировать, кроме меня самого...

— Какие же это вещи, Архип? — спросил Глушков, поддевая ногой гнилушку и следя за ее полетом в темную ландышевую листву.

— Ну, хорошо... — трудно, словно разжевывая неудобную пищу, сказал Бережной, — я хотел вот о чем... понимаешь... спросить тебя, хотел о том: — коммунар ты или нет? — Бережной остановился, туго поблескивая холодеющими в лесном сумраке глазами, — я спрашиваю тебя не о партбилете. Понимаешь?

— Ну, конечно же, коммунар, — отвечал Глушков, раздражаясь и недоумевая, — но что тебе вздумалось спрашивать об этом? Что за РКК в лесу? Поедем лучше обедать ко мне?.. — и он дружески тронул его за рукав.

— Постой, Саша, — упрямо отвел его руку Бережной, — может быть, это просто глупо, пусть так, но ты послушай... помнишь фронт, когда мы были еще способны во имя революции клясться жизнью, когда достижения революции за один сегодняшний, видимый день были дороже самой жизни? Саша! — вскричал Бережной с внезапной и от того страшной печалью в голосе. — «Тому, кто изменит революции, товарищ подаст револьвер»! Ведь это твои слова, Саша!

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Глушков, с инстинктивной, звериной внезапностью понимая, для чего Архип пригласил его

сегодня и поезд в лес. И тем скользким, коротким движением, каким ощупывал он револьвер в кармане в минуты острой опасности на войне, скользнул ладонью по пиджаку: револьвера с собой не было.

— Что ты хочешь сказать? — повторил он устало, ощущая ватную, распаренную слабость, от которой гнулись колени. Тропинка была глуха. В тишине, которая сейчас же, словно тысячепудовый камень, упала за его словами, стало слышно, как за бором проскрипел железными зубами трамвай, зазвенели сосны, покачивая оживающими к ночи вершинами, и еще слышнее их колотилась, булькая кровью, жила на виске. Тогда, не моргая, как не моргает человек в минуту смертельной опасности, когда уже не умом, а инстинктом рассчитывает он каждое свое движение в останавливающихся секундах, — Глушков стал следить за приближавшимся к нему лицом Бережного.

— Я знаю все! — сказал Бережной со спокойствием и лязгнул челюстями. Этот странный звук был похож на запирание щеколдой двери.

«Конец!» — подумал Глушков, кивая головой.

— Ты помнишь наш уговор, Саша, — продолжал Бережной, подходя так близко, что Глушков видел одно его нестерпимо-белое лицо и неподвижные вываренные глаза на нем, — тогда эта мальчишеская клятва дала нам силы, и, может быть, только потому мы и уцелели! Вот! — выкрикнул он, по своей привычке всплескивая руками. И под этим всегда немножко смешным, как у всполохнутой наседки, движением Глушков еще раз скользнул рукой по карману.

— Не торопись! — продолжал Бережной, — я могу одолжить тебе свой, — и он вынул револьвер.

Глушков рассмеялся, и смех его заклокотал во рту словно кипяток. В этот смех — он сам понимал это — он вкладывал все: — и восьмилетнюю дружбу, и виноватость, и нелепость положения, в котором очутились они — приятели, ответственные работники, коммунисты. И еще: револьвер в руках товарища сейчас был страшнее, чем расстреливающие дула в гражданской войне.

— Что за шутки, Архип! — вскричал он, напряженно думая о другом: — «только мгновение! Еще только полшага!» — Что за шутки, Архип, — не понимаю! И что ты знаешь, наконец? — последнюю фразу, срываясь, выкрикнул Глушков тоненьким, звякающим голоском и, боясь выдать себя, опять забулькал застревающим во рту смехом.

— Я знаю все о тебе, Саша, и о Надежде! — сказал Бережной, с медлительной торжественностью отчеканивая каждое слово.

— Ну, и что же! — так же медлительно, в тон ему, тем неверным, деланным спокойствием, от которого люди иногда седеют, перебил Глушков. — За бабу! За бабу! Ты — революционер и большевик!..

— Постой, Саша! Не в бабе, баба — случай! Я хочу в общем и целом... В революции были враги, и этих врагов мы знали! Знали, с какой стороны ждать. Но теперь грызуны кругом, грызуны — в нас, в строителях, в самих... Вот магазины эти... ну, магазины же! — замахал руками

Бережной, — не только им, для подленького переходного «знаете» — а нам, тебе оказались нужными...

— Но ведь это же личное, мое... ведь ты сам только что сказал... — с возмущением вскричал Глушков, подвигаясь на полшага вперед, к оружию, которое Бережной попрежнему держал в руке. И, ловя себя на мысли о том, что он крадется, чтоб вырвать — Глушков вдруг вспомнил утро, свой большой, полноценный рабочий день, плановое заседание в НТО, на котором он бросался литыми, круглыми, как ядра, фразами своего доклада, почтительных секретарей, цветастую девушку с весенней, готовой на все улыбкой — и, вспомнив, усмехнулся. Было ли все это или не было? И когда же снится сон, от которого трудно проснуться?

— Нет, Саша, нет! — с горькой, с непереносимой жалостью продолжал Бережной, — ты уже не строитель, нет! Ты уже опочил на лаврах! Ты уже отрастил на революции брюшко, начал получать с нее проценты... Проценты, процентики, процентища!.. Стой! — закричал Бережной, приметив, наконец, вкрадчивое движение Глушкова, — дай мне сегодня все сказать! Коврики завел, а!.. не коврики — текинские ковры в два ряда, кофейничек, пианино... И, конечно, ко всему этому: к парикмахерским, к коврикам, — нужны женщины, Саша, — доступное, неизменяемое от века удовольствие... много женщин! Много!.. Чем опаснее — тем лучше! Вспомни! Вспомни своих женщин, — а звучит-то как! во множественном числе! — вспомни своих женщин за один прошлый год! — Подруга твоей жены. Стой! — закричал Бережной, хоть Глушков и не думал трогаться с места. — И что ж, эта женщина привлекла тебя, полонила по-женски, ну... вот как может завязать человека в узел жена? Нет, Саша! Ты — охотник за орхидеями! Тебя влечет опасность! Подруга, — подумать только, под самым носом жены!.. Вот во что вылилась революционная романтика, опасность, которой мы жили, кровь, которой умывались во имя счастья для всех... Так, что ль, по-вашему, по-интеллигентски? О Надежде разговор потом! Потом! Поговорим в общем и целом... Хоть одному человеку на свете нужно говорить правду — и эту правду ты скажешь мне! — Да, мне! — с нерассуждающей властностью выкрикнул он. — И не для себя — нет! — я требую этого, — для них, для тех, кто вместе с нами умывался кровью гражданской войны, кто идет за нашим плечом к новой жизни... Чем мы с тобой должны быть для них? — спросил он, в жадной, в непомерной какой-то тоске заглядывая в глаза Глушкову.

И под этим движением уже не он, а Глушков подался назад, не выдерживая сосредоточенно-белого взгляда товарища.

— Не знаешь? — спросил Бережной, тихо покачивая головой.

— Нет! — покорно отвечал Глушков.

— Ну, я скажу тебе! Ах, Саша, Саша! Ты думаешь: — был мужиком, им и остался, мужлан Бережной... Нет, Саша! — на фронтах все было

вровень: — что одному, то другому... А сейчас тебе гарем, а мне жену, да и ту ты ухитрился разделить пополам... Хухрикову, Хохликову, как ее? — помнишь? Потом еще переводил в Ташкент, чтоб до РКК не дошло... И эту Женю... не красней: — я по-товарищески тебе говорю... что умерла от аборта... А на сладкое — Надежда Борисовна, жена ближайшего товарища! Из-под носа! Краденая малина слаще, а? Я еще с прошлого лета заметил, как в Крым ездили, сопляжниками на пляжах стали... Товарищи потом, другие, понимаешь, — намеки грязные... гадость какая! — вскричал Бережной, в омерзении крутя головою. — Ну, скажи вот так один на один, никто нас... только деревья... Ведь гадость, а? Гниль, мерзость, в которую многие... головой, головой, понимаешь?..

Под этими хриплыми, оглушавшими, как пощечины, фразами Глушков все ниже наклонял голову. И — как всегда бывает это с человеком в такие вот до дна достающие минуты — его внимание чудно раздваивалось: — было горько от нестерпимой правды Бережного, а слух с удивительной отчетливостью различал в шуме повечеревшей листвы голоса отдельных деревьев: — победно ревет одинокий дуб; по-вдовьи тоскливо шепчет сосна; тоненько, словно колокольчик далекого стада, звенит ель; — и кажется, что звон этот ты слышал однажды и позабыл.

— Мы были с тобой товарищами, Саша, но что осталось в тебе от Глушкова, преданного революции большевика? Тот родил гору, а тебя съела мышь, которых так много на складах наших трестов.

— Ну, пусть... — устало сказал Глушков, — кто тебе дал право судить?

— Ну, пусть... — с упрямством смертельно уставшего человека повторил Глушков. — Чего ж ты хочешь от меня? Смешная вещь! Чтоб я перед тобой пустил пулю в лоб, что ли?.. Бе-ережной!

Глаза Бережного потухли сразу, и лицо его стало напряженно-красным, словно поднял он не по силам большой камень, — и теперь ему трудно. И тогда звериным, — тем нижним чутьем, которым мгновение назад прислушивался к шуму деревьев, — Глушков понял, что надо дать дойти человеку до невозможного, и не выдержит невозможного человек, надо только сказать вслух самому то, чего не смеет сказать враг:

— Итак, ты предлагаешь мне пустить пулю в лоб? — смелея и в смелости сразу впадая в холодное, нагловатое спокойствие, спросил Глушков. — Американскую дуэль, а? Самоубийство? Ну, что ж! — и с радостью, от которой зажимало горло, и в страхе выдать эту простейшую, инстинктивную радость, почуявшего спасение человека, он подошел ближе. — Спасибо, Архип! Ты прав, я запутался, я уже не тот, не прежний... Может быть, верно и о брюшке, и о процентах... Все течет, — и наши понятия, и наши задачи... Но все мы — должники прошлого, и живем за счет его векселей, и вот тут... вот тут, — повторил он тише, — в ка-

кой-то маленькой доле ты прав... Вчерашний день оказался светлее сегодняшнего... Дай мне револьвер!

И он уже протянул руку, чтоб взять честно... да, честно, возмездие за измену вчерашнему дню, — и еще стараясь не сморгнуть, в неимоверном, в неповторяемом усилии стараясь не сморгнуть. Архип пустыми, непонимающими глазами смотрел на протянутую руку.

— Саша! — сказал Бережной.

— Ну, что, Архип? — отозвался Глушков, опять ощущая внезапную слабость; рука его плетью упала вниз.

— Я только одного не уяснил... не уяснил с достоверностью...

— Есть ли надежды на исправление?

— Не шути, Саша... вот это, в твоих отношениях с Надеждой... Обычное, что заставляет тебя не пропускать ни одной юбки, или, может быть...

«Вот оно!» — с облегчающей радостью подумал Глушков и, как бы стыдясь того, что нащупывал Бережной, опустил голову.

— Для меня только одно, — продолжал Бережной, — может быть, это... ну, ты же понимаешь что!.. Есть любовь, а? Любовь! — повторил Бережной задумчиво, — которая многим не суждена... а, Саша?

И тогда Глушков, словно только и ждавший, чтоб Бережной сам произнес эти слова, — вскинул голову и с насмешливой дерзостью победителя, мстившего за минутное поражение, закричал ему в лицо:

— Ты — крот, слепой крот... Да, мы любим друг друга, твоя жена и я... Но ты, ты... вот ты — как стоишь, с револьвером, — красавец, дуэлянт... это ты заставил нас скрываться и обманывать. Какой же ты коммунист! Ты — готтентот: что мое — мое, что твое — тоже мое... Для тебя жена — вещь, как земля. Ты куренка чужого на смерть забиваешь камнем, когда он к тебе в огород... так и жену! — бешено вскричал Глушков, заметив, что Бережной хочет ему возразить, — теперь моя очередь досказывать до конца... Разве я не выслушал тебя, товарищ Бережной? Или все общее, кроме жены? Кроме собственности над человеком?

И, видя, как под его словами, голова Бережного закачалась, словно под ударами пощечин, а по щекам потекли красные пятна виноватого гнева, — Глушков впервые в это мгновение ощутил страх от сознания нелепого, что могло произойти всего минуту назад. Он тронул Бережного за плечо и позвал неожиданно тихо:

— Архип!

— Ну!

— Архип, разве ты мне или я тебе в любви судьи! Откуда я знаю — почему я люблю твою жену... Мне трудно оправдываться в этом. И тысячу раз просто, по-товарищески я хотел притти к тебе, сказать, как другу, как ближайшему своему другу, что мы любим друг друга, но я боялся. Боялся, что ты не поймешь! И если все-таки после всего нелепого, что произошло сегодня, я по-твоему виноват, — суди!

Последнюю фразу он выкрикнул с запальчивостью, раскинул руки в стороны, как бы подставляя грудь для выстрела, — сам невольно любуясь драматичностью положения, в котором оказывался героем.

— Суди! — повторил он, хватаясь за ворот рубахи, словно хотел сорвать его. От жалости к самому себе сводило челюсти, и закипали слезы.

— Суди! — крикнул он на весь лес. Но вырвалось это слово шопотом, таким, что Бережной еле расслышал.

— Саша! — сдаваясь его искренности, виновато сказал Бережной и спрятал револьвер, — я хочу тебе сказать... Прости меня! Слышишь?

— Прости! — повторил Бережной, зарывая глаза в темную ландышевую листву.—Ты прости! Вот сейчас мы поедем к твоей бывшей жене, и ты скажешь ей правду, а потом я отвезу тебя к настоящей твоей жене...

— Ну, и что ж? — рассмеялся Глушков. — Машина ждет! — Эта странная, головокружительная новизна положения уже увлекала его.

— Машина ждет... — продолжал Бережной, — может быть, мы пойдем, Саша... Это же — большое и обидное недоразумение, и разве можно, чтоб столько людей были в обмане?

— А разве я не говорю о том же? — воскликнул Глушков и с горделивым спокойствием человека, который только что пережил большую опасность, пошел вперед к выходу на аллею... И чтобы показать Бережному, что он очень рад, что все так случилось, и чтобы перейти — как подумал он про себя — к очередным делам, он равнодушно сказал: — А темно-то как!

— Да, темно, — отвечал Бережной, формулируя положение со свойственной ему обстоятельностью.

II.

Машина шла в город со стремительной, обжигающей лицо быстротой. Оба молчали, отвалясь на подушки. Ветер свистел в уши, расшибался о целуллоидовый козырек; в беге машины казалось, что деревья сходят с дороги в стороны, поворачиваясь темными своими спинами. Был тот час густеющих сумерек, когда на улицах уже зажигали огни, но окна были еще темными, и дома казались насупившимися, отошедшими от дороги горами. С ипподрома тянулись тряской веревочкой извозчики, и лошади их шарахались больше для порядку, чем от испуга, когда машина, разбрасывая тяжелую, похолодевшую к ночи пыль, скользила мимо.

Глушков понимал, что надо о чем-то додумать до конца, немедленно решить такое важное, что прежде и не решалось в жизни. Жизни с Таней подходил конец, нелепо пробивший именно сегодня. А это значило, что завтра утром не произойдет все то обычное, что, может быть, и называется мещанством, но без чего жизнь пуста, как стакан... Да,— он был и есть коммунист, и в каждое мгновение готов умереть за идеалы пролетарской революции, но ведь есть же и у него уголок в сердце, который он не может отдать никакому суду потому, что только этот — крошечный, не отдан-

ный ни революции, ни партии, ни синдикату — уголок и есть он, Глушков, настоящий, каким родила мать. Он ошибается в жизни, а почему? В революции был общепонятный, обязательный для всех, единственный закон:— гнев революции, и по велению этого закона он — сын уездного учителя, гимназист Глушков — взял ружье и завоевал новую жизнь, но где они— нормы новой, завоеванной им жизни, по которым надлежит жить новому человеку? «Нравственно все то, что помогает мировой революции и конечной победе пролетариата, и безнравственно все то, что не помогает этой революции!» Вот он — единственный закон, который дала людям ушедшая революция: — на нем стройте государство будущего, жизнь, свои человеческие взаимоотношения. На нем стойте, как на крепком берегу, машите обеими руками мировой революции! И разве он, Глушков, не служит мировой революции ежечасно и ежеминутно всеми своими мыслями, помышлениями, поступками? Революции угодно, чтоб он торговал ситцем— он торгует ситцем! Революция прикажет, чтоб завтра он стал огородником, ткачем, солдатом, подпольщиком, — он станет всем, что захочет от него революция. Но ведь не политграмотой же заниматься с товарищем Надеждой Бережной на пляже в Крыму или в гостинице у Савеловского вокзала в те немногие часы, что оставила ему революция для личной жизни? Пусть это частный случай! Но когда частный случай раздавливает тебя, а не соседа — лучше всего понимаешь, что и вся жизнь есть только большой частный случай.

«Спокойно! Спокойно!» — прервал себя Глушков. Автомобиль свернул от Триумфальной вправо, уже открылись палисады Большой Садовой, и улица словно вонзалась в них накатанными нитками серебряных под фонарями трамвайных путей. Было удивительно и странно, что думать над этими большими, потрясавшими жизнь, вопросами приходилось наспех, на полпути к дому, где, может быть, всего через десять минут...

— Архип! — позвал он вслух, не в силах сдерживаться.

Но Бережной безмолвствовал.

— Архип! — с властной требовательностью крикнул Глушков.— Я требую, чтобы ты слушал: — кроме нас с тобой в этот нелепый, мертвый случай ввязаны еще три человека... Таня, Надежда Борисовна, моя дочь... В чем виноваты перед жизнью, перед нашей правдой они?

— Ну, пусть так... — глянув на тупое, мертвенное до отвращения лицо товарища, продолжал Глушков, — пусть на меня налетело, сбило с ног чувство к другой женщине, и эта другая оказалась твой женой... Тво-ей женой? — повторил Глушков, делая ударение на слове «твоей».

— Мо-ей женой, — подтвердил Бережной, также делая ударение на первом слове.

— Неужели же ты не чувствуешь, что, говоря: — моя жена, твоя жена, — ты утверждаешь грубейшую, первобытную собственность: над живым человеком?.. Пойми, Бережной, ужас этого слова... Когда мы начали грабить награбленное, это было первое, что мы обязаны были ограбить: — моя жена, моя дочь, мой отец... Но мы не сделали этого, мы побоя-

лись сразу, не побоявшись ничего другого... прости, я начинаю путаться, и сейчас уже нет времени по существу... Я хочу только в данном, в этом случае... Пусть я люблю твою жену... — Глушков произнес эту фразу с нарочитой медленностью, словно выцеживал ее, и, заметив, как распались склеенные гневом губы Бережного, повторил еще раз: — пусть я твою... твою жену полюбил, что ж изменилось в мире? Наши задачи, наши тресты, наше строительство?.. Или мы сами? Ведь мы остались людьми... Теми же, прежними, страдающими людьми, Бережной... Со всеми, — с обычными, сотни лет известными слабостями и падениями... И вот эти человеческие слабости сейчас мы пробуем рассмотреть под новым, нужным революции углом зрения, а надо было в свое время вырвать их сразу, как гнилой зуб.

— Ты хочешь сказать, что ты — мерзавец? — запальчиво перебил его Бережной.

Но Глушков только покачал головою в ответ, продолжал тем же — размеренно-печальным — голосом, словно не товарищу отвечал он, а самому себе:

— Жизнь — трудное, запутанное дело... Во всем, что кругом нас, слабые, еле заметные даже ведущему глазу, ростки будущего переплетены с лесами прошлого... И ты будешь прав, если целиком обопрешься на прошлое. В прошлом тебя поддержала бы вековая, всосанная с молоком матери мораль. Церковь наказывала измену проклятием, но у церкви было на то договорное право с обществом... Но ты не прав сейчас, ибо в будущем, за которое боролись мы, — то, что сделала твоя...

— Она не моя теперь!

— Ну, моя, если хочешь. В том будущем обществе она будет ни твоя, ни моя — а своя Надежда... В том обществе этот поступок ничьей, своей Надежды не наказуем! Она будет принадлежать не одному, как было до сих пор, а себе и обществу, — даже в том случае, если б родила ребенка...

— Ребенка? — переспросил Бережной, схватывая руку Глушкова, — ребенка, ты говоришь?

— Ну, да хотя бы и ребенка, — продолжал Глушков, не примечая волнения товарища, — я хочу сказать тебе, что ты, как и я, боролся за свободу женщины, и эта свобода пришла... Но для кого, для каких женщин? Твоя жена так и осталась «твоя жена»... мы даже не мыслим жены ничьей...

— А что ж, — усмехнулся Бережной, — ужли ж ты думаешь, что женой можно делиться, как табаком...

— Но ведь собственность! Собственность, против которой мы с тобой делали революцию и боролись! — воскликнул Глушков. — Архип, ты упрекал меня в брюшке, которое я нажил на революции. Изволь — я приемлю упрек... Но и мне, в свою очередь, позволь сказать, что ты не понял революции, и твое место с кулаками против нее, потому что в душе ты — кулак и собственник...

Автомобиль в этот момент остановился у подъезда, и шофер, обернувшийся открыть дверцу, с любопытством заглянул под нахлобученный шлюпик Глушкова. По воровато скользнувшим его глазам, Глушков догадался, что шофер слышал все, хоть лицо его оставалось равнодушным лицом человека, который по самой своей профессии много знает о людях. Бережной уже подымался по лестнице, неловко загребая ступеньки рыжими своими сапогами. И Глушков пошел за ним, теряя последнюю волю к сопротивляемости. На лестнице перед звонком Бережной остановился, поднял-было палец, в нерешительности оглянулся на Глушкова, поднимавшегося сзади. На мгновение надежда наполнила Глушкова радостью, он умоляюще взглянул на товарища, но Бережной с тупой решительностью надавил звонок.

III.

Таня встретила с всегдашней приветливостью, — бросилась на шею в передней, стаскивала с него шарф, кепку, этот обычный ее жест знаменовал, что все деловое: тресты, речи, ситцы, заседания, плановость работ — окончилось, впереди семья, вкусно сваренный обед, целые часы для близких и для себя — заслуженный отдых, который давала семья. Но обычного ее жеста сейчас он застыдился, словно принимал его не по праву, и в то же время чудная эта стыдливость казалась до того нелепой, что он рассмеялся.

— Архип Иваныч! — вскричала Таня. — И вы к нам! Вот отлично! Сейчас будем обедать! Проходите в столовую... Или дорогу забыли?

— Я, право, не знаю, — начал-было тот, беспомощно взглядывая на Глушкова, как бы спрашивая его совета: — как поступить в столь затруднительном случае?

И Глушков добродушно подмигнул ему, — в привычной, вжитой в кровь обстановке, в семье, перед обедом была очевидна нелепость, ради которой они приехали. Хочется есть! Нужно выпить по рюмке водки! Что же могло случиться в жизни, ради чего стоило бы нарушить ее обжитой, выверенный ход?

— Входи, Архип! Чего ж мы толчемся в передней?

Но, приметив инстинктивно тревожные глаза жены, скользнувшие с одного лица на другое, добавил с решительной прямотой лжи:

— Еще успеем на заседание...

Бережной положил кепку на сундучок, тотчас воровато взял ее, сунул в карман и первым прошел в столовую. Столовая была обставлена с тем рассчитанным московским уютом, с которым только и можно на тридцати аршинах разместить широкий и хлебосольный обеденный стол, с полдюжины стульев, косопузое бюро павловских времен с позолоченными амурчиками, застеленный коврами диван, ночью превращавшийся в кровать, книжные шкапы, резную деревянную кровать жены за ними. Комната напоминала собой купэ дальнего поезда, в котором все вещи рассчитаны до вершка, и больше уже не всунуть ни одного предмета. На столе

с зазывчатой аккуратностью ресторана были расставлены тарелки, хлеб, графин с водкой, икра, какая-то истекавшая розоватым жиром рыба, из-под тарелок тускловато поблескивали маленькие серебряные ножи: — Глушков как-то обмолвился шуткой, что большие ножи не уместятся в комнате. Бережной вошел неловко, боком, — увидев на столе водку, усмехнулся нелепо, словно подавился улыбкой, сел на диван и закурил. Таня входила и выходила из комнаты, переставляла на столе приборы, чуточку любуясь убранством стола, принесла откупоренную банку шпрот, которые любил Бережной. «Вот! Вот! — все в жизни обычно, колесо жизни: — в шпротах, в водке на столе, в гудении примуса за стеной — и кто смеет остановить его на полном ходу?»

— Товарищи! — вскричала Таня, — я вас угощу отличным борщем! Архип Иваныч, пожалуйста... Будто ждала вас сегодня — всё ваши любимые блюда...

— Садись, Архип, — улыбнулся Глушков.

Но когда тот, гребя сапогами по коврам, зашагал к столу, Глушков едва удержался от внезапного, неистового желания сдернуть со стола нож. И Бережной, словно угадывая, вжал голову в плечи, остановился, тыкая окурок мимо пепельницы. «Мужик! Мужик!» — подумал Глушков, удерживая инстинктивное, из отдаленнейших складов наследственности просыпавшееся в нем отвращение.

За столом Бережной ел с размеренной обстоятельностью косаря, пришедшего с покоса. Он выпил водки, закусил икрой, соболезнующе покачал при этом головой на роскошь закуски, попросил вторую тарелку борща, — но вторую тарелку хлебал торопливо, словно боялся, что они отдумают, и не произойдет то, для чего он пришел сюда. Глушков следил за его движениями с цепляющейся пристальностью, словно надеялся, что Архип поперхнется, — ведь нелепости в человеческой жизни — как незваные гости — приходят сразу, и одна нелепость приводит другую. За весь обед по мужицкой своей привычке Бережной не выронил ни одного слова.

Таня принесла кофе. Бережной вытер рот носовым платком, хоть салфетка лежала рядом. Когда женщина выходила в кухню, — за сухарями, за кофе, — оба топили глаза в тарелках.

— Что с вами обоими сегодня? — спросила она.

Принимая чашку, Бережной едва не уронил ее.

— Простите, пожалуйста! Да! Но видите ли в чем дело... — заговорил он, вдруг осмеливаясь.

Глушков сейчас же перебил его:

— А где Ирочка? Ты отпустила куда-нибудь?

— Я отпустила Иру к Буйловым, — сказала Таня. — Там, кажется, рожденье Мечки...

— А-а, — протянул Глушков, — надо будет за ней сходить...

— Я схожу, как выпьем кофе...

Глушков поднял заблестевшие глаза: — Вот видишь! Жизнь сильнее! Не виноват же он, что Тане надо итти за Ирочкой! Ирочка ушла с Буйловым... Там сегодня резвятся маленькие девочки с бантами в косичках, — их банты трепещут, как крылья, и колокольчики — голоса... Он понимает, конечно, что это — чепуха: девочки, бантики, водка на столе, — тогда за что же Бережной протянул ему револьвер в лесу?

— Семья! — осторожно, словно проверяя свои мысли, сказал вслух Глушков.

— Семья, — веско подтвердил Бережной.

Таня молча собирала со стола остатки обеда, мыла посуду в полоскательной чашке. Ее движения были по-женски размеренны и неторопливы. Вот она взяла тарелку, на которой ел мясо Бережной, смыла из чайника залипшее по краям сало, — сейчас со старательностью, словно тарелка живая, вытирает ее полотенцем. Ее светловолосая голова склонилась в сторону, из-под чепчика выбилась желтая, как трава, прядь волос, тоненькие ее пальчики с темными от грязи ноготками скреблись по тарелке, и от движения плеча под кофтой тепло и живо покачивалась грудь. Но лицо ее было серьезно, словно делала она человечески нужное, неоспоримое дело. «При всякой власти, при всяком образе жизни, даже при том, который навсегда освободит женщину — она будет мыть тарелки и будет мыть их с таким вот серьезным выражением лица». — «Ну, смотри же, мерзавец! — чуть не вырвалось у Глушкова, — чего ты хочешь?» Или — мне отмщение, и Аз воздам! И если я случайно перебил твои тарелки — по закону возмездия бей мои!

— Ну, вот и кончено! — сказала Таня, пошла к шкапу повесить полотенце.

«Сейчас она уйдет», — подумал Глушков; секунды опять начинали вырастать в года.

— Я скоро приду, — сказала Таня, — вы подождете, Архип Иваныч?

Бережной мешковато привстал, присел опять на стул. И тогда, боясь, что он не выдержит, Глушков поднял на него умоляющие глаза. Бережной мигнул и сказал:

— Ну, конечно же, конечно, Татьяна Васильевна... Мы в шахматы сыграем... Саша хотел показать замечательный ход коня...

— Вот именно! — обрадовался догадливости товарища Глушков, — этот изумительный ход коня... — Но по глазам жены понял, что она смутно беспокоится и нарочно затягивает свой уход. Где же взять силу, чтобы поднять руку на живого человека во имя справедливости, а справедливость в ее руках, и эта справедливость, — единственно неоспоримая, бесспорная, — кругла и проста, как тарелка? Круглая, как тарелка, истина!

Женщина вышла надеть кофточку, и, едва закрылась за ней дверь, — двое мужчин в неистовой враждебности шагнули друг к другу.

— Архип! — беззвучно сказал Глушков, — то, что ты хочешь — убийство... Сейчас придет дочь...

— Дочь придет! — захрипел Бережной, — а ты подумал о том, что ко мне...

— Тссс... ради бога, тише!

— Тише, а?.. А когда ты вором пришел в мой дом и украл ценное, что мне... мне принадлежит?..

— Архип! — прошептал Глушков, кивая на дверь.

— Дом, жена, тарелки, коврики, шкап стоит... — гнездо, а? — как бы в забытьи, замахав руками, заговорил Бережной. — Саша, и у меня было гнездо! Человек должен иметь логово и женщину, и вот я вил... с трудом вил гнездо для себя... а ты? Ты меня пожалел?

— Ну, молчи же, ради бога! — прохрипел Глушков, внезапным звериным прыжком бросаясь к столу. И — также по-звериному — угадывая, Бережной сел на доску, сложив руки на груди, и с жалеющим презрением осилившего глядел в подкошенные глушковские глаза.

Тогда Глушков вспомнил, что револьвер под подушкой, куда он всегда засовывал его на ночь. Под утро неповторимого этого дня Глушков не смог объяснить себе многого, что произошло в ту минуту, но эта сцена, когда вышел он с револьвером в руке и с горделивостью решившегося отчаяния сказал: — «Если ты скажешь ей хоть слово — я на твоих глазах пущу себе пулю в лоб!» — показалась ему величаво-жуткой, как лермонтовская баллада.

— Но что ж делать? — вскричал Бережной, всплескивая руками.

— Уходи сейчас же!.. Пока не вошла она. Даю слово сказать все, без твоей помощи...

«Только бы ушел, только бы вышел...» — Что он сделает? — Глушков и сам не знал в ту минуту. «А вдруг по дороге нагонит Таню! и жалеющими словами, подсюсюкивая и шепелявя, расскажет... И Таня вскрикнет, упадет на улице...»

— Будь же ты проклят! — вскричал Глушков, — и час, когда я с тобой встретился, будь проклят!..

— Мы встретились в бою...

— Пусть уйдет женщина, я напишу письмо, понимаешь? — и пойду с тобой...

Таня — одетая — открыла дверь. Она остановилась на пороге, увидев в руках мужа револьвер. Ее серые, налитые тревожным предчувствием глаза повисли на мокром, перекошенном лице мужа. Бережной, спасая положение, сказал равнодушно, как бы продолжая разговор:

— Так ты мне дашь на сутки... К моему кольту нет патрон, понимаешь?.. Все по воронам расстрелял...

«Мерзавец! — подумал Глушков, — значит кольт был пустой...», — а вслух сказал:

— Конечно, возьми, Архип... Завтра я пришлю к тебе...

Женщина ждала, не сводя глаз с его руки.

— Я завтра за ним пришлю, — повторил Глушков, делая понятное Бережному ударение на слове «завтра».

— Ну, вот и отлично... — Бережной спрятал револьвер в карман и присел на крышку стола. — Я сам пришлю, когда будет нужно! — добавил он, делая в свою очередь ударение на слове «нужно»...

— Так я пойду! — сказала Таня, успокаиваясь. — Вы, Архип Иваныч, подождете, пока я вернусь? Я на трамвае, быстро...

— Да, как же, как же! — забормотал Бережной, подбегая к женщине, с угловатой мужичьей вежливостью хватая ее за руки, — только не задерживайтесь... Мы с Сашей должны еще на заседание...

Эта неловкая жалеющая вежливость опять обозлила Глушкова. Таня стояла перед ними в серенькой кофточке весеннего, только что вынутого, пахнущего нафталином костюма, в калошиках, тусклых от грязи; она надевала перчатки, один палец прохудился, вылезал из дырки; смеясь с той грациозной сдержанностью, какая веками воспитывалась в городской женщине, она показала Глушкову на дырку, и он, холодея, подумал, что видит ее в последний раз, что через минуту уйдет из его жизни простое налаженное счастье! Но полно! — верил ли он сам в непреложность простейшего человеческого счастья? Не он ли — мыслями, думами, поступками вчера и всю жизнь — тайно, для одного себя, знал, что это простейшее, захватанное счастье в образе жены в продырявившихся перчатках, — тормоз тому, чему всей буйной своей юностью он служил, чего ждал — как солнце — от будущего. Или свободы женщины он хотел не для себя, а для других? Уважал свободу в других и посягал на нее в других, а для себя — не мыслями, нет! — а привычками, прошлым, которое ведь живет в нас, не спрашивая наш разум, — он был здесь — у извечно понятного облика жены? Тысячу раз нет! Будь ты прекрасна, свобода женщины, и не рабой, не потатчицей мужских желаний рождается в ней женщина, а равным человеком, плечо к плечу. Так есть, так будет, и страшно только одно: почему именно он, Глушков, должен платить за благословенное царство будущего, в котором ему не жить, — тем, небольшим, что у него есть: — тягой к привычному, своему телу, теплом налаженной жизни, доброй маленькой женщиной в перчатках, девочкой, которую он больше не увидит?..

— Я уйду на заседание, Таня... Ты не торопись, — может быть, посидишь у Буйловых...

— Нет, почему же?.. я скоро обернусь...

Не только из жалости он желал, чтобы она не скоро вернулась. Может быть, он успеет, а что? — он не знал сам: — в чем надо успеть? Или уйти, не оставив записки? Но тогда должно вернуться, сказать, что он падает жертвой будущего, которое обещает засветить темное русское небо алмазами, — падает потому, что под ноги бьет прошлое. Сказать, что его личная жизнь завязалась нелепицей, и — ухваченный ею — он гибнет...

Он все еще стоял перед женой, нелепо разводя руками, — не зная, что сказать на прощанье, понимая, что видит эти маленькие, подернутые дымкой беспомощности черты лица, руки в перчатках, старенькую, на-

детую с неподражаемым изяществом кофточку — в последний раз. Неужели и вправду — в нелепом, что совершается сегодня, настигает его слепая правда возмездия? Или и в самом деле невозможно найти в новой жизни женщину, образ которой снится во снах, как образ желанной и совершенной невесты? Любил ли он Таню? Или любил не ее, не эту, что стоит перед глазами, а неясный облик, что снился в молодости? А разве и тот неясный облик, почти видение, мелькнувшее на заре юности, не стерлось жизнью, когда с революцией пришли в жизнь мужественные женщины в подстриженных волосах, в сапогах, в кепках, с развязностью движений, с грубоватостью походки и речи, с папиросой?.. Не он ли тосковал, что Тане, женщине, которой он вверяет жизнь, не достает мужественности — этого корректива революции женщины?

— Ты, Таня, иди, — мы подождем тебя...

— Ну, хорошо, — покорно согласилась женщина, — я пойду...

Но когда она подошла к двери, открыла ее потихоньку, как бы в раздумии, словно забыла сказать главное, а теперь не может вспомнить, — Глушков едва удержался, чтобы не догнать ее.

Таня вышла, — оба в изнеможении опустились на стулья. Глушков прикрыл глаза рукой, как козырьком, — не в силах вымолвить ни одного слова. В навалившейся, как холодная ладонь, тишине стало слышно: за окном большой город закипал мятущейся, вечерней жизнью: — не для других, а для себя вечерами жили люди; звонки трамваев, словно приглушенные сигналы тонущих кораблей, ревели предупреждающе и нудно. А за стеной — должно быть, в кухне — из непривернутого крана капала вода, и капли постукивали горько и сухо, будто костлявый палец судьбы. Бережной сидел в кресле у стола, подвернув правую ногу под себя, — вертел в руках карандаш, и когда карандаш падал — с озабоченностью поднимал его, принимался вертеть опять. Движения его коротких, обрубленных рук были уверенны и в своей уверенности отвратительны; — этот человек оказался хитрее, и хитрость его — исконная мужичья хитрость, должно быть, веками вместе с покосами, со снопами, с ворованным лесом вкладывалась в этот мешок с костями. Не пойман — не вор, но если вор пойман — бей на смерть. И он бьет его, как вора, бьет на смерть. Эти руки, старательно вертевшие карандаш, были нестерпимы до того, что Глушков встал, решая кончить сразу.

— Хорошо! Я согласен! Я напишу письмо Татьяне, и ты отвезешь меня к Надежде Борисовне...

— Пиши! — отозвался Бережной и бросил карандаш.

«А ведь он мучается! — подумал Глушков, искоса посматривая на Бережного, — он мучается так же, как и я... Мы оба задеты крылом одной и той же птицы будущего, и вот будущее нас сейчас раздавит...»

— Архип, — тихо позвал Глушков, — ты не зря вспомнил наш договор под Каховкой... Ведь за будущее, которое должно стать для человечества таким же откровением как евангелие, мы оба готовы умереть... Верно?

— Я готов умереть за торжество коммунизма! — отвечал тот с неподдельной силой и искренностью.

— И вот я хочу сказать, что для нас с тобой — пусть не сейчас, но завтра — встанет вопрос о семье, как о самом упорном тормозе этому прекрасному будущему... Жена есть друг, — я знаю: — ты хорошо усвоил определение сегодняшних — «в переходное время, знаете» — семейных отношений... Но смеем ли мы претендовать на монополию дружбы? Или вот: — последнюю свою рубашку ты мне отдашь?

— А зачем тебе рубашка? — не понимая и потому с осторожностью усмехнулся Бережной.

— Рубашку, а? — с отчаянием зацепился Глушков за последний обрывок логической мысли, — помнишь под Каховкой, когда меня ранили, ты содрал с себя рубашку и перевязал мне руку, а сам шел голый?..

— Ну, отдам рубашку! — согласился Бережной.

— Нет, Архип, нет... не лги ни себе, ни мне... ты не отдашь рубашки... Ты чужому куренку, перелетевшему в твой огород, ноги перешибешь камнем! Такие, как ты, на смерть забивают конокрадов... Так и сейчас — ты вынуждаешь меня на то, на что в будущем не будешь иметь права...

— Не прав! — вот оно что! — насмешливо вскричал Бережной. — А если бы я, С ша, а? Я — в твой дом, ужом, и унес Татьяну Васильевну... И в гостиницу у Савеловского вокзала, в номере на дряненькой простыне...

— Молчи! — вскричал Глушков, ужасаясь осведомленности Бережного.

Он стоял сейчас перед ним вплотную, потирая руки, связанные жилами в живые узлы, шевелившиеся как клубни.

— Это от молотилки! — кивнул Глушков на его руки.

— Что от молотилки?

— Вот это... руки дрожат... У тебя молотилка была? — усмехнулся Глушков при мысли, что Бережной принимает его за помешавшегося. — У тебя была молотилка, и ты никому, понимаешь, никому никогда ее не давал... рубаху давал, а молотилку нет...

«Зачем я это?» — спохватился Глушков, невольно прислушиваясь к тому, как за стеной с неустанной монотонностью капала вода. Кончалась жизнь! — а уши ловили смешную капель воды в кухне, и глаза падали в окно, где попрежнему плескалась на ветру липа, не давая ночи онеметь.

— Так и жена! — назидательно сказал Бережной, — я ее одну на всю жизнь, понимаешь... и в нее все радости, все счастье прятал, как в копилку, — и если другой...

— Ну, хорошо же! — с усталым раздражением перебил Глушков, — что ты еще хочешь?.. — самое главное в эту минуту было побороть расслаблявшую усталость, — я напишу письмо... и поедем...

— Пиши! — согласился Бережной и уверенно сел. Глушков видел: — опять рука его скользнула в карман — значит: не верил.

— Хорошо! — сказал Глушков, подходя к столу, — но если когда-нибудь ты захочешь представить себе, что такое подлость, — вспомни сегодняшний день...

На столе белел блокнот с бланками «Правление ситцевонабивного синдиката» — Глушков улыбнулся тому, что еще сегодня утром было жизнью, а сейчас расплылось в уродливую ее тень, и осторожно оторвал бланк. Он потер лоб, как бы задумавшись, потом написал неуверенно-размашистым почерком:

«Таня! То, что мы звали нашим счастьем, кончилось. Не вини, если можешь. Я ухожу к жене Бережного, буду с ней жить!..»

— Ложь-то какая! — с внезапной искренностью перебил он себя.

И, видя, как, под убеждающей силой простой, житейской искренности, Бережной, словно бык под обухом, склонил голову, он с новой, с последней в тот день надеждой подумал, что нелепость их положения кончилась. И он уже протянул руку, чтобы скомкать лживую бумажку,— но Бережной опять поднял на него неподвижные, как колеса, глаза, и под белесым, толкающим в пропасть их взглядом Глушков вздохнул и дописал:

«Береги ребенка. Я верю, что он будет счастливее нас, — одна эта мысль поддерживает во мне жизнь. Александр».

— Все! — сказал Глушков. Он повел глазами по стенам, по вещам,— подкошенный взгляд падал на желтый круг от лампы на столе, на мух, ползавших по сухарям, на картины. Эти привычные, не замечавшиеся в днях предметы — сейчас, в последний день — настойчиво кидались в глаза.

— Идем, Архип!

Бережной встал молча. Узловатые его руки дрожали и двигались, как ожившие узлы. И, понимая по этим задвигавшимся нервным узлам, что этот беспощадный к нему человек колеблется, когда нелепость, словно тень той же страшной птицы, упала и на него — Глушков заговорил с ледяной уверенностью отчаяния, с какой человек торжествует свое несчастье, покаравшее и другого: — так, должно быть, воин, падая в бою, успокаивается, видя упавшего рядом.

— Ну, что ж, — теперь пойдем к тебе? А!

Бережной подошел к окну и отвернулся. Было с неестественной отчетливостью видно, как в отблеске лампы, порыжелым полотенцем нависавшем на окне, шевелились листья понятностью бытия, убедительной силой роста и цветения. И в том же свете — скупом и желтом, как блеск мертвого лица, — кишели жилы на затылке Бережного. О, если б хоть раз в жизни осмелиться сказать неповторимые слова, какие приходят к человеку в потрясенные его дни, или ночью, когда человеку не страшно думать для самого себя?

«Мой милый, мой упрямый друг, дай свою карающую руку, и я крепко сожму ее в своей руке... Мы подошли с тобой к пропасти, в ней дремлют чудовища, — они поднимают головы, чтобы схватить нас. Пойми

же — эти чудовища в нас самих — зачем их будить?... Если я виноват, прости...»

— Так и пойдешь? — деревянно усмехаясь, перебил его мысли Бережной.

— Как?

— Ничего не возьмешь отсюда? — пояснил он, поводя рукой по стенам.

— Ах, да... как же, как же? — растерялся Глушков, — надо взять рубашку... как ты думаешь: — рубашку надо взят ?

Он опустился на стул и тихонько рассмеялся. Рубашку, кальсоны, вчера вечером Таня чинила носки, — и носки взять тоже... И опять стало смешно: — носки и кальсоны, а давеча пустой кольт в лесу...

— Архип, а? Как ловко в лесу... на пустой кольт, а? Ха-ха-ха... Как мальчишку-прапорщика в бою?

— Скоро вернется Татьяна Васильевна... — строго сказал Бережной.

— Она скоро вернется!.. — спохватился Глушков, вскакивая и возвращаясь к неотложному, единственно понятному. С отчетливостью отчаяния представилось: — Таня входит с дочерью, девочка, расплеснув ручонки, бросается ему в колени, смешная девочкина косичка с бантиком трепещет в его коленях, — а он не опустится, как всегда, на пол, не обнимет девочку, не посадит ее на плечо... Ужели ж и вправду — ночью красться в клозет, и, торопясь, чтоб не зашлепали по коридору чьи-нибудь ночные туфли — сунуть револьвер в рот... гаснущим, освобожденным сознанием услышать крик жены, закрыть глаза под этот крик?

Дрожа, подбежал он к Бережному и с гадливым презрением, которое опять возвращало ему ясное сознание того, что надо сделать в ближайшую минуту, сказал:

— Идем! Смешно брать подштанники, если уходишь навсегда...

— Ну, ну... — неловко улыбнулся Бережной, — это, конечно, твое дело...

Глушков неопределенно махнул рукой и бросился к двери. Бережной пошел за ним, остановился на минуту у выключателя, горько вздохнул, обводя смякшими, сразу подобревшими глазами стены, веселое пятно лампы на столе, сухарницу и мух над ней, и потушил свет...

IV.

Они молча дошли до трамвайной остановки. Бережной первым вошел в вагон, оглянулся: — вошел ли Глушков? — сел на лавочку, ладонью задерживая место для товарища. «А дверь за тобой Пушкин закрывать будет?» — сказала кондукторша натруженным беззлобным басом; — на плоскую ее остроту Бережной вдруг раскололся смехом на весь вагон, обнажая длинные, как у старой лошади, зубы.

Был уже вечер, в трамвайные, задернутые вечерней сыростью окна плыли огни магазинов, нависали туманностями, пропадали в тьму. Де-

ревья, как всегда к ночи, казались выше, улица — у́же. Трамвай позванивал с затаенной тревогой, скрежетал на своротах; на остановках входили люди, равнодушно садясь напротив или рядом, — и было удивительно, что никто из едущих не знал: — два человека везут тайну, разбившую пять жизней. Напротив дремала старуха, клоня остренький, скорбный нос долу, — похожая на выжидающую, изверившуюся под старость птицу. Юноша с беспокойным носом подвинулся к девушке в стриженых, непослушливых волосах, прошептал обиженно: — «я вас в кино не за тем пригласил... идете со мной, а на других глаза пялите»... Девушка встряхнула непослушливой гривой, испуганно оглядев соседей, — Глушков улыбнулся ей обадривающей улыбкой. Два человека в шляпах говорили про налог сдержанными голосами. В переднюю дверь вошла женщина с плачущим ребенком, — раскачиваясь, она запела ему тоненьким голоском:—а-а-а!..—и два голоса слились в один, бурливый и беспокойный. Жизнь шла как трамвай, тревожно позванивая и глухо скрежеща на своротах. И от ощущения простой этой жизни, от теплых глаз пассажиров, случайных спутников, которые вошли сейчас, чтоб через мгновение разойтись, не запомнив ни лиц, ни слов, — и то свое в жизни, что вдруг соскочило с рельсов и пошло как заблудившийся трамвай, было видать как приподнятое. Отвалившись головой к стеклу, Глушков прикрыл глаза. У него была служба, — в наследство от революции ему досталась служба? Но ведь сегодня утром эта служба была значительной и нужной, — разве не он одевал тысячи людей, справлялся об урожаях, одним росчерком пера бросал на губернии вагоны с мануфактурой?.. у нее — ребенок, который отнял ее у него, — ведь только после рождения девочки их привязанные друг к другу дни запутались, пошли в странной двойственности. Все свое лучшее она отдавала ребенку. Даже в моменты ласки она не отдавалась ему целиком, прислушиваясь к дыханию девочки в соседней комнате, отталкивала его, если девочка начинала плакать. К нему же чувство отцовства, как у большинства мужчин, пришло поздно. Однажды за чаем девочка деловито попросила налить чашку, и Глушков удивился тому, что перед ним сидит человек со своей индивидуальностью, со своими вкусами и привычками. Он вскочил из-за стола с неестественной, растерянной угодливостью, — наливал, обжигаясь и торопясь. Сознание, что этот маленький, требующий человек обязан жизнью ему — в первый момент испугало, а позднее наполнило гордостью, навсегда обрадовало. Он так и не смог разобраться в этом сложном чувстве испуга, удивления и радости, с каким родилась в нем любовь к дочери. Но чувство собственности на этого нового человека в мире он ощутил тогда же и признался себе, что, вероятно, оно и есть отцовство.

Теперь — под тяжестью бессмысленной катастрофы — стало видно, что жизнь с Таней делилась с такой ясностью, словно распадалась на два периода. Первые годы — совместная их жизнь была не связанной ничем, и это сознание несвязанности и того, что каждую минуту он мог уйти — было самым ценным в их любви. Словно оно напоминало ему, что в поисках

за большим он остановился на подходящем, и если б «настоящая и большая» любовь, о которой видит человек всю свою жизнь сны, встретилась — от этого подходящего ему легче перейти к обжегшему сну. И, может быть, от того, что образы сна всегда жили в нем неустающей надеждой, — ему казалось, что если в этом подходящем он до конца полюбит женщину и в ней замкнет круг своих дел, интересов и мыслей, — он остановится в своем росте, как бы закончив круг. А, может быть, и сама Таня виновата во многом: — он был уверен в ее любви, и часто эта уверенность в человеческой любви — есть ее конец. Так постепенно напряженно-радостное ожидание, с которым он подходил к каждой новой женщине, стало усиливаться в нем желание ее. Достаточно было обронить рядом: — «Посмотрите, какая красивая девушка!» — и Глушков уже возбуждался, ему непременно хотелось с ней познакомиться, поступить так, чтобы она обратила на него внимание, проникнуть в ее женскую сущность. При встрече с каждой новой женщиной он становился остроумным, старался насмешить, вычитав где-то, что для того, чтобы добиться внимания женщины, надо ее поразить или рассмешить. И это сосущее влечение, тем более сильное, чем неожиданнее оно приходило — с годами из увлекательной игры стало необходимостью: оно выступало наперед — самым главным, самым существенным в жизни, и противоборствовать ему уже не было сил — каждая прошедшая мимоходом девушка казалась желанной и той, с которой именно и следовало связать всю жизнь.

«Значит, Бережной все же прав — я изменял Тане...» — но, подумав так, Глушков сейчас же, будто раскаленное касание, ощутил обидную ложь этого слова. Уходя к другим женщинам, он знал: — его ждет Таня, жена. Сознание, что его ждет человек, которому он навсегда дорог, — было радостью, наполняло бодростью, уверенностью в правоте каждого своего поступка: — словно она была источником, из которого он черпал силы, была берегом, возле которого он отдыхал, как измученный пловец. Ведь в конце концов он ничего не отдавал тем «случайным женщинам», с которыми встречался, учась по «случайным женщинам» любить жену. После коротких романов с той же Хухриковой, с Женей, со многими — каждый раз замечал он в себе обострение чувства к Тане,— словно они ложились удобрением для его «основной», «главной» любви, всякий раз после другой женщины зацветавшей как в первые дни встречи. Нет, нет — сам он не бросал камни в свое счастье!..

Все это трудно было объяснить, особенно теперь, когда подведен итог, но и понятно многое стало лишь сейчас: — когда сгорит дом — видишь, из чего он был построен; когда разбито прошлое — в одну ночь понимаешь, из чего слагается человеческая жизнь!..

Глушков искоса взглянул на товарища, — Бережной сидел неестественно прямо, как сидят люди, пораженные глубокой мыслью.

«Идут дни и малыш превращается в подростка, — продолжал думать Глушков, — простейший долг со времен Адама — воспитать человека себе на смену... Конечно, небо будет в алмазах через двести лет: —

рукой русского рабочего уже вкраплены первые звезды в темное небо будущего... Когда красный комок мяса стал на глазах, как бабочка, превращаться в ребенка — жертвенность во имя будущего (а лишь она дает неоспоримое, как паспорт, право на жизнь) стала раздваиваться: жертвенность во имя ближнего, — самым ближним была дочь, жертвенность во имя дальнего, — дальнее несла с собой революция.

«Я отдаю свою жизнь ребенку, — так отдают свои жизни все люди, ибо в своем ребенке видят продолжение себя, несовершенных своих трудов, недодуманных своих мыслей. В ребенке — бессмертие и награда за жертвенность, и пустота жизни прячется в нем! До сегодняшнего дня обе цели умели примиряться и жить бок-о-бок. Он понимал, что успокоиться в ребенке, начать складывать в него всего себя — означало, что десять лучших лет, зажигавших его пламенной верой, брошены зря! Но стоило в прошлом году Ирочке заболеть воспалением легких — и двенадцать ночей он не отходил от ее кровати, сторожа с камфарой в руках каждый ее вздох, и это спасло ей жизнь. Если бы он вышел хоть на один час? — имел ли он право выйти как отец? Но имел ли право остаться как революционер? — ведь в это время по его ситцевонабивной линии произошло повышение цен, которое с таким трудом сбивали потом целые полгода.

В горькие, пропахшие камфарой ночи, — в красном, набухшем от напряжения удержать в себе чуть светившуюся жизнь тельце — сосредоточилась вся жизнь, все мысли, все будущее. В эти ночи Глушков поновому увидел жену. Он понял, что уже не он, а его ребенок становится содержанием ее жизни, и ее любовь к ребенку — такая же, какой была любовь к нему: — от души к чувствам. Он научился без слов читать по ее глазам, когда возникала в них надежда, когда чернели они отчаянием, слышал, как в соседней комнате, куда уходила она и за собой прикрывала дверь, сухие ее губы в исступлении шептали слова молитв... «Таня! Таня!» — растерянно призывал он, и она отвечала строго: — «Молчи!». В растрепанных волосах, в туфлях на босу ногу, заплаканная, по-детски беспомощная и от того по-особенному родная — она возвращалась успокоенная, уверенная, что не может лишиться главного: — ее руки становились особенно ловкими, глаза особенно зоркими, — вероятно, девочка не умерла потому, что смерть ее закляла мать? Позднее по молчаливому уговору они никогда не вспоминали эти жуткие, остановившиеся ночи — но в эти ночи он почувствовал жену, мать своего ребенка, разглядел в ней человека и друга. Вечерами он стал чаще оставаться дома, заговаривал с ней о политике, о службе, прислушивался к тому, что говорила она, утром вошло в привычку газеты читать вслух, — Таня шила, штопала носки под желтым пятном лампы, дочь на высоком кресле играла с куклой, клеила картинки, — и сам себе напоминал он сторожевого пса, стерегущего простое человеческое счастье... Но разве не в эти же благословенные минуты из незнаемых, из взыскующих глубин человеческого духа дымилось беспокойство, что поманившая счастьем юности жизнь

мельчает в прекрасном плену, тает как свеча, и виден — если прищурить глаза — понятный круг ее горения. Или всегда молодость обещает больше, чем может дать жизнь, и жизнь есть только жизнью не сдержанное обещание жизни?.. С ужасом просыпался он ночью. За окном спит большой город, храпя прищуренным газом фонарей. И каждое окно в нем — спальня, и каждое окно истекает обжитой, человеческой жизнью, как десять, как сто лет назад? Так что же изменилось в этих окнах, облитых кровью во имя новой жизни? Храпит во сне жена, от кроватки дочери одуряюще пахнет аммиаком... «Должно быть, опять обмочилась». С тоской сдавливал он виски, — выдавить хоть бы одну мысль!.. О, как отчетливо понимал он сейчас, что именно эта стабильность счастья, пахнувшая дотошливым запашком смерти, бросила его к другим женщинам...

Так в теплую, обжитую комнату их жизни вползла первая ложь. Да и что сказала бы Таня, если бы однажды он пришел, взял ее родную, в синеньких жилках руку, сказал теми непроизносимыми словами, какими говорит с собой человек ночью: — «Таня, я люблю тебя... И вот мое счастье — труд по приказу и во имя революции, твои покорные глаза, рука дочери... Но я уже выпил этот согревающий кубок за упокой обманувшей молодости, и я снова жажду»... Ее испуганные глаза раскрылись бы, как окна опустевшего дома, рука упала бы подкошенной лозинкой, — она не поняла бы.

«Или это просто похотливость, и я вру, вру — себе, всем?.. — подумал Глушков, поднимая глаза на товарища. Но тот попрежнему сидел безразличным, приваленным мучным кулем, серый и равнодушный. — Он так, вероятно, обо мне и думает! И пусть, если ему от этого легче...»

Мысли Глушкова легко повернули на Надежду Борисовну. В первый раз представилось: — зачем они к ней едут? Надежда Борисовна и по внешности не походила на Таню. С юношески-сухими плечами, узкотазая, от чего походка ее была чеканно-крепкой, — так ходят по земле люди, чувствующие себя ее хозяевами, а не рабами — с жесткопалыми, цепко хватающими руками, в волосах, подстриженных под кружок, с глазами, в которых ошеломляла уверенность в необходимости каждого ее жеста, каждого слова, которое она произносила. Такой Глушков знал ее по прошлому: — она пришла в революцию с фабрики, с нестряхнутым грязноватым снегом хлопка на плечах; — с уверенностью догнавшего свой отряд солдата вскочила она в бронепоезд на полпути между Алексеевкой и Мелитополем, чтоб остаться на нем до конца войны, и красноармейцы ругались при ней смертным, одуряющим матом, но не трогали ее как женщину. А когда — подстреленный в глаз — свалился пулеметчик, — она, ближайшая стоявшая рядом, спокойно — как свое — заняла освобожденное смертью место, чтоб к вечеру самой упасть с пробитым плечом; — ее отнесли в вагон командира Бережного. И в первый раз это было — когда бронепоезд докатился до моря, и дальше бронепоезду нечего было делать, — взойдя в свой вагон, чтоб спать, Глушков вдруг попросил ее выйти, пока

он разденется. Она вышла в коридор, волоча за собой шинель, но по ее приглушенному, скользнувшему по лицу товарища взгляду, — Глушков догадался, что не она, а он — лишний в этом вагоне. Он вышел в ночь, дышавшую чудовищным простором моря, бродил по пустому перрону, давя ногами стекло перебитых фонарей, усмехаясь своей недогадливости и радуясь этому браку, и завидуя товарищу в том, что он сумел найти счастье там, где он не осмелился его искать. Да, в этой женщине все было в меру, она была подлинной представительницей победившего класса. И сколькие женщины, как она, пришли в жизнь с революцией внезапно — по стихийному праву, по недостатку бойцов заняв место рядом с мужчиной у пулеметов, у станков, в полковых штабах, в хлебопекарнях и в бухгалтериях трестов. Когда кончилась война, они вместе с мужчиной пришли с фронта в правительство, в профдвижение, в торговлю, в низы, в откипевшую кровь революции. И в первые дни нэпа, когда раскачавшаяся жизнь, как тяжело-больной пробовала встать на ноги, — держась за новое, завоеванное их, женской кровью, место в жизни женщины и по внешности старались походить на мужчин: — сапоги, кожаные куртки, кепки, папироса в зубах, крепкое слово, мужская размашистость движений и самоуверенность. Словно им казалось, что, лиши их этих атрибутов внешности строителей жизни, — они не удержатся, потеряют это новое место в жизни. Так было года два после начала нэпа. Но потом оказалось, что помимо общественной жизни и жертвенности во имя революции, все еще потихоньку, все еще по одной зажигавшей на русском небе звезды всеобщего счастья, которого не хватало на всех, — есть еще и личная, своя для каждого, человеческая жизнь. Она напоминала о себе ежедневно женскими шляпками, шелковыми чулками, модными ботинками, каракулем, одеколоном, золотыми браслетами, которые с наглым великолепием роскоши выставились в магазинах, она залезала в душу со сцены театров, поэмами, произведениями художников, которые опять вспомнили, что есть еще и любовь, и радость для каждого человека в отдельности, если этой радости не хватает сразу для всех. С напряженным недоумением следил Глушков за этой эволюцией возвращавшейся радости для одного. — Все меньше и меньше женщин носили сапоги, кожаные куртки, кепки — на смену все увереннее, все наглее с каждым годом шли, а потом шествовали, завалили лавиной чулки тельного цвета, губная помада, пудра, духи... Он вспомнил, как смешно было ему увидеть в первый раз Надежду Борисовну в платье из синего шелка с вышитыми гладью отворотами, в туфлях на высоких каблуках. Она ходила в них, с непривычки покачиваясь, — тысячи женщин, как она, переучивались тогда ходить. Как будто вдруг вспомнили, что из России после десятилетней войны и общего огрубения уходит женственность, и бросились ее ловить. Поэты писали стихи о красивой девушке, всюду — в Политехническом музее, в рабочих клубах, в газетах — диспуты о любви, о любви, о любви — а кого же любить? Любить и в самом деле можно только красивое. А что в жизни прекраснее женственности, пробуждающей подростка, — еще

вчера заснула она девочкой с угловатыми плечиками, с обтянутыми чертами лица, и сегодня она все та же угловатая, простенькая, поджимает плечи, будто хочет прикрыть ими растущую, беспокоящую грудь, а глаза горят как лучшие в небе созвездия, и говорить с ними хочется стихами. Это пробуждение женственности залило Надежду Борисовну будто нерассуждающее половодье, — она бросилась в новые ощущения как подросток, с головой: — она начала красить губы больше чем следовало, она с жадностью посещала диспуты, набрасывалась на романы, на лекции, некрасневшая при солдатских матюгах — заливалась, как полымем, при легком намеке на запретное. Но что же собственно пленило Глушкова в этой женщине, опоздавшей проснуться на пять лет? Остатки ли мужественной простоты, которых она начала стыдиться? Или вот то пробуждение вечно женственного, что заставляет приглядевшихся к жизни мужчин искать жизненной правды в подростках?

— Нам сходить! — сказал Бережной, вставая и с неловкостью большого и сильного человека подвигаясь к выходу.

Глушков поднялся, пошел за ним покорно, как автомат. Свои неразрешимые мысли оказывались больше и значительнее факта: — было легче до конца подчиниться чужой воле. «Я действую как автомат!» — подумал Глушков. Мысль опережает инстинкты, впитанные тысячелетием со времен зверя, но и у этих инстинктов есть своя правда, и вот — Бережной учит слушать ее голос.

V.

— Надя! — Бережной, держа в руках кепку, с напряженной торжественностью подошел к столу.

Надежда Борисовна, закурив, в задумчивости крутила спичкой, как бы зная, что скажет муж, и ожидая этого. Руки Бережного опять начали дрожать, — но по остановившимся его глазам, по желвакам, сомкнувшимся на небритых щеках, Глушков догадывался, что он не перерешает того, что уже решено, а примеривается, чтобы крепче ударить. Вот он зашел с правой стороны — лицо Надежды Борисовны клонится вниз: — может быть, вспомнила о назначенной встрече, и краска, заливающая шею и уши — краска девичьего стыда. Глушков так и подумал — девичьего. Тогда, осердясь на девичьи пятна, Бережной зашел слева, высматривая, наслаждаясь тем, что двое знали, а третья догадывалась. Вероятно, ночами, холодея от мучительного сладострастия, он представлял себе, как закует этой паузой перед ударом и любовника, и жену.

— Архип! — позвал Глушков, и в самом деле не выдерживая этой паузы.

И тогда, спохватываясь, что этот тысячу раз продуманный удар может нанести другой, Бережной шагнул к женщине, в покорстве обнаруженного факта склонившейся к столу, и, задыхаясь, желая, чтобы каждое

его слово падало камнем в опущенную ее душу, крикнул разрывающимся как материя голосом:

— Вот, Надежда Борисовна, — вот тебе муж!..

Но она не подняла головы. Ее спокойное, в спокойствии деревенеющее лицо склонилось ниже, пальцы упавшей вдоль стола руки захватили край скатерти, бессмысленно вертели бахромой, — ее спокойствие восхищало Глушкова: она встречала удар с достоинством мужчины.

— Я знаю все! — выкрикнул Бережной, в азарте надевая кепку, — ты подло, гадко, как самая обыкновенная мещанка, обманывала меня... вот с ним! — взмахнул он рукой и придержал палец, копьем упиравший в глушковскую грудь.

Но она попрежнему молчала. И Глушков видел, что это молчание было не раздавленным молчанием уличенной женщины, за которым вот-вот брызнут бабьи, пойманные, обильные слезы — она ждала, чтобы он высказался весь. Ее глаза, оправленные в выцветшие, упрямые ресницы, не моргнули, не поднялись ни разу в холодной уверенности своей правоты. И эта каменная ее уверенность вновь хлынула на Глушкова радостью, волнующей гордостью за нее и за себя.

— Ты ездила с ним к Савеловскому вокзалу! — сказал Бережной уничтожающим шопотом. Он с натужливостью поднял кулаки, словно сбрасывал самый большой камень, который, падая, должен был раздавить ее.

Но она не шевельнулась.

— Вот! — вскричал Бережной, внезапно теряясь под ее молчанием, — да... можете теперь наслаждаться в открытую... пожалуйста! Но зачем было играть эту комедию? Коммунисты тоже, а в глаза не могли сказать! — добавил он, не зная, что же можно сказать еще.

Надежда Борисовна притушила окурок, размяв огонь пальцами. Ее лицо под тусклой экономической лампой не шевельнулось ни одной жилкой, и это чуть презрительное достоинство женщины взволновало Глушкова до слез. Ему хотелось подбежать к ней, сжать с безмолвным восхищением ее руки, обнять, чтобы Бережной видел его близость к этой женщине, его гордость близостью к ней. Было ли это внутренним преклонением перед новой женщиной, какая снилась ему в Надежде, как мечта, как обрывок сна? Или благодарность за то, что она с невозмутимостью правоты делала за себя и за него то, что по долгу сильнейшего сделать должен был он?

— Надя! — позвал Глушков с тихой нежностью.

Но под шелестящим зовом этих слов ее руки вдруг схватились одна за другую, заломили пальцы. И тогда, боясь, что она не выдержит — Глушков замахал рукой, — это не он, не Глушков, позвал ее. Ему только надо ощущать свою близость к ней. Ведь ради нее сегодня он принес самое большое, что мог принести, и вот мгновениями ему чудится, что, бросившись к другому берегу, он плывет по середине... В тревоге подбежал

он к окну, сел на мокрый от сырости подоконник, — нужно посидеть тихо, ухватиться за что-нибудь, чтоб не плыть в одиночку...

— Надежда, — заговорил, наконец, Бережной, — я не судья тебе, но мы не вольны в наших жизнях... Мы не вольны в них, нет! Это вот он,— Бережной в пренебрежении кивнул на товарища, — он говорит, что наши жизни ничьи, и я — ничей, и ты — ничья... неправда это! Наши жизни принадлежат всем и я — всех, и все — мои... И вот я тебе годы, годы отдавал душу, всего себя... И, уходя, ты уносишь не одну себя, но и меня, лучшее из меня, что я отдавал тебе...

Он говорил с ласковой внимательностью, словно пенял ребенку, голос его стал беспомощным и тихим, как тих голос у раненого на смерть.

— Мы оба, — продолжал Бережной, — пришли оттуда, с низу, мы никогда не вышли бы оттуда, Надя, если б не революция... Всю свою молодость мы видели прекрасные сны о жизни, и теперь мы живем этими сбывшимися, сказочными снами... Помнишь, когда убило Васькова, и ты, боясь, что тебя столкнут, грудью бросилась на его место, — я, стоявший ближе, не оттолкнул тебя — я любил тебя, верил, что будешь товарищем и в жизни, как во сне...

Надежда Борисовна покорно положила на руки голову, щекой к холодной клеенке, будто в нестерпимой зубной боли. И опять этот ее жест, застенчивый, по-девичьи бессильный, тронул Глушкова до слез. Он молча налил стакан воды, поставил его на стол возле ее рук. Но она не взглянула.

— На всю жизнь! — воскликнул Бережной, — жизнь, а? Помнишь, в голодные годы ты меня обманывала: — свой кусок хлеба мне? А ты уйдешь — я тебе назад... говорил двойной паек получаю... я верил, что мы крепко, навсегда! Надя! — позвал Бережной в страшной тоске.

— Что? — спросила она покорно.

— Хочешь, скажу, что тебя сгубило... Это не вчера, не третьего дня началось... Хочешь, скажу, когда в первый раз ты изменила... но я ждал, я не смел поверить...

И голос его сразу сломался, стал по-кошачьи вкрадчивым, жалеющим:

— Вывески, шелковые чулки, первая коробка пудры, которую ты принесла... Помнишь: — ты принесла ботинки на высоких каблуках и, качаясь, пробовала ходить в них по комнате... это твоя жизнь, твоя идеология закачалась тогда, Надя... Помнишь еще стишки про гитару, Уткина какого-то стишки! — выкрикнул Бережной в непередаваемом презрении, — да, стишки!.. Пудра, чулки, гитаристые стишки, курорт, а? Сладкая отрава... Сгнила заживо, как сифилитик! Надя? — вскричал Бережной, в волнении подходя к жене и кладя руки на ее плечи, — значит, чулки ближе? Скажи: — ближе, а?

Он нагнулся, пытаясь, как в бездну, заглянуть в застывшее лицо женщины, и руки его тяжело сорвались на стол.

— Ты скажи, что чувствуешь? Может быть, ошибка, а? — снова заговорил он, глотая слова, и пена закипела в углах его губ, — разве я не понимаю, что себе не закажешь, что легче десять революций сделать для других, чем перевернуть себя! Ну, пусть ошибка, а? Баба ты молодая, — кто ж не ошибался в молодые годы? Ну, верно же... Товарищ мой... как я раньше не догадался, что ошибка? Ведь была суровость, суровость битв... Наденька, в этой суровости мы победили, не могли не победить, иначе смерть... И с победой пришла усталость, — нельзя человеку все время в войне быть... И вот — как усталость: шелковые чулки, помада, духи кричат с каждого перекрестка, пирожное стали жрать. Разве я не понимаю? Я понимаю, Наденька!

Он с горечью покачал головой, будто пенял на себя, что проглядел, как рядом ошибался товарищ. и товарищ близкий — жена.

— Наденька! — в порыве самобичевания воскликнул Бережной, — не ты... я виноват, что не упредил тебя... я должен был, как сильнейший...

— Я! — повторил он свистящим шопотом, поворачиваясь к Глушкову, — я! Но разве это конец? Хочешь? — спросил он, подбегая к жене и взмахивая руками, как сломанными веслами, — одно твое слово, и я буду считать, что не было ничего!

Эта новая мысль, казалось, увлекала его до чрезвычайности. Он забегал по комнате, задевая неловкими движениями стол и стулья, подбежал к окну, раскрыл его, заглянул в пустое дупло высокого, как колодец, двора; в окно кинулись звуки жизни: — явственно загудел примус; простучали по двору чьи-то сапоги; безнадежно мяукала кошка в подвале. Радуясь тому, что Архип открыл окно, что в это внешнее можно уйти, Глушков прилег на подоконник. И опять, как в лесу, взметенная мысль бросилась двойными, рядом положенными путями: — внимательно разглядывал он пятна сырости на противоположной стене, а уши слышали каждое движение в комнате. Всплеснулись женские руки — только б не обернуться! До тошноты задерживал он дыхание, чтобы слышать каждый звук позади себя, а глазами считал пятна на стене, дивясь их причудливому рисунку.

— Скажи ему, — с угрюмой торжественностью продолжал голос Бережного, — скажи, что ошиблась, и он уйдет... И я буду считать: — все кончено, все прошло...

Глушков обернулся, как под взнесенным ножом. И первая мысль: если она скажет «да!» — он успеет добежать домой, Таня еще не вернулась, и вышибленная жизнь вернется в наезженную колею: — проще всего выпить вина и лечь, или сесть за письмо к отцу («вот чудак — прорвало плотину!»), заняться тезисами доклада («стандартизация производства путем сокращения сортов») — и весь сегодняшний день обернется дурным сном, приснившимся ни к чему. Но прямо перед ним светились глаза женщины, — они были раскрыты как окна, они как бы вымеривали глубину падения, цеплялись за него, как за видимую точку опоры. Этим же

взыскующим сиянием светились они, когда чутьем мужчины почувствовал он, что не Бережной, а он был первым желанным мужчиной, первым ее мужем. И как тогда — он не посмел закурить, встать, произнести вслух какое-либо слово, чтобы не затушить разбуженного счастья — так и сейчас, — завороженный, — гляделся он в эти глаза, не смея пошевелить пальцем руки. Есть мгновения, в которые без слов раскрывается человек до дна, и нельзя неловким человеческим движением коснуться вывернутой его души, потому что истечет она живой кровью.

— Архип! — Глушков шагнул к столу в нерассуждающей решимости, — ты можешь итти отсюда... Я прихожу сюда как муж...

Глаза женщины, словно они этого и ждали, опустились в бессилии, и оно было неловким и женственным, словно она звала к себе мужчину на помощь, как зовет на помощь застигнутая самка.

— Значит, конец, Надя? — спросил Бережной сломавшимся голосом.

Она еще ниже наклонила голову.

— Да, Архип! — подтвердил Глушков, улавливая движение женщины и сам невольно повторяя его. — Там, куда приходит любовь...

Тогда Бережной сразу заволновался, подбежал к столу, стал загребать бумаги, — бумаги комкались и не слушались, он смял их, сунул в портфель. Глушков понимал, что его торопливость была торопливостью отчаяния. «Как пауки из-за самки!» — подумал он, но сознание своей победы было до того увлекательно, что было необходимо сейчас же, на глазах побежденного ощутить ее видимые знаки. Он подошел к женщине, — положил руку на ее щеку: — с ресницы сорвалась, наконец, отяжелевшая слеза, обожгла его руку.

— Ты иди, Архип... — сказал он. — Нам время разойтись... пришлешь потом за вещами...

— Ну, да! — обернулся Бережной. — Ну, да!.. Я, конечно, пришлю за вещами!

— Ну, конечно же, — усмехнулся Глушков.

— Вот именно, отбери мои рубашки! — продолжал Бережной в бессмысленной, запальчивой иронии. — Рубашки? А я думал, что она сильнее... поборет, как борола десять лет, как десять лет под-ряд заставляла думать только о себе! Ведь я даже теперь не верил! Ведь не верил! — развел руками Бережной. — Я думал лицом к лицу будет страшно ей изменить, найти в себе то, что не ей, а себе нужно... понимаешь, не ей, а себе одному...

— Кому же, Архип? — не понимая, спросил Глушков.

— Революции, Саша! Я верил, что она и души, понимаешь, и души себе...

— А-а-а! — вот оно что! — усмехнулся Глушков, — это ты зачем же? А? Про революцию зачем? Для красного словца или как последний аргумент? — с едкой горечью заговорил Глушков, — «Мщу!» — подумал он. — В будущее, как в трамвай, — под ручку! А ты знаешь его, будущее? — спросил он с жестокостью, и когда, не ответив, Бережной опустил глаза, —

Глушков присвистнул: — Ну, то-то же!.. Попрежнему в окно тянуло мозгловатой сыростью большого московского двора, и падали в него печальные, как оторвавшиеся сосульки, звуки рояля; на город наступала ночь, чтоб прикрыть черным одеялом человеческие дела — и было страшно, что в простом и в понятном, как ночь, люди запутались как в лесу. О, если бы прост был шаг человека, как проста поступь вольного зверя! О, если бы скинуть эти пять тысяч лет рабства во имя культуры и человеческих отношений! И как объяснить, во имя чего женщина вдруг становится близкой, глаза ее разливаются в озера, из них бьют горячие ключи счастья в потревоженную душу? И если бы сейчас Бережной шагнул хоть на полшага к Надежде — не задумываясь, с голыми кулаками Глушков бросился бы на него, закусил бы зубами горло, чтобы завтра, когда по этим вот плохоньким занавескам золотушными лишаями поползет городское солнце, и в комнату влетит пыль проснувшегося города, чтоб завтра утром ужаснуться черной бездне раскрытого человеческого духа.

— Будь мужественен, Архип! — Я лишь возвращаю тебе урок, который ты дал мне в лесу! Разница та, что тебе понадобился револьвер, а мне голые руки — потому что я последовательнее тебя: революция продолжает разрушать то, что должна была разрушить в первый же день... От тебя она требует принести в жертву самое дорогое тебе...

— Жену? — с тупой покорностью переспросил Бережной.

— Нет! — Право на человека...

— Значит, никогда и ни в чем нельзя верить человеку? — заговорил Бережной, подходя опять к столу и садясь против Надежды Борисовны, — глаза его были мутны, билась в них неразрешимая, очень трудная для человеческого разума мысль. — Ты скажи мне, что же это такое! Вот я спрашиваю тебя без злости, — понимаешь, Саша? Вот я стараюсь думать отвлеченно! Ты видишь, — он поднял руки, пальцы крючились на них, словно он обирал паутину, — ты видишь: — даже руки не дрожат, я стараюсь только понять, очень хорошо понять...

— Ну, что же? — перебил Глушков с холодным вниманием.

— Вот она! — кивнул Бережной на Надежду Борисовну, — ведь мы не на кровати, понимаешь, не на кровати поняли друг друга... ведь я к ней у пулемета подошел, нога у меня скользила в крови... Что же есть больше? Ведь души-то наши в тот момент на самых своих вершинах были, и я видел ее душу... Гора, гора в молниях! И вот я руку ей, руку свою... а? Чтоб не скользить одному по крови...

— Чтоб одному не поскользнуться, — перебил Глушков.

— Да, Саша... лучше б я тогда поскользнулся...

Но люди уже договорились до конца; все так же висела в комнате выпитая тишина, все так же падали в нее звуки рояля, очень слышные сейчас, — подумав, что все трое внимательно слушают рояль, Глушков встал и хозяйским движением закрыл окно.

— Сквозит! — сказал он.

— Да, да, конечно, — отозвался Бережной. Сказав, он с усталой виноватостью взял кепку и пошел к двери, так же просто, как если бы пошел за папиросами. И, провожая его спину, зная, что он не вернется, что сейчас внизу хлопнет парадная дверь, — Глушков протянул руку, в последний раз отыскивая в себе слова, которые изменили бы все, но только устало махнул рукой, подошел к окну и резким движением распахнул его в ночь...

(Продолжение следует).

Подвиг Алексея Чемоданова.

(Рассказ).

Всеволод Иванов.

Это произошло осенью тысяча девятьсот двадцатого года в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.

Перед отъездом из Москвы и в приволжском городке Н. командир N-ского стрелкового полка Алексей Митрофанович Чемоданов много пил, играл в карты и встречался с ненужными и противными женщинами. Алексей Чемоданов собой был хорош, весел той беспокойной веселостью, которая так нравится людям, ибо в ней люди всегда видят униженность. И в поезде, медленно катящемся по уральским степям, опять пили самогон, денатурат и бражку. Чемоданов хохотал, рассказывал приобретенные в командировке анекдоты, и чем дальше поезд уходил в степь, и чем чаще появлялась в вагоне охрана, и чем больше было разговоров о бандитах и казаках, — тем беспокойнее и шумнее чувствовал себя Чемоданов. Пили, что ли, чересчур много, — в голове постоянно ныло, а в горле стояла слизистая дрожь, которую никак не удавалось выплюнуть. В Олонках (от которых по всем расчетам оставалось не больше дня пути до станции Наньей, где стоял полк Чемоданова) поезд задержался, и Чемоданов вышел погулять. Он вспомнил, что год тому назад полк проходил через Олонки, и от всего города Олонки в памяти осталась только вывеска над булочной в виде огромного кренделя. Станция заполнена народом. Степь за городком самодовольная и тускло-желтая. Твердый и самодовольный ветер нес из степи крупный песок, и песок этот с легким звоном бил о рельсы. Сразу же за паровозом начинался этот легкий звон, и паровоз стоял растерянный, грязный, тупой. Чемоданов повернул к станции. Старуха, повязанная розовым полушалком, предложила ему шопотом самогона. «Пьяная у меня морда, что ли?» — с удалым и привычным беспокойством подумал Чемоданов. Лицо старухи показалось ему знакомым. Он пригляделся и вспомнил, что в Москве, уходя пьяным от приятеля, на лестнице он встретил молодую женщину, повязанную полушалком, тоже, кажется, розовым. Было уже утро. Женщина держала в руке большой мешок из дерюги. Она пропустила Чемоданова, а ему вдруг захотелось с ней поговорить. Он догнал ее, и, наверное оттого, что лицо ее было

несколько похоже на цыганское, предложил ей погадать. Она предложению этому не удивилась, и, раскинув мешок на ступеньках, достала засаленные карты. Она говорила: Чемоданов проживет долго; ему предстоит увидеть много счастья; многочисленная семья ожидает его! Голос у нее был тоскливый, и по всему можно было понять, что она желает и видит в жизни людей то, чего не хватает у нее самой. И чем больше слушал ее Чемоданов, тем все яснее становилось, что она крепко верит тому, что говорит, завидуя чужому счастью. И гадает она всем с такой охотой, дабы позлорадствовать! Чемоданов положил руку на бубнового туза и сказал, глядя в лицо женщине: «Утопишься ты сегодня, известно тебе это, ба-аба?». Женщина медленно стала собирать карты. Чемоданову стало жаль ее и стало стыдно от своего желания унизить человека и оттого, что руку лихо положил на бубнового туза. Затем подумалось: ведь и на самом деле — возьмет, да и утопится! Но женщина не обиделась, взяла мелочь, сказала, что утро жаркое, и ушла. И, когда она подымалась по лестнице, Чемоданов подумал, что все движения ее говорят о том, что ничего ей удивительного на свете нет; все она исполнила; все понимает. И жалость его исчезла. И теперь эта старуха, повязанная розовым полушалком, была с таким усталым же лицом, как и у той женщины, гадавшей на картах, и Чемоданов спросил то, что он и не посмел и не успел спросить:

— А что, бабка, все уже сделано, а?

— Все, родной, — ответила старуха.

— Помирать надо, а?

— Ну, вот, скоро и помрем.

И тогда Чемоданов быстро пошел в свой вагон, взял вещевой мешок, дождался, пока поезд не отошел, и затем направился в город. Здесь, совершенно уверенный, что его в Олонках хорошо знают, он явился в военкомат, и ему, точно, обрадовались. Лысый писарь, страдающий восторженной любовью к героям, торопливо выписал ему ордер на комнату. Хозяйка встретила его подобострастно. То чувство, которое овладело им после слов старухи, а именно: сейчас, немедленно же надо продумать и решить, ради чего он жил, пьянствовал, обижал людей и самого себя обижал, — уныло тревожило его. И даже словами надо думать не такими простыми, а как-то... Он спросил самоварчик, заварил чай: морковный, густой. Чай обладал удивительными запахами простой семейной жизни — Чемоданов лил его в синенькое блюдечко. Тревога овладевала им все больше и больше. Он с трудом допил чай. За окном, на форточку сел голубь и, туго шурша, перебирал (розовым от закатывающегося солнца) клювом перья крыла. За дощатой перегородкой соседи, актеры должно быть, разучивали роли из какой-то необычайно революционной пьесы. «Каким же надо быть чудаком, — подумал Чемоданов, — чтобы верить, что революция может свершаться по таким словам, а главное — аккуратно записывать эти слова на бумагу, печатать...» Усердие и уверенность звучали в голосах актеров настолько, что Чемоданову захотелось их видеть. Но не для разговоров с актерами он сюда приехал! Он схватил фу-

ражку, вышел. Городок казался необычайно пустынным. Собаки смотрели на него испуганно, молча. На песчаных коричневых холмах за городком безмолвно торчали три мельницы. Украшенная жесткой желтой травой дорога огибала мельницы. Несколько парочек шло по этой дороге. Чемоданов поднялся вслед за идущими на холм. Большой луг, поросший по краям мелким и сухим лесом, открылся его глазам. Дальше речушка в трескучих камышах и песчаных отмелях заканчивала луг, и за нею рыжая степь простирала свои огромные крылья. Дорога свернула к лесу — болезненно искривленному, сухому, вызывающему мысли о пожаре. Парочки торопливо углубились в лес. Мещанин в короткополом пиджаке, седой, с безумными глазами навыкате, обогнал Чемоданова. «Ишь, старик, а туда же, — презрительно подумал Чемоданов: — нашли где зачинать детей. Любовь! Вешаться в таком лесу, а не любить». У дороги он увидал плотный забор из досок. Обогнавший его старичек мещанин смотрел в щель. Плечи мещанина, похожие на неумело стянутые узлы, вздрагивали. «Убивают, что ли, кого?» — лениво подумал Чемоданов, протягивая руку к кобуре. Старичек обернулся. Выпуклые глаза его уставились торжественно на Чемоданова. Старичек указал на щель рядом с собою. Чемоданов подошел. Должно быть, раньше во дворе были дровяные склады. Кое-где валялись бревна, рассыпанные поленницы шелковисто сверкали берестой. Под широким тополем он с трудом разглядел сторожку. «Начинается...» — прошептал мещанин. От ветвей тополя в сторожке, наверное, было темно. Длинный и синеватый свет спички скользнул над столом. Голова гитары, чем-то похожая на разверстую пасть щуки, отодвинулась от огня лампы. Низкий, несказанно тоскливый, мужской голос запел. Чемоданов отошел, поправил кобуру, сделал-было несколько шагов. Голос подымался все выше, выше. Песчаная дорога мертвенно бледнела. Чемоданов вернулся к забору.

Не дивитесь, друзья,
Что не раз между вас
На пиру веселом я призадумывался...

По ту сторону стола лампа освещала часть лица старушки, скорбный и сухой подбородок, тощую руку, вязавшую чулок. Рука эта была в бумажной перчатке с рваными пальцами. И перчатку, и эту руку Чемоданов разглядывал потому, что ему тяжело было смотреть на громадный пухлый рот и неподвижное белое лицо певца. Один рот лишь ясно выражал то отчаяние и страдание, которым была наполнена песня. Рот сжимался в бешеных судорогах. Он выпускал слова. Метался над столом, как бы ловя эти слова обратно! Наконец, схватывал их и — выкидывал в долгом и тяжелом вое. Вот этот-то вой и заставил вернуться Чемоданова. Когда вой оканчивался, одно мгновение смятение озаряло лицо поющего, и это-то смятение только и напоминало людям, что поющий — женщина. И еще следы смятения, молнию любви; ужас тела, охваченного любовью, нескончаемой любовью, увидал Чемоданов на лице мещанина с выпуклыми гла-

зами. «Старуха-то, старуха-то не чует, что ли?» — туманно подумал Чемоданов, и тотчас же знакомая слизкая дрожь заполнила его горло, опять заныла голова, и мещанин стал ему несдержимо противен. Мещанин же бормотал ему в лицо:

— Третью неделю поет, гражданин! Старуха белье распродает, которое осталось, да варежки вяжет на армию. Белье тоже на картошку меняет, кормит ее, а она поет.

— С голоду поет, — не понимаешь?

— И с голоду, и со всего другого. Всю ночь напролет поет. К полуночи-то у забора все горожане сбираются, на цыпочках. А она думает — пустыня, лес; никто не слышит, старуха-то глухая. Вот и поет.

— Дура, оттого и поет!

— Согласен с вами. Все же и тоска. Жениха, что ли, у ней повесили али убили, али другую полюбил? Как вы думаете? Земля тесная, — куда со своей тоской деваться? Третью неделю поет, и на моих глазах сохнет. Лицо-то все белей и белей.

— Мажется, вот и белей. Актриса будет. Актриса из нее получится, оттого и поет. Нельзя иначе по другой причине так петь, — понял?

— Кабы не такая жизнь да кабы не картошка, может быть и вышла бы актриса, гражданин. А теперь еще недельку, самое крайнее — две, попоет и сдохнет. И как же быть иначе, гражданин? Судите сами хоть бы и со мной...

Чемоданов уже был на дороге. Об актрисе он сказал больше для старичка, чем для себя. Пускай старичек думает, что человек с револьвером остановился в городе не для того, чтобы слушать, как сходящая с ума баба поет. Любовь солдата должна быть быстрой, веселой и немедленной. Он остановился:

— Как ее зовут-то?

— А Христиной Васильевной зовут, — отозвался мещанин.

N-ский полк, стоявший на станции Наньей, в отсутствие командира заметно поредел. Тиф, дезертирство. В полку было не более трехсот человек. Казаки готовятся к наступлению. На юге в степи видны зарева; крестьяне опять не подвозят фуража; пополнений нет, а штаб дивизии требует, чтоб полк готовился к выступлению на казаков. Посылали конную разведку, а она попала в Огород богородицы...

— Куда, в какой огород? — недоуменно спросил Чемоданов.

Заместитель и комроты первой, Игнатий Луба, лобастый, кривоногий, с маленькими желтыми глазами всегда смотрел в бок, и даже когда он говорил правду, — а он ее всегда старался говорить, — все же казалось, что он лжет и скрывает что-то необычайно важное. И, как все в полку, Чемоданов мало доверял Лубе. Чемоданову хотелось упрекнуть Лубу в разгильдяйстве, распущенности, но после долгой дороги надо выспаться, выпить молока, а если начать разговаривать, то Луба потребует перенести

вопрос и на ячейку, и в бригаду. Утро было свежее, звонкое. У сарая из длинных корыт кони ели мешанку. Толстые воробьи носились над гривами. А в сарае жеребята тонко стучали копытами, ржали и путались в арканах. Луба гикнул, жеребята примолкли, и он сказал:

— Солдаты наши не устоявшиеся — не разберешь, что у них на уме. Я сам в разведку поехал. А какие мы на коне вояки? Сам знаешь! Нам перед казаками устоять трудно, — вот если к штыку моему казака подогнать, я тогда увижу его слезы, — это правда. Ну, и погнали казаки мою разведку, и меня в том числе. День и ночь, целые сутки гнали. Двоих моих убили, а один, Митька Смолых, от раны да от жары с ума сошел. Выгнали нас в долинку такую, называется чудно, верно, Огород богородицы, — там, видишь, колодец, и не то тебе пещерка, не то яма имеется, а вокруг богородская трава растет и дыня одичалая. Кто их знает, — и на самом деле какой-нибудь пустынник проживал и рассаживал огород!

— Нам это ни к чему, одни глупости. Пулемет бы захватили!

— И пулемет был, да патроны все порастрясли. Митька при последних и сошел. Вот какие дела... Прибегаем в эту долинку, в Огородик этот. Митька нам дорогу до этого указывал, а как увидал: пулемет пустой да долина эта перед ним, пал на колени и давай богу молиться. Вот и оказались мы из-за него в незнаемом месте, а кроме того пески подули. Казак с песком подойдет неслышно, — а куда нам в пески от казака бежать? Стоим и ждем.

— Окопались, по крайней мере?

— Окопались. Стоим и ждем. А тут кони ржать начали, сначала один, а потом другой. К чему бы, думаем? Оказывается, трех кобылиц взяли, а они, видишь, по ребятам скучают, а ребята-то ихние при станции остались, в сарайчике. Так вот мы подумали, посоветовались, да и кобылиц-то вперед и пустили на свободной узде. Вот они материнским сердцем и пошли. Прямо через пески идут и идут. Поржут легонечко так, ниточкой, вроде между собой переговорят, и дальше...

— Компас надо иметь, а не кобыл. Вообще к жизни надо математичнее относиться, — сказал Чемоданов и сразу же понял, что сказал не то, что должен и мог бы сказать. И он тотчас же рассказал Лубе о Христине Васильевне. Рассказ этот получился глупый, бессмысленный и даже не смешной, хотя и можно было рассказать очень смешно, как женщина в тоске поет густым-густым баритоном перед глухой старухой и горожанами, прячущимися за забором. Луба сказал, что с немцами происходят и не такие чудные вещи. И на этом весь разговор кончился. Чемоданов пошел спать. Выспаться ему не удалось: из бригады прискакал нарочный с пакетом, в котором приказывали немедленно сниматься и итти в степь на казаков. Видимо, в бригаде только и ждали приезда Чемоданова, и это понять ему было и лестно, и неприятно. Особенно неприятно было потому, что все время его преследовала мысль (пустяковая и неправдоподобная, но в которую хотелось верить), что вот даже и в том, что Чемо-

данову не дали выспаться, есть какая-то скрытая каверза Лубы. Красноармейцы плевались, шоркали ногами, запах сонного тела шел от шинелей. Чемоданов с намеренно громким хохотом вскочил на коня; выругался трехэтажным ругательством, — красноармейцы захохотали, сразу стало веселей, и Чемоданов спросил: жеребят оставили? И тогда Луба отозвался — жеребята идут с полком, но полк-то, видно, опять пройдет Огородом богородицы, да и для казаков-то больно уж там хороша позиция. Чемоданов догнал Лубу и опять начал рассказывать о Христине Васильевне и об городе Олонки. И опять получалось, что Луба понимает Олонки по-своему. Он думает: Чемоданов потому заезжал в Олонки — жалко ему Христины Васильевны; любит он ее и тоскует по ней, и, наверное, старая эта любовь у него. Луба недовольно и даже презрительно мычал. И только помкомроты первой, белобрысый и весь пухлый Афанасий Леонтьич, сочувственно сказал Чемоданову: «Вам необходимо было б пожить денька три там». «Действительно, — подумал Чемоданов, — если б пожить в Олонках несколько дней...» Но что он мог придумать, с кем бы он мог поговорить? Полк шел мимо ряда песчаных и скучных холмов. Светало. Небо было серенькое, тепленькое, чем-то похожее на развернутые крылышки. Вот у наседки под крылышками, наверное, так же тепло и так же противно ждать, когда нападет ястреб. Лица людей были наполнены утомленной бодростью, тем выражением, которое приобретается привычкой к войне. Они просто и по-своему понимают войну, а сам Чемоданов...

Чемоданов засвистал. Луба взглянул на него с одобрением; кривые ноги его заковыляли быстрей. Хриплый голос из рядов солдат хватил песню. Рота гаркнула. Чемоданов размахивал руками, кричал, вертел нагайкой, — у него было бледное и бешеное лицо. Полк сухими, срывающимися голосами ревел сильней и сильней!

К вечеру полк остановился перед долиной, которая называлась Огород богородицы. Тотчас же напали казаки. И напали они не так, как ожидали все: т. е. из-за холма с пиками наперевес выскочат лохматые люди в странных папахах, низенькие иноходцы зарябят по песку. Нет, цепь солдат в фуражках со скатанными шинелями за плечами мелькнула на большом холме, похожем на верблюжий горб. Обрывок резкой команды донесся по ветру. Казаки открыли правильный, систематический огонь, и, услышав этот огонь, Чемоданов сразу почувствовал, как в горле отхлынула и исчезла слизистая дрожь; прояснилась голова, и на мгновение он как бы почувствовал в руках руль огромной машины, который он повернул и остановить который ему и не в силах, да и нужно ли? Он пристально посмотрел в долину. И только теперь ему стало, действительно, смешно и непонятно — как можно было эту долину назвать Огородом богородицы. Хороша же богородица, если у ней такие огороды! Небольшой овраг со следами дождевого потока пересекал долину. Еще можно было, напрягая зрение, разглядеть следы конских подков на глине оврага. По этому оврагу, наверное, бежали кобылицы. Чемоданов приказал

открыть пулеметный огонь. Биение громадной и в то же время неслышной машины все сильнее и сильнее отдавалось в его теле. Временами он приказывал прерывать огонь, прислушивался, махал рукой — пулеметы опять взвывали. И когда биение громадной машины высушило глотку и глаза начали ныть, требуя влаги, Чемоданов скомандовал цепями двинуться на холм, похожий на верблюжий горб. И он правильно себя понял: казаки побежали. Верблюжий горб господствовал над долиной. Солдаты вкатили на горб пулеметы. Первая рота во главе с Лубой кинулась преследовать казаков. В долине сильно стемнело, но все же можно было разглядеть, как исполнительный Луба твердо и верно ведет вперед свою роту. Казаки оставили на холме несколько кошемных вьюков. Чемоданов сидел на одном из вьюков. Руки Чемоданова тряслись. Пулеметчики напряженно смотрели в долину. И здесь произошло то, чего не предполагал Чемоданов: казаки поняли, что, покинув верблюжий горб, они должны признать себя разбитыми. Они остановились. И опять биение огромной машины почувствовал Чемоданов. И опять, даже не глядя в долину, он понял, что первая рота повернула, бежит. И впереди роты бежит Игнатий Луба! Вот где сказались его косые глаза! Чемоданов прикрыл ладонью лоб. Рука у него была мокрая. Пуля пробила ему плечо. Тихая, какая-то конфектная сладкая боль ползла от плеча к хребту. В висках звенели желтые круги. Но биение машины неустанно продолжало властвовать над всем его телом. Растерянные и усталые красноармейцы лезли на верблюжий горб. Гиканье преследователей слышалось поблизости. Чемоданов расстегнул кобуру и достал наган. Он хотел подняться, но поскользнулся, упал. И с земли уже он крикнул, чтобы его положили на вьюк и вынесли перед пулеметами. Афанасий Леонтьич подскочил к нему. «Неси, курва!» — сказал Чемоданов, поднимая наган. Афанасий Леонтьич испуганно схватился за кошму. Красноармеец с простреленной глоткой упал перед ними. Он корчился, хватая руками богородскую траву. Лобастое лицо Лубы, грязное, потное, показалось перед Чемодановым. Луба смотрел на него растерянно. На лбу у него была красная полоса от снятой шапки. Чемоданову стало на мгновение жалко и противно его видеть. Он хотел-было сказать: «Ты куда, Игнашка, побежал? И чего тебе бежать? Убей меня раньше», но мушка нагана уже скользнула перед глазом. Луба упал. Рота его остановилась.

— Цепью, вперед! — сказал Чемоданов. Ему показалось, что он крикнул необычайно громко. Помкомроты Афанасий Леонтьич еще громче повторил его приказ. И трепет, и ровный ход огромной машины опять овладел телом Чемоданова. Он уже ничего не видел, но знал и радовался, что солдаты идут и идут! Пулеметы за его спиной наполнены необычайно ровной и спокойной работой. Его на вьюке подымают все выше и выше! Казаки бегут! Винтовки их смолкают, и чувство необычайно веселой сонливости овладевает им. Он понимает все и теперь только может рассказать безо всякой лжи и путаницы всю правду о себе. Но ему смешно, и сон мешает ему рассказывать...

Чемоданов умер, и те трое, которые вынесли его на кошме к краю холма, тоже умерли. Их схоронили неподалеку от верблюжьего горба. Казаки бежали. Командование принял Афанасий Леонтьич. Утром полк двинулся громить станицы.

Этим закончился подвиг Алексея Чемоданова в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.

Каленая земля.

(Рассказ).

Анна Караваева.

Лошадь еле шла, увязая в глубоком снегу, ослепшая от пурги.

— Но... н-но, мила-ай! — хрипло покрикивал Матвей Опочкин, делая это больше для себя, чем для лошади — едва ли даже слышал его голос умный конь. Пурга выла, металась, крутила, как бешеная. Каждый вздох и крик будто срывало с губ этой вихревой лапой снежной бури. Матвей временами даже не различал перед собой знакомой конской головы.

— Н-ну-к-ка, х-ха-рош-ша-ай!

Но крик опять урвало куда-то, как и краткое лошадиное ржанье. Матвей перестал кричать и только похлопывал теплую конскую шею; сметая с нее снег негнущимися пальцами в мокрой вязаной перчатке.

— В-в-у-у-у! — взвыла над ухом пурга, и Матвей задохнулся, осыпанный снежной колючей пылью.

— А-а... ч-чорт! — крикнул отчаянно Матвей, еле удержавшись на седле. Тело было неуклюже, тяжелое, мешали руки, ноги, милицейская шашка казалась невероятно длинной, больно била по колену — и Матвей Опочкин, здоровый двадцатитрехлетний парень, вдруг заныл тонко, по-ребячьи:

— А-а! Замерзну-у-у...

Лошадь шла, спотыкаясь и круто дыша. Ее захлестывало белым бешеным вихрем — и Матвею, сквозь слипшиеся ресницы, казалось, что у коня сорвало голову. Матвей хотел-было сжать его бока, чтобы прибавить ходу, но ноги будто сковало сапогами, припаяло к стременам, ноги не повиновались. Матвей вдруг подумал, что этими ногами он может без передыху, веселехонько прошагать двадцать верст — и горло сдавило вдруг страхом за свою неповторимую человеческую жизнь, ужасом одиночества среди этой дикой пурги, злобой к белой воющей мгле.

— Э-э-эй! — дико орал Матвей.

— Э-э-эй! О-о-о! — выла, охала пурга.

Всего хуже было, что Матвей не знал, где он едет. Утром выехал он по срочному делу из заводской раймилиции в город, к полдню уже поехал обратно, и было тогда солнце, таяло во-всю, как и бывает в конце

марта. Только стало вечереть, поднялся ветер, пошел снег, а к темноте закрутила пурга. Матвей сбился с дороги, и вот неизвестно, в какие места попал.

— Околеешь еще т-ту-ут... а-а! — стуча зубами, крикнул Матвей невидимой конской голове, напрягся и заорал опять: — Э-э-эй! О-о-ой!

И вдруг дрогнул сам, дрогнул и конь, рванувшись из последних сил — где-то недалеко впереди залаяла собака. Лошадь вдруг дернула и шаткой рысцой пошла навстречу этому лаю. Он все приближался, степенный лай домашней сытой собаки.

— А-а! — хрипло захохотал Матвей — впереди ясно и звездно проступал сквозь белую мглу чей-то приветный огонь. Через пяток минут умный конь, дрожа от усталости, ткнулся парной мордой в высокий забор. Свет шел из окна дома во дворе. Матвей Опочкин соскочил с лошади и, ведя ее рядом с собой, нащупал толстое кольцо калитки и застучал одеревенелыми от холода кулаками.

Во дворе скоро отозвались. Женский голос, протяжный и звонкий, зазвенел сквозь вой метели.

— Слышу-у-у .. Это ты-ы?

Матвей переменил свой хрипловатый бас на жалобную стоноту:

— Хозяюшка, голубушка-а... пустите человека с лошадью погреться... Помираем оба... хозяюшка-а...

— Ах ты, батюшки мои! — опять зазвенел голос, теперь как-то странно знакомый. — Сейчас открою... сейчас...

Калитка распахнулась, и все более знакомый голос торопливо приказывал:

— Привяжи коня-то вот тут, за столб, будет ему за амбаром тепло... Ну, иди в дом, что ли, гость нежданный...

В ее певучем голосе была какая-то невеселая теплота. Она подняла фонарь, освещая лестницу, и Матвей вдруг вскрикнул: перед ним стояла двоюродная его сестра Евгения, которую он не видал больше двух лет.

— Евгения? Сестра... ты?

Женщина приблизила фонарь к лицу Опочкина, вскрикнула и схватила его за руку.

— Матвеюшка-а... Вот встреча-то!.. В комнаты, в комнаты скорей... батюшки, голубчик ты мой... тебя всего снегом облепило...

И пока она тащила его по широкой лестнице крыльца и вела длинными темными сенями, Опочкин успел вспомнить всю эту историю с Евгенией. Дочь сестры его матери, ранняя сирота, Евгения до восемнадцати лет жила в семье Опочкина. Вместе в школу ходили с Матвеем. Потом как-то вдруг неожиданно для всех вышла замуж за приказчика из кооператива, красивого парня. У приказчика скоро случилась растрата около тысячи рублей, его увезли в город, судили, посадили на год. Евгения уехала вслед за ним. На заводе о ней никто ничего не слыхал, будто сгинула куда — и вот какая неожиданная встреча!

Евгения открыла дверь в комнату, и Матвей блаженно захлебнулся от теплого пахучего воздуха — большой пышный куст каких-то розовато-белых цветов благоухал в зеленой деревянной кадке.

— Пахнет-то как! — растерянно и радостно ухмыляясь, сказал Матвей.

— Это олеандр, — ласково кивнула Евгения. — Давай, давай-ко одежу свою, отряхнуть надо.

Тут гремнула Матвеева шашка, и Евгения молниеносно обмахнула обеими руками снег со вновь найденного брата. Увидала светлые пуговицы, вязенковую шапку с красным верхом — и побелела.

— В милиции служишь? А-а...

Матвей, открыв рот, глядел на это белое испуганное лицо. Черные брови женщины поднялись высоко и будто сломались на-двое, маленький полногубый рот кривился судорожно и жалко.

Матвей широко и растерянно вздохнул, разводя большими, еще сизыми от холода руками:

— Вот так фу-унт... В милиции служу... да. Что ж тут такого, сестричка? Пугаться тебе зачем?

Его простоватое в мелких рябинках лицо глянуло усталыми и безмерно удивленными глазами.

Но женщина уже улыбалась, печально и тепло.

— Да нет, нет, Мотенька, я ведь шучу... Идем в кухню, там отрясу тебя.

— Да как же... — опять растерялся Матвей, — наслежу я у тебя...

Тут только заметил он, что на полу ковер, изголуба-зеленый, будто кусок вешнего неба упал на землю и его закидали пышными и яркими букетами невиданных цветов. Поразила и лампа на столе, высокая, красноватой меди, под шелковым бледно-золотым колпаком. Она горела щедрым и ровным огнем, зудя и шипя, словно огромная прирученная муха.

— Эх... ну, и лампа у тебя! — щурясь, сказал Матвей.

— Ладно, ладно, — торопливо толкала его в спину Евгения.

В дверях Матвей столкнулся со старухой, вернее, со старушоночкой, маленькой, остроносенькой, пугливой, в черных, монашеских ситцах.

Старушоночка бормотала:

— Пол у порожка подотру, пол подотру, чтобы мокроты не осталось.

— Подотрите, мамонька, — ласково бросила Евгения.

Матвей невольно оглянулся на черное старушечье тельце — как полуссохшийся жучок, зашевелилась она на цветистом ковре.

«Чудно!» — подумал Матвей, подивясь и на черное, в невеселых белых горошинах, платье Евгении, на старый линялый платок на голове — в девушках никогда так Евгения не одевалась, а черный цвет прямо-таки ненавидела, называя его «погребальным».

— Может, муж у ней скупой, — бродил в догадках Матвей.

Но как начал загадывать и дивиться, так и пошло.

— Чаю, поди, хочешь? Закусить тоже? — ласково сияла черными смородинными глазами Евгения.

Белая, свежейшая скатерть на столе напоминала солнечные, укрощенные снега. Радужно сияли круглые бока самовара, отражая в себе пышную пестроту ковра, маленького плюшевого дивана и мягких креслиц на тонких ножках, шкаф, горку с посудой. Матвей ел и оглядывался. Днем не успел в городе пообедать и сейчас большими кусками резал ветчину, с наслаждением смакуя острую горечь горчицы на розовом нежном сале. Севрюжина, истекающая янтарным жиром, заманила пропустить рюмочку-другую вишневой настойки.

Евгения ласково подвигала закуски, поднимая черную ломкую бровь.

— Кушай, Мотенька. Вот этого еще попробуй.

Сама она ела плохо: раза два только ткнула вилкой в закуску да отщипнула хлеба.

Матвей вытер свои редкие щетинистые усы над толстой верхней губой и удивился:

— Ты что ж сама-то не ешь, сестрица? Этакая, можно сказать, буржуйская еда, а ты...

Взглянул на щуплую старушенцию в монашьих ситцах и опять даже поперхнулся от удивления.

— Вот и... мамаша или как там... тоже ничего не потребляют.

— Обедали недавно, — еле слышно проронила старуха, звякая длинными вязальными спицами.

— Ну... как наши в заводе живут? — с мягким вздохом спросила Евгения, притягивая к себе раздумавшийся взгляд Матвея.

— Да ничего, — успокаиваясь от этого естественно простого вопроса, ответил он и начал рассказывать нехитрые заводские новости. — Ну, а ты как, сестрица? Богато, вижу, живешь. Видно, муженек-то поторговывает?.. Ты, что ли, за другого вышла? — с чего-то заволновался Матвей, вдруг почувствовав, как в полузакрытых ленивых глазах Евгении густеет какая-то упорная странная темнота.

— Тот-то твой... Роман-то Мятлев... в тюрьме еще или помер?

Евгения неспешно смела крошки со стола в бледную свою ладонь.

— Нет, Роман жив-здоров. Все с ним живу.

— Значит, выпустили его?

— Да, уже больше года.

— Живете-то хорошо, — все оглядывался Матвей, не имея силы противиться этому тяжелому смутительному любопытству. — Что ж он, Роман-то твой, видно где важным спецом заделался по торговой части или сам торгует?

— Сам торгует, — вздохнула Евгения.

— Вот как, — пощупал свою толстую губу Матвей. — Выходишь ты, значит, нэпачиха... гм... Только, должно быть, не очень это тебе весело — видимость у тебя не такая... Отец-то у тебя кровный был пролетарий, двадцать лет на заводе протрубил... да... А ты...

— Да что ж это напал ты на меня? — Евгения, будто защищаясь, подняла над головой белые полные руки. Опять кривился ее маленький рот, и вздрагивал круглый подбородок. — Что ты на меня, словно на врага людского, ополчился?.. Ах, Мотенька, Мотенька...

Смородинные ее глаза светлели, слезы застаивались в них, как ранняя роса.

— Ты не думай... горе-то, оно везде бывает.

— У каждого свой крест, батюшка, — перепуганно и горько шамкала старушонка в монашеских ситцах, и сморщенная ее беззубая челюсть дрожала, как привязанная. — Людей без креста не бывает... Только в могиле человек без грехов.... да... О, господи...

А Евгения, улыбаясь мокрыми глазами, тихонько поглаживала обшлаг матвеевой гимнастерки.

— Не будем об этом больше говорить, Мотенька... и... и ты никому на заводе не рассказывай обо мне. Живу и живу, добро хочу людям делать, как умею... А какое горе у меня, про то я сама знаю, и ничьей тут заботы нету. Значит, уж так и прошу тебя: никому обо мне не рассказывай.

Вновь и вновь дивился Матвей Опочкин: необычайна и неразгаданна стала сестра Евгения, которая в дни их общих игр была ему ясна, как стеклышко. Была прежде Евгения гордой, задористой девчонкой. Даже старые мастера на заводе боялись ее острого насмешливого языка. Теперь она говорила и держалась совсем иначе, какая-то горькая певучесть появилась в ее голосе, каждое ее движение согревалось нервным и горячим смирением. Будто она нескончаемо виноватится перед кем-то, дожидает прощения и не находит.

— Все-таки ладно ли хоть с мужем-то живешь, Евгеша? — спрашивал Матвей.

— С мужем-то?..

Женщина вдруг задохнулась, зыбко повела плечами, бледное ее лицо будто охватило пламенем изнутри: жадно раскрылись губы, темноалые, как вишневый налив, румянец запылал на щеках, легкий прозрачный огонь сиял в ее глазах.

— С мужем-то мы живем хорошо, живем... уж так-то радостно...

Глаза у ней стали большие, невыразимо темные, ожидающие, будто видела она благословенное радужное марево вечной юности.

— Насчет жизни моей с мужем, Мотенька... тревожиться нечего...

Матвею хотелось крикнуть: так о чем же ты-то болеешь и тревожишься? — но он только недоуменно развел руками.

Ясно было, что в этом странном доме ничего не узнаешь.

— Пурга-то какая... — пугливо зашептала старуха, глядя в окна и выронив на голубой ковер свое вязанье. — Не дай бог в дороге в этакую погоду... слаб человек в такую пургу, как былинка, слаб человек. Дьяволовы это забавы на погибель человеку.

Старуха вдруг всхлипнула, сползла с дивана и вся согнулась в коленопреклоненной мольбе.

— Спаси и сохрани, господи-владыко, людей безоружных, слабых, одиноких людей сохрани... Злого дела ни над кем не допусти... мысли греховные оттени от нас, грешных твоих рабов... Господи-владыко, мати божия...

У Матвея мурашками защипало все тело, захолодела спина. Выпуча глаза, он глядел на Евгению и одними губами спрашивал про старуху:

— Сумасшедшая, что ли?

Но Евгения покачала головой: нет, мол, старуха здорова. Евгения рассеянно смотрела на старушечьи поклоны, как на что-то уже давно привычное.

— Что ж она у вас — больная, что ли? — беспокойным шопотом выпытывал Матвей.

Евгения, уже опять бледная, темная, отшепталась в торопливом ответе:

— Добрая очень свекровушка моя, обо всех душой болеет...

Старуха уже перестала бормотать и сидела на малиновом плюшевом диване, раскачивая во все стороны хлипкое тело в черных ситцах.

— Идите спать, маменька, — с печальной своей ласковостью сказала Евгения.

Старуха встала, шатнулась и пошла, бессловесная, тихая, как призрак.

Матвей судорожно зевнул. Казалось, проплыли мимо какие-то тошные и тягучие сны, а грудь сдавило в какой-то тугой духоте. Захотелось вырваться на вольный ветер из странного этого дома, где две женщины ходят по коврам в непонятной тоске. Матвей рванулся к окнам и прижал горячий лоб к стеклу — пурга все крепчала, и снежная дурь билась в стены дома. Выехать сейчас опять в этот метельный ветер — значило опять плутать и наверняка замерзнуть.

— Невесело тебе у нас, Мотенька, — смиренно поклонилась Евгения. — Да и устал ты, голубчик. Может, спать положить тебя? А?.. Утречком... к свету уедешь, я разбужу тебя.

— Да, да, — с внезапной тоской сказал Матвей. — Скорей бы уж тут до утра дожить.

Последние слова вырвались почти враждебно, но Евгения только покорно наклонила голову, будто готовясь стерпеть и не такую еще обиду.

— Я тебя, Мотенька, в чулашке положу. Теплый чулашек, чисто там, не хуже комнаты. Перина найдется, сделаю все, как надо.

Толкнула дверь куда-то в приятно пахнущую тьму. Зыбкий огонек свечи бегло осветил крашеные бревенчатые стены, какие-то тюки, ящики, полки на стене, где жирно чернели стеклянные банки, видно, с вареньем. Евгения вела куда-то вглубь этого длинного, будто бесконечного чулана. Шуршанула большая связка веников на стене, задев Матвея по лицу. Он выругался зло и устало, будто вовсе и не отдыхал за сытной закуской.

— У-у, дьяво-о-ол! У тебя тут ноги переломаешь... Чего-чего сюда не натолкано, холера задави это барахло. Что у вас тут?.. А?

Евгения отвечала из-за высокой кучи каких-то узлов.

— Тут... вроде кладовки у мужа... товары тут... Ты, Мотенька, ложись вот сюда, к стенке... я тебя шубой укрою.

Матвей рассеянно потрогал полу—пальцы тонули в пышнейшем меху.

— Хороша шуба у благоверного-то... Самая буржуйская шуби-ща— видно карман толсто набивает.

Евгения, будто закованная в броню долготерпения и кротости, говорила все теплее и ласковее и обезоруживала своей беззащитностью.

— Вот тут и ляжешь, Мотенька, вот справа на сундуке квасок в кувшине, на случай, если пить захочешь. Хороший квасок, с хмелем маленько, после солененького куда как приятно... Одежу я всю на печь сложу, чтобы завтра тебе в теплое одеться. Утречком раненько разбужу тебя.

Что-то подумала, неловко помялась и сказала, опять безысходно виноватясь:

— Ты уж не серчай, что тут тебя укладываю. С нами ведь еще брат Романа живет, а в доме две комнаты всего. В большой-то мы спим, в маленькой Федя... да еще товарищей часто к себе приводит. Кухня махонькая вовсе, там свекровушка спит. А Федосей наш дерзковат немного, положишь тебя к нему, он не задумается, растормошит.

— Что он, Федосей-то, тоже с мужем твоим торгует? — чувствуя какую-то неясную гадливость к отсутствующим, сонно и зло спросил Матвей.

— Да, торгует тоже, — кратко бросила Евгения. — Ну, спи, братец, хороший. Разденься, а я за одежой приду. А кваску-то ты выпей, сладко спать после такого питья.

— Ладно-о, — зевнул Матвей.

Разделся и лег. Перина мягко подалась вглубь и охватила тело со всех сторон.

— У-ух! — дохнул на свечу Матвей и отдался безвольно тяжелому и душному устатку. Слышал сквозь сон, как вошла Евгения, забрала одежду и с тонким скрипом закрыла за собой дверь.

Как-то вдруг, словно от толчка, Матвей проснулся и сел, шарась в темноте вокруг себя. Перед сном забыл повторить привычное движение — ощупать под подушкой наган, и сознание, точно обеспокоенное этим, послало запоздалый приказ. Матвей шарил, стуча сердцем, и не находил ничего — нагана под подушкой не было. Тут же вспомнил, что оставил его в кобуре, положив на снятую одежду, которую унесла Евгения.

— Вот дура проклятая! — кажется, впервые в жизни злобно выругал он Евгению. Только было-открыл рот, чтобы крикнуть недогадливую женщину — и замер, не успев сжать челюстей. За стеной дружно хохотали мужские голоса, а женский голос вторил им, как малый колоколец.

У Матвея опять застучало сердце, и какое-то темное чутье велело быть тихим и ловким, как кошка. Он выбился из-под шубы, глядя навстречу тонкому золотистому лучику из стены — между бревнами была щель.

Матвей встал на колени и только дотянулся-было до щели, как вдруг слегка приглушенный голос Евгении сказал за стеной:

— Ну, вы пейте вино, если охота, а я чаю хочу... Сейчас вот за вареньем схожу в чуланчик.

Матвей юркнул опять под шубу, лег на бок, спиной к двери и призакрыл глаза. Он слышал, как, еле ступая, вошла в чулан Евгения. Мутным взглядом поймал бесплотное шатание головастой тени на потолке. Слышал, как Евгения, раза два воровато чикнув ложкой о банку с вареньем, зашептала:

— Мотя-я... Мотенька-а...

Матвей лежал под шубой, стараясь дышать ровнее, будто хорошо и полно ему спится. Было понятно, что за вареньем Евгения пришла для виду, чтобы посмотреть, что он делает.

«Надо тебе, чтоб я спал... А-а... Какие у вас тут дела...»

Вскочил в темноте упруго, словно кошка. Весь дрожа и еле сдерживая цаканье зубов, приник к щели и загляделся на долгие мгновенья, позабыв все на свете.

На ковре, опираясь локтем на малиновый плюшевый диван, полулежал высокий, тонкий человек, вытянув гибкие длинные ноги в лаковых сапогах.

Он смеялся, вздергивая короткую верхнюю губу с ровной щеткой светлых усов. Его крупноватые, слегка лошадиного оскала ровные зубы блестели сплошной светло-желтой стенкой. Розоватыми, тонкими, как у женщины, пальцами он ерошил свои короткие волнистые волосы, цвета золота с пеплом, как скорлупа грецкого ореха. Он жмурил свои выпуклые темноголубые глаза и, закидывая голову, смеялся весело и лукаво:

— Ха... ха... ха.... ай, не могу...

Конечно, это был Роман Мятлев, бывший приказчик из заводского кооператива. Но как он был сейчас непохож на того дрогнувшего в коротком пальтишке Романа, которого осенним холодным днем вез милиционер на подводе в город.

Теперешний Роман, развалясь на голубом ковре, хотел побить кого-то своим смехом.

— Ну, так как же, Ефим Кухмарев, судья непризнанный... Я значит выхожу, по-твоему, х-хуже пар-разита? А?

— К-конечно, — прохрипел чей-то надсадный и тугой голос. Прижав затылок к подоконнику, сидел на подушках пожилой человек с проседью в коротко стриженных волосах. Его кургузое ватное пальтецо с вязенковым воротником было надето только на одну руку, другую, неумело забинтованную, он держал у груди. Краешек его остренькой, почти седой бородки был красен от крови.

— Вот, — сопя толстым, грушеобразным носом, продолжал Ефим Кухмарев, — вымазал меня кровью до самой бороды, да еще с разговорами лезет. Разговоры твои мне так же нравятся, как и битье...

— Ф-фю-ю! — свистнул тихонько Роман, — положим, не я тебя бил, а братишка по мальчишечьей глупости. Я сам... до крови доходить не люблю. Нет...

Роман гадливо затряс головой.

— Брат, это точно бил, а я тебя вот подобрал, жена рану тебе вымыла... На пуховы подушки тебя положила, угощает тебя, а ты не желаешь.

Нежно-звенящий голос заговорил жалостно и гневно:

— Бил-то зачем, Федоска, озорные твои руки? Зачем бил-то старого человека? В отцы он тебе годен бы, а ты...

К столу шла Евгения, пышноволосая, румяная, в белой шелковой шали, неся тарелки с закуской.

— Вот не люблю этого я в тебе, Федоска... стыдно, жестоко.

— А он не лезь, поперек дороги... ге-рой липовый... Т-тоже... на стрему вышел, ждали его! — отчеканил Федосей своим резким тенорком и продолжал курить. Стоял он посреди комнаты, расставив ноги и попирая своими серыми валенками ярчайшие букеты на зеленоватом поле.

— Главно дело, — пуская дым открытым румяным ртом, продолжал Федоска, — хоть бы к его добру руки приложили, а то ведь за чужое ввязался.

Он небрежно сбросил пепел большим пальцем себе под ноги и, покачиваясь гибким, словно девичьем телом, продолжал:

— Кончили мы все с магазинчиком Шишкина, погрузились, замочек повесили, все, как надо... Эх, говорим, приятная начинается погодка — пурга, словно для нас господь-бог удумал. Едем по-зимнему, на саночки погрузились.

— Хороша погрузка! — хохотнул Роман, показывая свои белоголубые зубы. — Целая пачка чулок шелковых по дороге потащилась. Тянутся, как змеи... ха... ха... только что не шипят... ха... ха...

— О-о-ой! — закрутил головой Федоска. — Вот где стыд, Евгения... Хоть и мело снег-то, а чулки-то на виду валяются. Едем мимо спичечной фабрики, слышим окликают: эй, граждане, потеряли! Глядим — стоит человек, потерю нашу разворачивает... А-а, кричит, подозрительные господа тут едут. Да ка-ак свистнет, а сам в ворота. А я на него, я на него...

Федоска затопал в азарте.

— Он на меня кулаком, а я по кулаку финкой хватил... ха...

Закурил новую папироску и дернул плечом.

— Не знаю уж, с чего ты, Роман, подобрал его...

Роман встал, потянулся, широко размахнул руками и опять белозубо засмеялся.

— За смелость его пожалел. Кровь у него из руки хлещет, а он, знай, проклинает: «Враги вы пролетариата, разбойничье племя»... Люблю я сме-

лость в людях! Ему бы молить, чтобы до смерти не досталось, а он проклинает и хоть бы хны.

Охорашиваясь и легонько пританцовывая стройными ногами в лаковых сапогах, Роман прошелся по ковру и остановился перед замолчавшим раненым.

— Вот какие, значит, дела. Что ж ты молчишь, дяденька, судья мой непризнанный?

Раненый резко откашлялся и бросил непримиримо:

— А ты меня за смелость только в логово свое привез?

Роман опять поерошил волосы над улыбчивым и гордым лицом.

— Жизнь веселую и привольную захотел тебе показать. Ты вот, связанный-то в саночках лежа, да меня проклиная, все хвастался, что семнадцать лет у станка простоял, а что выстоял-то?.. Одежонку эту худомалую?.. Ха...

— Сила наша не в одежонке, дурак ты, бандитская голова.

— Сила, — Роман закинул назад беззвучно смеющееся лицо. — У вас коли кучи нет, значит, и силы нет, а вот я один силен. Что?.. Есть у тебя друзья такие, как у меня? Можешь ты стольких людей обогреть?.. А я могу... Кто мужичку Ивану хозяйство поднял, коня, корову помог купить? Я! Кто вдовухе Петра-солдата помог избу поправить? Я!.. Кто у Сергея-батрака всех ребят одел? Я!.. Да, да, у меня тут на округ други верные... Скроют, спрячут, проведут, выведут... Ха! На удачу я не жадный...

— Гнилая твоя удача... А сила твоя — мертвецкая зараза.

Роман похохатывал беззвучно, раскачиваясь на каблуках, лаковые его сапоги блестели черным жаром.

— Евгеньюшка! — обнял он на-ходу жену. — Угости-ка его винцом хорошим. Там мускатик у нас есть — принеси, красота моя...

Евгения вышла, легкая в белой своей шали, принесла покорно бутылку и рюмки на подносе. Она переводила взгляд свой с одного лица на другое, и черные ее глаза, зеркально-прозрачные, отражали внутреннее ее кипенье. С гневной горечью взглядывала она на посвистывающего Федоску, с беспокойной нежностью на мужа, с горячей покаянной нежностью и жалостью на Ефима Кухмарева. Не однажды поклонилась она ему низко, будто безмолвно умоляя простить многие ее грехи.

Роман налил себе вина в стакан, поглядел на свет, щурясь на холодное пыланье темнорозовой влаги. Прищелкнул языком и мигнул Кухмареву:

— Эх... Вот так винцо... Ты только отпей, Ефим! Ты пригуби только, монах ты этакий, с-сукин ты сы-ын! — кричал он с бесшабашной веселостью.

Ефим молча оттолкнул от себя поднос с налитой рюмкой. Евгения вскрикнула, отряхивая шаль — сразу рябым стал белоснежный шелк под винными брызгами. Но опять испуганно и смиренно поклонилась Евгения непримиримому чужаку и отошла в уголок.

— Ну и дурак! — отплюнулся Федоска, взял со стены балалайку и тихонько заводил пятерней по жидко зазвеневшим струнам.

Роман разом выпил вино, крякнул до жмури, упер руки в бока и тем же пляшущим шагом прошелся по комнате.

— Эх, вылил... ха. Чем удивить хочет, под-думаешь... что ты, как в молодости сухую корку больше сдобы любил, так и сейчас... Эка диковина... Нет, ты вот праздник возлюби, волю легкую... В куче-то шуметь не велика наука. Нет, ты вот одиноким прошуми, в глаза людишкам напыли...

Ефим кашлянул и сказал хрипло, тяжело водя косматыми большими бровями:

— Насчет пыли да шуму не хвастайся, бандитская башка... Мышь шуму не любит и то кошке в зубы попадает. Некому тебя бить было, пока ты дурь свою в голове копил... а моих слов, видно, мало было.

— Мало-о... д-да-а! — хохотал Роман, закидывая голову. — Ты думал — так я и буду век свой спички в коробки укладывать... Ха... Жить — это не спину гнуть... Жить — это значит... выигрывать, праздничком насытиться по горлышко... людишкам добро раскидывать, как все равно пшено курам...

— Праздничек-то придет, да не так... как у тебя... мало тебе хребет ломали, беспутное племя.

— А-а... Праздничек... Слыха-ал... Коммунисты да и все, кто в ихнюю дуду гудит, все уши этим прожужжали... Со-циа-лизм... Хи... хи... А когда тыщенку в кооперативе от ихнего благополучия урвал, так меня и под замок, как собаку... Вот те и праздничек.

Он вдруг хищно оскалился и топнул так, что посуда на столе зазвенела.

— Только ждать я праздничка не намерен... не-ет... Сам его возьму, сам... Я легкий, ловкий я удалец... Жизнь мне — как в ветер на скакуне проехать! Эй, полюбуйся, дядя Ефим, на веселое мое житье... Играй, Федоска! Ну!

Федос хватил по струнам изо всей силы. Роман гикнул, притопнул и пошел, пошел. Перебирая ногами, щелкал пальцами и манил к себе Евгению.

— Эй, лебедушка моя, пойдем! — Евгения наклонила голову и плавно завела плясовой круг.

— Плясал ли когда вот этаким манером, Ефим Кухмарев? — по-мальчишески хвастался Роман.

— Зараза ты человечья... Издевальщик ты... Пуля тебя давно ищет! — бровастое лицо Ефима перекосило судорогой. Он с силой встал, выгибая спину, но задел раненной рукой спинку стула. Взвыл басом, на бинте проступила кровь.

Евгения всплеснула руками и подхватила неловкое и ослабшее тело Ефима. Положила его на подушки и заговорила горячей скороговоркой:

— Лежи, лежи. Ах, ты... чудной да упрямый... Сейчас, сейчас все тебе сделаем.

Взволнованно крикнула:

— Маменька, повязку переменить. Да скорей же, скорей.

Старушонка прибежала с молодой прытью, и обе женщины захлопотали с торопливой преданностью, как для дорогого человека.

Евгения, откинув вбок свою черноволосую голову, сказала нежно, по-голубиному воркующим голосом:

— Ты прости их, родной, прости, лихом не поминай... Дурацкие головы у наших мужиков да губа сладкая — вот какая беда. А так они у нас ничего, дорогой ты дяденька, седая твоя головушка, право ж... ничего.

Ефим смотрел на молящее и ласковое лицо женщины, что стояла перед ним на коленях. Его косматые брови заходили над глазами, как приречные кусты в бурю.

— Эх, хозяйка, досталась же тебе жизнь. Вертишься, как рыба на горячей сковороде... Не все следы, молодуха, замести можно, не твоей метелкой это сделать... И... отвезите вы меня домой, уж налюбовался я, хватит.

— Да, да, — вскочила вмиг Евгения. — Федоска отвезет. Да и пурга стихает. Слышите? Федосейка доставит тебя домой, дорогой гостенек. Сама тебя закутаю, в сани посажу. Засветает скоро, поедете по тихой погодке.

Роман все смотрел, молча раскачиваясь то на носках, то на пятках мягких блестящих своих сапог. Он медлительно поводил плечами, будто сдерживая смех. Потом закивал головой и протянул с любовным презрением:

— Эх, плакальщица ты моя-я... Утешительница-а... Действуй, действуй... Я тоже гостя не неволю.

Роман вдруг потянулся сильно, перегнувшись назад всем телом, будто ломал его внутренний какой-то ветер, и вбок посмотрел на гостя.

— Значит, каждый при своем, Ефимушка?.. Ну, что ж! Кому что мило: кто кирпичем в землю ложится, кладите, мол, на меня еще, не препятствую, местом своим доволен... есть такие дурашные святоши на свете, ха... ха... А есть и веселые, легкие люди... скачут, летают по земле, соколы да и только. К месту не прирастают, как плесень...

Вдруг вскинул голову и глянул в сторону молчаливого Ефима и хмыкнул:

— Все молчишь? Пре-зи-ра-ешь? Ха... Ну, езжай, езжай! Только уж дороги мы тебе не покажем... не-ет.

Уже с грозной деловитостью распоряжался:

— Федоска, глаза ему завяжи, самого его тоже... в ленты возьми, чтоб не барахтался. Машинку с собой возьми, только смотри, сукин сын, зря не баловаться, а то ты это любишь...

Федоска осклабил к уху безусый рот и охотно подмигнул:

— Этакий тип за фраЙера не сойдет... Ни рыба, ни мясо. Чего и возиться с этакими, не знаю... разве когда дикая муха укусит?

Роман крикнул, подняв кулак:

— Цыц! Твое дело какое? Слушаться!.. Поворачивайся... ну!

— Да я что ж... Одеваюсь вот... — уже покорно забормотал Федоска, надевая кургузый желтый полушубочек.

Старушонка, монашески смиренная и хлипкая, как перестоявший под сосной грибок, вся потянулась к младшему сыну:

— Федосенька, родной, опять ведь простудишься... Зачем такую одежонку надел? Здоровьишко-то у тебя слабенькое.

— А ну тебя, мамахня! — скрипнул зубами Федоска, затягивая непослушный ремень.

Гость, пошатываясь, пошел, поддерживаемый Евгенией.

— И ты из той же породы, бабка, — усмехнулся он старухе, — тоже... над волком... наседка хохлится...

— Прости, батюшка, — с чего-то закланялась старуха.

Роман, не попрощавшись с подневольным гостем, закурил папиросу и, откидывая светловолосую голову, пускал дым открытым ртом. Потом лег на диван, положил ноги на спинку и закрыл глаза.

Матвей услышал возле двери чулана тихую возню: видно, готовили гостя в дорогу.

— Вы что, одеялами-то меня вовсе завалить хотите? — презрительно хрипел голос бровастого упрямца. — Не надо мне вашего мерзкого барахла... Лучше бы глаза да руки не завязывали...

— Милый человек! — горько кипел горячий полушопот Евгении. — Прости, прости, ради всего святого для тебя... Но ведь ветер-то еще ходит, прохватит тебя... Чай, не молоденький, жизнь-то натруженная...

— Прости, ради христа, — смиренно, по-великопостному вторила старуха...

— Ну... заны-ыли! — грубо захохотал Федоска и последним протопал мимо чулана. Длинно проскрипела дверь в сени, и голоса затихли.

Матвей оторвался от щели и, обессиленный, свалился на перину — ныли затекшие колени, глухие звоны стояли в голове... Сердце билось редко томительными срывами, будто кто дразня дергал его за веревочку.

Желтая полоска света в щели, как тонкий отточенный клинок, вонзалась в темноту. Матвей глянул на свет и зажмурился — напоминала желтая щель нож «финку». Несчетное множество раз отнимал он это разбойничье «перо» из грубых хулиганских рук и с деловитым хладнокровием «приобщал» к делу «за номером таким-то» А тут глупее курицы сидит во тьме полураздетый, без оружия, беспомощнее всякого мальчишки. Да у того еще положение лучше: мальчишка кулаки свои не боится в драке показать, а вот он, Матвей Опочкин, боится даже чихнуть. Да еще выспался

под ворованной шубой, набивал себе живот буржуйскими закусками, пил дорогую (уж не меньше как трехрублевую) наливку — и это тоже все, ясное дело, наворованное.

Матвею вдруг до боли захотелось плюнуть громко, во всю мочь, много раз, будто наелся он чего-то поганого. Казалось, загрязнил себя этой едой, которой так наслаждался после метанья среди пурги.

— Тьфу! — беззвучно топырил мокрые губы Матвей, плюясь куда-то на пол. Во рту было горько и нехорошо. Потянуло к питью, и Матвей нащупал кувшин с квасом. Отпил пару глотков и поперхнулся — квас был противен, но сладок на вкус, а язык облепило какой-то вязкой горечью. Матвей открыл рот и шопотно ахнул: в квасу был подсыпан сонный порошок.

— Да, да, — шептал одними губами Матвей, — надо было тебе, подлая баба, чтобы я дрых, как мертвый, и ничегоньки не слыхал... А-а, то-то улещала меня — выпей, мол, после солененького. Ха... ха... Ах ты... Сволочь, ведьма.

Уже забыл, что детство и юность прожил с Евгенией в одном доме — чужая женщина, которой ни в чем нельзя верить, стояла перед глазами.

— Подите уж спать, маменька, — пропел за дверью мягкий, вздыхающий голос Евгении. Матвей слышал, как она вошла в комнату.

— Уехали.

— Чорт с ними! — звучно сказал Роман, и глухо пристукнули о ковер его каблуки,— видно, встал с дивана.

Матвей опять настороженно прислушался — двое в комнате чему-то тихо смеялись, Матвей вдруг решил, что — надо еще что-то досмотреть за этой враждебной стеной. Он опять прильнул к щели.

Роман стоял посреди комнаты и окутывал Евгению во что-то голубое и блестящее.

— Нет уж, милая, — нетерпеливо приговаривал он, — сейчас надень, сейчас покрасуйся...

Обдернул напоследок с плеч и восхищенно ахнул. В голубом шелковом сарафане с разноцветной стеклярусной каймой вдоль переда и по подолу встала Евгения, как ожившая картина.

— Косу, косу, распусти! — прищелкивая языком, как мальчишка, прыгал Роман. Мягкий вороной жгут с любовной бережью подержал в растопыренных ладонях и бросил на голубые шелка. — А ну, пройдись, пройдись, дорогая! — и отступил на шаг.

Женщина улыбнулась, плавно раскинула руки и пошла выхаживать голубой лебедью.

— Платье-то нравится ли? — задирал голову Роман.

— Уж и балуешь ты меня, — влюбленно сияла глазами Евгения.

— А? Что? Хорош наряд! — хвастливо присвистнул Роман. — Из кооперативного шелку, по червонцу аршин... Монашки вышивали, мастерицы замечательные. Спрашивают: почему длинное такое платье, не модно-де. Я говорю: не люблю обкарнанные эти юбчонки нынешние,

ф-фа... Не глядел бы, все колени на виду. То ли дело павой выступать... А ну пройдись, еще... пройдись..

И снова выступала женщина по-лебединому, шурша голубым шелком.

— А-ах! — заерошил волосы Роман и, подняв ее, как перышко, посадил с собой рядом на диван.

— Хорошо тебе со мной, кто другой такой есть, как я? Ну? Хмуришься отчего? Опять тоска? Брось, миленькая! Бро-ось! Я уж по гроб жизни выбрал себе дорожку летучую, сладкую... и скользкую. Беру только у тех, кто возле большого добра сидит, чье оно — плевать. Вкус жизни я, родная, очень даже понимаю, а чтобы работать, землю скрести... хо... хо... ищи дураков у господа-бога...

Вдруг грубо отбросил от себя облитое голубым пламенем податливое женское тело.

— Эй, печальница, утешительница, может статься, уйти от меня хочешь? А?

Женщина прибросилась к нему, будто ее подняло ветром, закинула руки на его крепкую шею и простонала:

— Да куда ж я от тебя пойду-то? Да любовь ты моя, милы-ый, солнышко бесценное! Так уж и жить мне... с тобой радуюсь, перед людьми каюсь. А-ах... Нету мне жизни без тебя!..

— То-то! — радостно хохотал Роман под ее поцелуями и скалил белые хищные зубы.

Дальше не видел их Матвей.

Скашивая глаза, разглядел краешек кровати и черный вьюн косы, что свесилась до самого пола.

Тихий смех, вздохи и поцелуи скоро перестал слышать и еще несколько минут, весь дрожа и леденея, осматривал комнату, как логово медведя.

Как мелкое прирученное чудище, шипела и гудела лампа. Стол, покрытый белой скатертью, казался непомерно длинным и напоминал о покойнике, и сквозь щель будто уже тянуло не запахом розового цветка, а отвратительно-сладким душком трупа. Цветы на ковре взбагровели грязнокрасным, словно давно спекшаяся кровь. А на диване, как сброшенное лебединое оперение, белым серебряным пламенем полыхал голубой сарафан, будто странная и безгласная сказка осталась тут в комнате. А Матвею, до зуда в пальцах, захотелось сжимать холодную и гладкую рукоятку нагана — и палить, палить бы с хохотом и криком в это голубое сияние, дразнящее запахом трупа.

Матвей упал на перину, задел голой ногой пышный мех шубы. Зацакал зубами, пиная и топча пятками шубу, как что-то живое, будто в нее забились все нежданные и лукавые ловушки жизни.

— Ну тебя к дьяволу! — пинался он уже в пустоту. — Ну тебя... проклятое барахло... провались... ну.

Устал вдруг шептать, толкаться и затих, поджав ноги, и тихонько царапал волосатую грудь. Захотелось пить. Матвей забывчиво потянулся

к кувшину, но отбросился назад, весь дрожа от шопотной матерной брани: квас же был сонный, отдающий мертвецким духом, как и весь этот дом.

Матвей глотнул слюну и крепко рванул себя за волосы, ущипнул за уши. Это полуодетое сидение в темноте, запертым, безоружным, небывалая беспомощность — все это уже сотни раз провертелось в пылающем круге сознания. Казалось, разломает все рамки темная буря матвеевых чувств, и он бросится и будет биться об дверь, как зверь в клетке.

— Ну, ну, болван стоеросовый, терпи-и... Помалкивай до утра, чорт толстоносы-ый.

Матвей вдруг увидел перед собой низкую, тесную, как скорлупа, милицейскую дежурную комнатенку, стол с истлевшей, изморенной чернилами промокашкой на четырех кнопках. Матвей, исподтишка грубя от скуки, записывает за этим столом «прибывших» и «выбывших». И вдруг эта «дежурка», пропахшая винтовочным маслом и милицейскими валенками, предстала перед Матвеем Опочкиным, как лучшее, самое оправданное место на земле, какое только он знает. Евгения вдруг стала ненавистна, отвратительна, как тюремщик, чьи шаги ехидно-тихи, а руки озорно и злорадно грозятся ключом.

Без шубы скоро стало холодно. Матвей поежился минут с десяток и начал шариться вокруг подневольного своего ложа, ища шубу. Потом закутался с головой в эти пышные воровские меха, содрогаясь от презрения к своей слабости.

Матвей не слыхал, как шаркалась за дверью Евгения. Очнулся от теплого шопота над ухом:

— Тсс... Мотенька... тсс... Вставать пора.... скоро семь часов... тссс...

Что-то теплое ткнулось в руки — одежда.

Шопот Евгении шелестел, как отсохшие, мертвые листья:

— Я на печке тебе одежу-то грела... Тепло ли, родной?.. А?

— М-м... да...

Матвей одевался в лихорадочной спешке. В голове пронеслась-было благодарная мысль о заботах Евгении — приятно льнула к телу теплая одежда, но злое нетерпение прогнало эту думку как лишнюю. Тело наслаждалось приятнейшей теснотой высоких сапог, туго затянутого ремня и кобуры, толстого сукна шинели.

— Оделся, Мотенька? — опять зашелестел шопот Евгении. Она вошла виновато и ласково улыбаясь. Свеча подрагивала в поднятой ее руке. Матвей прочел в ее тихо мерцающих глазах сдержанное томное блаженство. Она опять была в каком-то стареньком, невеселом платье, но улыбчивый ее рот рдел, как темный, сочный цветок, будто все еще выхаживала она голубой лебедью, чьи серебристые перья так сладко казалось Матвею взметнуть и развеять жаркой пальбой.

— Хорошо ли спал, Мотенька? Я тут тебе закусить горяченького приготовила.

Евгения торопливо захлопотала у кухонного стола, сторожко расставляя посуду.

— Вот подкрепись на дорожку, братец дорогой.

Темнозолотое вино играло в тонких гранях рюмки.

— Нет! — тяжело ворочая шеей, бросил Матвей куда-то мимо приветливого лица женщины.

Старуха внесла полное ведро молока. Из кармана ее кофты высунулся ломоть грубого хлеба. Старуха поклонилась Матвею и зашамкала, грустно и озабоченно морщась:

— Что гостенька-то на дорожку не потчуешь, Евгешенька?

— Ничего... я вот так... — быстро сказал Матвей и зачерпнул чашкой из ведра. Другой рукой вытащил из старухиного кармана ломоть хлеба. Ел хлеб и запивал молоком.

— Братец... Мотя-я... Да ведь это только для коров хлеб-то... Дурной, вовсе несеянный... для скота же...

Евгения с чего-то растерялась и настойчиво тянула Матвея за рукав к столу.

— Нет, — громко чавкая, зло ухмыльнулся он, теперь уже все понимая. — Нет уж, мне и так хорошо. Главных-то ваших хозяев разорить боюсь... здорового мужика корми, пожалуй... Боюсь, как бы ругаться хозяева не стали.

— Да спят они оба, — улыбнулась Евгения и мотнула головой на дверь. — Я же их заперла, Мотенька, и с этой и с той стороны...

Матвей вдруг обидно фыркнул прямо в молоко, размахнулся и кинул недопитую чашку в рыжезолотую от накала печь.

— Ха... ха..

Навстречу вмиг одичавшему взгляду Евгении выкрикнул:

— А... Значит, как меня, так и сударика своего запираешь?.. Здор-ро-во-о.

И по его воспламененным сухим глазам она вдруг поняла, что он не спал, все видел и слышал.

— А сонного снадобья ты ему не подсыпала? Ха... ха?.. — ни с кем не прощаясь, перепрыгнул Матвей через крутой порог.

Женщина выбежала за ним в сени, хватаясь за его рукав:

— Мотя... Мотя...

Матвей, топая по ступенькам, все выкрикивал на-ходу:

— Какой квасок-то ему ставила?.. Или ты ему порошок-то в винище сыплешь? Ха... ха...

Евгения, быстро-быстро вскидывая над головой руки и звонко ударяя ладонь о ладонь, растерянно заметалась, будто под ней горела земля.

— Не подсыпаю я ему ничего — нет... Тебе же я... только для добра... для добра... ах, зачем бы это тебе видеть?.. зачем?

— Хитра-мудра! — грубо оскалился Матвей. — Ну, куда итти-то?

Евгения встрепенулась и, забежав вперед, толкнула маленькую калитку.

— А! — широко вздохнул Матвей, радостно раскидывая руки. Только сейчас он заметил, что утро встает теплое, пронизанное солнцем и звоном капелей.

Матвей оглянулся назад на высокие заборы вокруг дома. Влево на косогорье увидал серые скопления избенок и ахнул:

— Батюшки, да ведь это Сачково! Десяток верст я только в сторону отъехал...

— Скоро дома будешь, — робко поклонилась Евгения, подводя коня, но Матвей уже злобно косил глаза на Сачково.

— Я не о том, зубы не заговаривай... А вот не тут ли у вас дружки подкупленные? А?.. «Проведут и выведут», которые воровские помощники? А?

Вместе с охотничьим каким-то нетерпением разгоралась в Матвее незнакомая еще гордость. Он, серый, неуклюжий милиционер, каких тысячи, почувствовал, как его незаметная жизнь вдруг выросла и высоко встала над Евгенией.

— Мотенька... послушай, прошу... — Евгения все не отставала с мольбами. Держась одной рукой за ремешок возле седла и другой уцепясь за полу матвеевой шинели, Евгения глядела на Матвея молящими смородинными глазами. Лицо ее стало иззелена-бледным, она плакала всухую, без слез: дикой и скорбной гримасой перекашивало, дергало брови, щеки, рот.

— Мотенька... да пожалей ты меня-я... Ничего мне не надо-о... только бы он, Роман мой, возле меня был... Мука ведь мне, а не жизнь... Мотя-я! Людям помогаю, перед ними же и казнюсь, как собака, ползаю. Расколото у меня сердце, Мотенька!.. Вот оттого и не узнать меня... Романушка по земле пройдет, а я следы его на земле замываю... слезами замываю, Мотя!.. А земля-то подо мной недобрая, каленая...

— Кто велит? — не глядя, бросил Матвей и дернул за повод. — Пусти ты меня, не лезь... ну...

— Мотя, стой... Что ты сделаешь, потом, брате-ец? Что?

— Тебе какое дело? Пусти — ну!

Евгения забежала вперед и отчаянно обняла недоуменную морду умного коня.

— Матвей! — закричала она, стуча мертвенно-белыми зубами.— Матвей, молчи обо всем, пожалей меня... Куда ж я... с любовью-то денусь?.. Брошу куда?..

— А хоть к свиньям брось! — дернул плечом Матвей, почуяв в душе какой-то теплый неверный свет. — Лучше б мне тебя подзаборной девкой встретить... Поняла?

Умный конь вздрогнул и осторожно высвободил морду из этих чужих и странных рук. Евгения прибилась к седлу и уже изнемогающе хрипела:

— Не могу я жить без него... не могу!..

Когда Матвей дернул поводья, и лошадь пошла, женщина все не хотела отстать. Бежала возле самого бока коня и все умоляла, скользя и спотыкаясь на талом снегу.

Матвей глянул на реку, уже готовую ломать льды. Яблочно-розовые и глубоко взрезанные синими полыньями, они, казалось, напряженно ждали ветрового толчка, чтобы разломиться с громовым треском и тронуться в шумный и веселый путь. И Матвей вдруг смаху, всей грудью почувствовал жизнь как вечный ветер, солнце и ледоход и захотелось скорей нестись навстречу повелевающей ее громаде.

— А-а, чорт! — и Матвей, уже не слушая ничего кроме капелей с берез, крепче натянул поводья. — Ну-ка, пусти, пусти меня.

Женщина все на-бегу еще раз успела уцепиться ледяными и слабыми пальцами за руку Матвея.

— Не отдам вам Романа! Люблю его, мово голубчика! В горло вцеплюсь всякому, кто отнимет... Не отдам его!.. Тут он у меня, тут вот, все сердце занял. Верней сердца моего ничего нет на свете... Верней любви моей ничего не знаю,— в воде не утонет, в огне не сгорит!

Евгения широко размахнула руки, будто показывая, как огромно ее сердце, затопленное любовью к Роману.

— Обещай же, Матвей! Обеща-ай!..

Слабее воробья показалась она Матвею. Он глянул напоследок и отмахнулся, будто старые крошки бросил голодной пичуге.

— Ладно, ладно... Обещаю...

— ... ю-ю-ю-у-у! — весело высвистнул в уши ветер — умный конь лихо перемахнул канаву и поскакал по рыхлой, журчащей ручьями дороге.

Резкий конек крыши мелькнул напоследок, когда Матвей повернул и съехал под гору.

— Я не я буду, если мы вас, голубчиков, не выследим.

Подъезжая к заводу, Матвей заметил, что на шинели не хватает одной пуговицы.

— Уж не там ли — в логовище этом потерял я ее?.. А, да чорт с ней!

Романа и Федоску Мятлева выслеживали досамого лета. Они ускользали нахально и ловко, даже не появляясь дома, и неизвестно было, как видалась с Романом жена.

Но к Петровкам Мятлевых все же выследили.

Матвею казалось, что небо, зеленое и звездное, шатрами спускается к земле, чтобы скрыть полтора десятка вооруженных людей вокруг романова дома. Из занавешенных окон неслись прыгающие трели балалайки— Федоска играл русскую. Когда снаружи постучали в ворота, балалайка, будто простонав, смолкла. За высокими заборами рос глухой шум: скрипело крыльцо, хлопали двери. Задыхающийся и притворно веселый голос Евгении спрашивал:

— Кто-с? Хозяев-то дома нету-у. Мы одни, женщины... Ночью чужим не открываем... Завтра приходи...

— Чего там? — гаркнул Матвей, вспомнив пленную свою ночь под воровской шубой. — Зубы не заговаривай... Открывай! Именем советской власти требуем! Ну!

— Нет! — упруго зазвенел евгеньин голос. — Не пущу тебя, обманщик, подлец!.. Не пу-щу-у!

И тут все спуталось, бешено завертелась под ногами земля, разорвались зеленые шторы неба. Стреляли во дворе, отстреливались на дороге, ломились в ворота, выла собака. Дико смеющийся голос Евгении крикнул:

— Сейча-ас пущу-у... Сейча-ас!

В шуме никто не слыхал, как шуршала за заборами солома, как чиркали спичками.

— Ломай ворота! — и несколько дюжих спин, размашисто натужась, ударились-было о крепкие доски — и тут же отбросились назад. Из-за резного гребня ворот, из-за высокого забора вырвалось пламя, защелкало и закружилось, обводя дом живым неприступным кольцом. Розовые облачка закурились вверху, закрывая звезды. Рыже-золотым румянцем заполыхала темнолиловая, как переспелая слива, земля...

Романа Мятлева изловили у маленькой калитки, когда он пытался бежать к реке. Десятеро бежали ему наперерез, а он, белозубый и страшный, отстреливался, не подпуская к себе.

— Федоска, лодку-у!

И вдруг он шатнулся и завыл в дикой тоске:

— О-о-о... чтоб тебя... д-ду-ра... Стерва... Не лезь, не лезь!..

Женщина упала ему под ноги, запутавшись на-бегу в длинном платье, оно серебрилось, изголуба жаркое, словно лебяжьи перья.

— Милый, милы-ый... Да куда ж ты меня кину-ул?.. Ми...

Она вдруг хрипло охнула и упала на спину — Роман высоко поднял ногу, каблуком ударил ее в грудь.

— Не липни ты, холера!.. Не до тебя... у-у!..

Роман не успел выстрелить — и тут его взяли. Федоску сняли с лодки. Он свирепо и безобразно ругался и выбивался из рук, его пришлось связать. Роман только судорожно стонал и царапал голую свою грудь.

— Свяжите меня, что ли, сволочи, а то я еще задушу кого-нибудь... Предала меня жена, мильтонов в моем доме принимала, к самому боку подводила...

Дико метнулся назад и сразмаху наклонился над женщиной:

— Правда ведь? Сама созналась, когда я пуговицу-то нашел?.. А... У, дурак я трижды, зачем еще ездил к тебе, в постелю тебя брал?.. А-ах... дурак... бить меня мало за это!

Женщина тяжело приподнялась и неловко села, качая растрепанной головой и держась за израненную грудь.

— Романушка-а...

Она поползла за ним на коленях, рвала платье о сучья, волосы ее волочились по ночной пыли.

— Любовь моя... ми-и-лы-ый...

Роман, будто чем хвастаясь перед настороженно-молчаливыми людьми, опять замахнулся и сказал с каким-то отчаянным омерзением:

— А-ах-х... В-вот барахло человечье! Предала! Чуть не сожгла меня, потом в ногах запуталась... Разве так настоящие бандитовы жены делают?.. Ежели бы у меня другая женщина была, разве бы я попался? Бывают же эт-такие ни богу свечка, ни чорту кочерга. Давно бы надо было мне, дураку, это понять, шея бы цела была... Эх ты-ы... У-у, тварь!

И с тем же омерзением плюнул в безумно орущее женское лицо. Она вдруг сорвалась с места и побежала к пожарищу, полупадая и отталкиваясь от земли руками, словно обезьяна. Ее схватили. Она вырвалась, большеротая, косматая.

— Пусти-те... сгорю там... сгорю!..

Но, скоро обессилев, сдалась, легкая, словно вся пустая. Ее положили на отдельную подводу, и Матвей напоследок увидал ее запрокинутое лицо, черное от зверино-жестокой, одинокой тоски. Она лежала, раскинув руки, побежденная, разбитая, словно лодка, без весел и парусов попавшая в бурю.

— Евгения! — окликнул ее Матвей. Но она еле дышала, скованная глубоким обмороком, будто обожгла ее эта рыже-румяная зацветшая земля, где бродила она с своим расколотым сердцем. И, обожженная землей, лежала она, безгласная, как ночная пыль.

Покорно, тихонько прошелестев черными ситцами, как сломанным крылом, сама дошла и села на подводу старуха Мятлева. Пожарище светило ей прямо в лицо, сморщенное и недвижное, как древняя икона при свече. Только глаза ее жили, влажные, горячие, помолоделые от кипучей материнской тревоги и любви. Она жадно вглядывалась в лица сыновей, забыв обо всем на свете, веруя в бесконечно ободряющую силу своей любви.

Федоска дернулся связанным телом и бросил злобно сквозь зубы:

— Ха... Чего глаза пялишь, мамахня?.. Лучше бы уж не было вас, бабья, легче бы мы шагали...

Роман кивнул назад на распростертую Евгению и захохотал

— А ежели бы и были бабы, так пусть с ножами, как и мы сами... Вот!

И в словах его была какая-то грубая, обнаженная правда об одиноком человеческом чувстве, о тщетной его борьбе против мира.

Матвей только хотел вскочить на лошадь, чтобы ехать вслед за подводами с семьей Мятлевых — и вдруг под ногой что-то легонько звякнуло. Матвей наклонился и поднял что-то блестящее, островатое, с узорными краями. Посмотрел на свет и увидел пряжку с цветными стеклышками от голубого лебединого сарафана.

Матвей на миг подержал пряжку на ладони и, размахнувшись, бросил в траву.

Иной период.

(Рассказ).

Дм. Еремин.

Глава I.

Городок наш невзрачен и незаметен, — заштатный по прежнему городок: такой-то волости. Лежит он на самом припеке, на пыльном песчаном бугре; среди главной улицы — мощеная дорога, а вокруг нее низкие домики, палисаднички, рыжеватые заборы, укутанные жуглой зеленью. Нет в городе ни фабрик, ни заводов, ни промыслов; живут в нем люди неизвестно чем, тихо и незаметно, скрашивая век свой семейными банями да приятными лицами надоевших гостей. Ходят днем по придорожным канавам куры и козы; мирно звонят по вечерам в колокол на колокольне беленькой церкви, расположенной рядом с потертым зданием милиции; и ночи над городом ползут ленивые, медленные, как черепахи...

Но — было в тот день Спас-Преображенье, храмовой для города праздник; взбудоражен был городок небычайно; стал он свидетелем многих событий — и главным героем их оказался всем известный Гриша, сторож при волостной милиции. До того дня числился Гриша также и при пожарном сарае пожарником, но машина в сарае лет пять как изломана была и кишку мальчишки истыкали гвоздями, чтобы брызгала струя из дырок смешнее и разнообразнее. Поэтому был Гриша чаще при волостной милиции сторожем, выполняя при этом различные поручения начальника. Телом был Гриша тощ и высок, с большими длинными руками, с поднятым кверху носом и с такой на конце веснушинкой, будто галка сидела на носу и оставила на самом кончике след. Носил Гриша и бородку, — только не удавалась ему борода. Лезла она во все стороны, а вместе с тем вокруг рта образовали разные ямки да складочки неудобную для произрастания зыбь, — и была та бородка всегда встрепанной и тощей, едва прикрывающей большую нижнюю губу. На ноги одевал Гриша бессменно австрийские, желтой кожи, буцы, привезенные им еще из германского плена; поверх рыжих прямых штанов солдатские носил обмотки зеленого сукна; гимнастерку подпоясывал широким, с блестящими бляхами, поясом. А по праздникам и в особо веселые дни надевал он на го-

лову черный такой, с загнутыми полями котелок. Отдал за него Гриша все в том же германском плену шинель с флягой — и берег с тех пор пуще глазу, — как знак отличия от ненавистных обывателей.

И вправду: отличался Гриша от местных жителей, и не только котелком своим. Так, в речи употреблял он часто немецкие слова и обороты, многообразные в своем значении, возбуждающие в людях должное уважение. Были же слова для Гриши красивы и круглы, как блестящие шарики: «дас виль, ист грос, айн канц, ду эзель», — и говорил он их смачно, вразумительно. Ходил он среди запыленных заборов по пустым улицам крупнее и размашистее прочих людишек, так что казалось, будто идет сурово-огромный человек, а ноги не ноги — ходули; на ходу махал Гриша длинными руками круче, хлопал в пылище желтыми буцами тверже, только иногда, снимая, тихо поглаживал ладонью круглый свой котелок. Лицо Гриши, усыпанное рыжим волосом, было неприветливо и как бы принюхивалось со своей высоты, всюду находя один лишь неприятный, враждебный и ждущий прямого искоренения запах. Поэтому и прозвище было у Гриши — «Шпион» или «Рыжий кобель», и сам он видел, что даже начальник милиции косит глаза на его чрезмерное усердие. Однако не мог он ничего изменить в себе, считая то усердие долгом чести, и лицо его все так же внюхивалось и внедрялось во все, пугая трусливых жителей своей беспощадной пронзительностью и всюду создавая врагов.

Ведь именно тут и был завязан у Гриши самый тугой узелок, а от того узелка — все дальнейшие приключения. Никак он не мог понять, почему нельзя вскрывать прямо все жителевы промахи, почему нельзя на досуге взять жителя за ухо, как это бывало в первые годы, дабы вывести его же из гнилого болота? Почему нельзя выводить всех прямо и во всем на чистую воду, спорить противу всяких дурманов, неутомимо спорить, всюду стараясь исправить у людей против советской власти недоразумения?.. И поступал всегда Гриша так, что не раз доходило до драки; в кровь изодранный ходил Гриша, нося те царапины, как знаки отличия, хоть строгий начальник милиции не раз говаривал Грише так:

— Облом ты, Григорий, — никак тебя не уймешь. Легче ты орудуй! Мне расхлебывать, а не тебе. И не тот теперь период: иной период, надо полегче, брат. Иногда и в дипломатию гни, извернись словесно...

Только полагал Гриша обратно, и до последнего своего момента по-иному гнул. А народ в городке — осторожный да обидчивый, и стали Гришу бояться. Ходит он по главной улице быстро и зло, сам высокий, согнутый, в обмотках и в котелке, а за ним из окошек следят: не зашел бы «Шпион» чего доброго, не дай бог, к ним! Однако не заходил к ним Гриша, а стоял чаще перед домом родной милиции, у ворот, оглядывая недружелюбно близкую церковь и с кем-либо зацепляясь в беспощадный и яростный спор.

Так же вот и в описанный мною случай.

Поднялась в тот день в городе с самого утра пыль; потекло, будто горячая вода, неистощимое небо; нет в небе ни облачка, и только распла-

сталось, как невиданная птица, солнце: плещет оно на землю раскаленными брызгами, и ложатся те брызги густым, разомлевшим туманом. По главной улице, близ милиции и церковной ограды, приютились в холодке у заборов фотографы; хрипят мороженщики; заблестели в зное парусиновые крыши каруселей, балаганов, палаток, запищали пронзительно мальчишки, захлопали крыльями растерянные петухи, заверещали свистульки, китайские трещотки, говор, шарканье... А над всем этим такая повисла пыль — нечем вздохнуть. Ходит вдоль канав по улице народ, — больше крестьяне из соседской деревни; все в сатинетах, при часах, и бороды от арбузов да водки — мокрые. Окружают серьезных фотографов девки, а те ходят вокруг аппаратов медленно, вдумчиво и все: — щелк! щелк!..

Так, толкаясь плечами и наступая на ноги, топчутся час за часом люди; от черных семячек в толпе гул такой, будто ломится на людей городское стадо по сухому валежнику, и кажется, что именно от того колышется в зное гладкая парусина каруселей, и от того даже пышет пылища на людей: сапоги у всех бурые, бороды бурые, цветные сатинеты и светлые зонтики горожанок пересыпаны пылью. Ею же осыпаны заваленные мятой бумагой канавы, и в канавах совместно с пьяными мирно сидят довольные гусенята, куры с козами, а над ними, под знойным солнцем, обвисают лопухи.

Глядит на все это Гриша от ворот милиции, никого не задевая и не трогая, только недобрым скоком ходят под бородкой желваки. Котелок его запылился, буцы вместе с обмотками стали бурыми, а пояс не отличишь от штанов. Около него на самом крыльце милиции лежит ногами вверх пьяный парень; штаны у парня расстегнуты и торчит в их раскрытой прорехе положенная кем-то насмех мокрая арбузная корка... Раскинул парень большие руки, чмокает слипшимися губами, и тянется у него изо рта тонкая нитка слюны.

Но Гриша как бы не видит парня, весь наливаясь кипучей злобой и жестко прихватывая в зубы толстую нижнюю губу. С ним рядом стоит всем известный Кустиков, тощий милиционеришка, немного навеселе, и смеется над пьяным с арбузной коркой, не считая нужным забирать всех пьяных в тот день в отделение милиции. Был Кустиков закадычным Гришиным приятелем. Вместе с Гришей устраивал он разные каверзы обывателям, не раз получая за то от начальника выговоры и всякие наказания. Недаром называли их в городе одного вслед за другим, отдавая, правда, первенство в руководстве Грише и всю злость свою поэтому обрушивая на него.

И вот стоял теперь Гриша рядом с Кустиковым и зло поглядывал на людей. Было ему обидно и горько, что без смысла и без цели ходят в душной пылище дураки, глазеют на неодетую у балагана женщину, на фальшивые морды карусельных лошадей, на растаявшие пряники и всякие погремушки, находя в том непонятное удовольствие. Взял бы он палатки и балаганы, сорвал бы с них залатанную парусину и вытер ею,

как тряпкой, весь этот сор со всей главной улицы... Но нельзя ему сделать так и напрасно накапливается в нем обида, не находящая себе выхода и обрекающая его на пустое безмолвие.

И вдруг послышалось от церкви духовное пенье, звякнули железные ворота, раскрытые из ограды настежь, и вышли из ворот толпой христиане, как оказалось, в соседскую деревню, икону Маденской божьей матери встречать... Шел впереди поп, у попа нос клюквой, а за ним громогласные бабы, деревенские мужики в полукафтаньях, певчие, народ. Мотались над ними хоругви, крутился из кадила дымок, — и пошли они прямо мимо милиции всей толпой по дороге. Пыль от них сразу, будто пар в бане, так и взвилась клубами, — и стало Грише совсем невтерпеж. Дернул он длинными руками, будто схватил в воздухе невидимую веревку, размялся — и качнулась его голова на высоких плечах. Раскрыл он рот и сразу понял с неистовой радостью, что потекла изнемогавшая злоба в должное и боевое русло: «Ну, не миновать драки!». И сразу сделалось ему весело.

— Что?! — крикнул он громко, обращаясь к попу и оглядываясь на милицию, нет ли где сердитого начальника, — что, седая крыса, виль ду ист грос, пылишь на людей?!.

К голосу Гриши в городе привыкли: не раз выслушивали Гришину брань. Но теперь от неожиданности люди на дороге нерешительно остановились, стали, улыбаясь, переглядываться. А тут еще в сутолоке лошадь, наткнувшись на крестный ход, испугалась хоругвей — и вместе с арбузами съехала в канаву. Заорал хозяин, полез из канавы на четверенках, опасаясь дальнейшего падения оставшейся на телеге клади, заматерился на крестный ход. А пьяный Кустиков вышел медленно на дорогу, вставил руку в бок и сказал сердитым голосом:

— Вы, аллилуйя с маслом, к чорту! Толпой разрешенья нет ходить, а тут лошадей пугаете. Разойти-ись!..

Дрогнули сразу хоругви, зазвенели на них друг о друга медные кисти и стали ровно покачиваться над непокрытыми головами людей. Отступили люди, но закричали вдруг от хоругвей пронзительными, толстыми и густыми голосами; выперли потной кучкой вперед, замахали на Кустикова руками, и слышно, как выкрикнул пронзительным голоском бойкий такой и серьезный мужичок:

— А похоронным маршам да в Первое мая есть на дороге место? Так вот и нам...

Сразу вдруг, после этих слов, под хоругвями крик смолк, затаились все, переглядываясь, — мужики и бабы, певчие и просто любопытные, — и смотрят с жадностью на Кустикова: что-де ответит вышедшая на дорогу балда? Сгрудились все у хоругвей горячей, замолкшей кучкой. А Кустиков покачался среди дороги, поразмыслил, опустив голову и медленно поводя перед глазами пальцами: — Действительно, есть похоронным маршам и в Первое мая на дороге должное место. Правильно отвечено!.. И пошел-было с дороги, ничего не найдя сказать. Но поглядел он

во-время на Гришу, увидел злое Гришино лицо, остановился сразу, обхватил дрожащей рукою кобур нагана и крикнул в толпу торопливо и зло:

— Вы та-ак? Ну, поди, поди, жулики! Вернетесь ужо, увидите!..

Но уже взвизгнул ему вслед тещиным языком вихрастый мальчишка; заскрипела за канавой отъезжающая телега. А под хоругвями, среди облегченного смеха, затаились повеселевшие люди, закружилась пыль, скрывая от глаза нижние части человеческих ног. Тронулся снова мимо милиции крестный ход, и, как бы в насмешку, двинулись хоругви мимо Гриши прямехонько, не склоняясь... И вспыхнул тут Гриша, словно плеснули слова мужичка нефтью на тускло горящие поленья. Выпустил Гриша в воздухе невидимую веревку и длинными руками ударил по воздуху, точно разрубая березовую жердь. Раскрыл он рот, дабы ответить тощему мужичку на нелепые и озлобляющие слова, и перехватило ему горло злой судорогой.

— Ах, так! — неистово вскрикнул он, размахивая руками. Тонко у него это вышло, еле слышно; и откачнулся он сразу назад, сам большой и красный, с трясущейся от злобы головой. — Ах, так! Ну, подождите, мать вашу, ду бист, картофельники! Вам попы богом фигу кажут, а вы так!.. Ну, ладно! Подождите до вечера, свекла мороженая! Да и сейчас проваливай, пока цел! Тащи попов своих, пока не вдарил!..

И заплевался Гриша жирными шлепками в закрытые пылью ноги, замахал руками уже совсем неразборчиво и часто. Но пыль между тем начала редеть, открывая гладкую дорогу; хоругви мотались уже далеко, рдея макушками на солнце, и люди под ними шли мирно; только кто-нибудь оглядывался еще на милицию и глядел на злобно грозящего Кустикова или на круглый Гришин котелок.

А над городом все так же лилось голубоватой, неистощимой водой разогретое небо; вздыхали в пыльных канавах сонные поросята и козы; висело распластанное в небе солнце, а у белых каруселей уже начиналось барабанное биенье, визгливая ярость скрипок и легкое поскрипывание железных тросов. Повсюду все неистовей верещали неисчислимые свистульки; начали качаться от нетерпеливых проб разукрашенные качели, и гулко, густо заботал барабан вслед идущим под хоругвями людям. И никто из них не знал, как странно окончится происшедшая у милиции ссора. Осталось у одних на душе только легкое освежение, переходящее постепенно в тайное беспокойство; у других — привычное ожидание каверзы. Только у Гриши — тяжелое чувство злобы и осмеянной неудачи. Совсем опустилось в нем боевое состояние, осталась сумная как бы каша. Повернулся он к злосчастному Кустикову, дабы сказать ему что-либо злое. Но тот уже ушел по крыльцу в здание волостной милиции, и видно, что обдумывает он что-то ехидное для христиан и что тяжело ему за свое посрамление, а сказать на дороге ничего не нашел...

— Ну, вот! — подумал с горечью Гриша и жестко пощипал себя за рыжий клок бороды. — Чего это говорит начальник, что легче, — иной

период. В корне надо рвать, на выжим! Ий-эх, боязливы! С нашими, ист ду гундель, не напоешь!

И пошел по улице к своему семейному очагу.

Глава II.

Жил он у дебелой вдовы Игнатьихи, в нешироком и тихом переулке: от большой улицы саженях в пяти стоял ее с двориком дом — желтоватый, низкий. Среди дворика возвышался врытый в землю стол, а над ним молодая розовеющая рябина: пила там хозяйка вечерами чай. По двору испокон веков была расставлена разная утварь — ящики, дров поленница, от телеги редкостный, черным прутом плетеный кузов; выходили во двор два домовых крыльца — один для хозяйки с племянником, другой для Карлютина, столового председателя, как звали его горожане, зава кооперацией. И лишь в самом углу двора, при ветле, пригибалась Гришина хибарка, бывшая раньше вдовьиной баней.

И вот шел теперь Гриша по переулку домой невеселый и сумный. Было в переулке всегда тихо и пустынно, лежали мирно шелудивые собаки, рылись у заборов куры в песок. А от каруселей в тот день: тум-бу! тум-бу! — ботает гулко барабан, будто топчется каблуками на ящике какой-либо розовощекий весельчак; у заборов ходит оборванный шарманщик с зеленым ящиком: дернет иногда попугая под задом, пискнет попугай и выщипнет из ящика пакетик. А везде висит такая густая да горячая пыль, что стоит в ней каждое дерево как бы корнями кверху, а с корней его сыплется вниз земля.

Среди Игнатьихина двора, на тележном редкостном кузове, сидела Гришина дочь Шурка и так учила воображаемого ученика:

— Нс-с? Какое же тебе о-о? Н-н, понимаешь? Н-н... вот! Я написала: ты, т-т. Ну? Да не так же! И что это за дрянный мальчишка, прости господи, сволочи! Ну, слушай: т-ты. Да не ти, а ты. Ну, вот, еще немножечко. Теперь ж-же. Ну?..

Поводила Шурка на доске своим пальцем, как строгая учительница, повела с досадой плечами и ударила левой рукой, точно по шее, по желтой верхушке невысокому круглому чурбашку.

А Гриша подошел уже к самому двору, все время думая о насмешливых и упрямых словах мужичка, о строгом и тяжелом лице непозволявшего круто гнуть начальника. И такое тут взяло его зло на всех городских людишек, как и всегда после ссоры, что даже в кончики ушей ударила теплая и острая волна досады. Напустился он весь, как был в котелке и с подобранным где-то прутом, на рваного шарманщика, испугал собой старика. Заковылял старик из переулка, задыхаясь и боязливо оглядываясь: не догнал бы, мол, рыжий в котелке чорт! Но Гриша швырнул ему вслед переломанную на куски хворостину и разозленно, твердо вошел во двор.

— Занукала! — тонко сказал он Шурке, останавливаясь у кузова.— Марш на улицу! А где мать? Где, я тебя спрашиваю?

Девочка насупилась, исподлобья и пристально глядя на отцовы рыжеватые руки с волосатыми пальцами, не раз поровшие ее и дравшие за косу; но, однако, внятно ответила:

— К хозяйке, к Прасковье Наумовне пошла.

— Зачем?.. Ага! Опять на меня, видно, жаловаться? Так я же ей, айн канц ист вензель, покажу! Я ей бока высветлю, будьте покойнички-с!— вскрикнул неистово Гриша. — Марш за матерью!..

Шурка спрыгнула с кузова, продвигаясь от отца боком вдоль телеги, и, миновав оглобли, побежала до крыльца бегом.

— Ах, жаловаться! — продолжал горячиться Гриша, оставшись один. И все сильнее и нестерпимее накатывало на него зло: обдумал он в те дни одно дело и решил он теперь, войдя, это дело выяснить нынче же, раз и навсегда. — Ах, жа-аловаться! — закричал он еще упрямей и пронзительней, начиная махать руками. — Сделайте вашу божескую милость, Александра Никифоровна, жалуйтесь! Какая жалобщица нашлась. Хоть двум хозяйкам валяйте! Теперь, коли так, айн грос, решено— дело кончено! У меня долго, Александра Никифоровна, не попоешь! Будь довольна, что хоть до сего-то дня женой моей считалась, вот-с что. А теперь канц, довольно. Мы в себе толк знаем...

И тут как раз выбегла от хозяйки, растрепанная даже в праздник, худая Санька, держа на руках рыжеватого сына Володьку. Лицо ее от нужды пугливо, сама босая и пестрая кофта на ней измазана всяческой грязью.

— Что ты, чего? — испуганно вскричала она мужу, стараясь не споткнуться на ходу на какой-нибудь камень или чурбак.

— А то! — сказал Гриша легче, приглядываясь к жене и думая о решенном деле. — А то: мы в себе толк знаем, я говорю: не напрасно в германском плену были, кугель ду бист. От этого самого дню, раз так, вались под мостик, дас бист ду эзель, мадам!..

— Под мостик? Да ты, знать, для празднику выпил? Ты, пьяный, знать? Рыжий ты, право, чорт! Надрызгался, госпо-оди!..

— Как-с? — строго спросил Гриша, сняв котелок и нажав на жену легонько боком. — Как-с? Чтобы никаких, Санька, намеков, ни-ни! Не такой-с, чтобы пить, хошь и жаль. А ваша подруга вам нашипела, а я, между прочим, плюю-с! Вот как, да-с!..

Плюнул Гриша остервенело вбок, тряся бороденкой на твердом, с рыжеватинкой, лице; пригладил ладонями котелок, делая пыльный верх его полосатым и гладким, полезли кверху узкие рукава его гимнастерки, открывая обросшие волосом руки почти до самого локтя.

— Гриша! — с тоской закричала Санька, предчувствуя неминуемую беду. — Да ты что, опять белены, знать, объелся? Хоть бы взаправду, а то ведь... Вот наказанье, прости господи, накачалось на мою шею!..

— Ну, нет-с! — твердо врезался Гриша, решаясь на крайний шаг.— А вашу подругу не беспокойте больше: канц, как сказал я давеча и как бы отрезал, да! Люблю я в отношениях конфорт, Александра Никифоровна,

конфорт хотя бы немецкой жизни, побывавши в плену и служа в волостной милиции. А у вас этого конфорту нет, и Володька, вот видите, воняет. Да и, не вам будь сказано, устарели уж вы для совместной со мной жизни, мадам. Вы женщина старая, а я мужчина в соку-с!..

И точно, не свежа, рябовата стоит перед ним встрепанная Санька, и все лицо у ней бурого цвета, словно в холодной и перемятой золе; живот у Саньки от работы вылез из-под юбки кверху, волосы тощие, в одну жидковатую косичку, — а на слово проста: без мягкого и влекущего голоса. Стоит она перед Гришей и хлопает с недоумением глазами.

— Н-но! — продолжает Гриша, держа котелок высоко против Санькиных глаз и посадив его, как дитя, на левую свою ладонь. — Н-но, не забудьте, ист грос ду фиш, что счастье не только в безмятежности, но и в состоянии души! Уж этих тонкостев не меня вам учить, Александра Никифоровна, без вас все очень хорошо известно и знакомо. И вот, Санька, с этого самого дня ухожу я...

Привыкла Санька к мужниным выкрутасам. Но теперь, качая непокойного младенца, увидала она, что говорит ей все это Гришка всерьез; что видно недаром шептала нынче хозяйка о Машке Шарашкиной из Бухаринской улицы, и что закручивал в эти дни Гришка свои обмотки больше для тайных, любезных штук... Стало Саньке больно невтерпеж от такой обиды: стирала она стирала на людей чужое поганое белье, работала для семьи своей за насквозь перетертые копейки, а теперь вот уходит муж неизвестно куда и навечно! Всплеснула она свободной от младенца рукой, вся побелев, и полезла на Гришу с криком, плача и размахиваясь кулаком:

— Да ты, рыжая морда, иди выспись, что ли! Опять ты, знать, с пожарниками своими да с Кустиковым в пивной был. Уйму на тебя, рыжий чорт, нет!.

— Деревенская ты женщина, как есть! — ответил ей Гриша, занятый своими мыслями, и медленно отстранил Саньку рукой. — Попросту дура. На тебя даже сердиться нельзя по твоей глупости всерьез... Вот что. А теперь, — сказал он то, чего вовсе не было, но было давнишней его мечтой, — а теперь я из пожарников ухожу, в милиции полностью служить буду, милиционером. Начальник нынче сказал, да-с, так-то... А чего ты, Шурка, мычишься из стороны в сторону, будто натерли тебя зудой, а? И что ты на месте не посидишь, тебя я спрашиваю?.. Дай-ка, поди, штаны мне новые — переоденусь, да надо сходить еще в одно тут место... гм! Все коленки, провалиться им пропадом, протер. Да и заду тоже. Срам для семейного, к сравнению сказать, человека, срам!..

Поглядел Гриша пристально на Саньку — и отвернулся: смотрела она на него в упор, поджав синеватые, вздрагивающие губы, — и стало Грише от глаз ее не по себе. Но было поздно отступать. Похмурил он брови, крякнул и подпихнул сердито Шурку, нерешительно глядящую на мать, к дому. Подбежала Шурка, раскидывая тощие косички по плечам; замелькали ее босые желтые ноги, потопали тихонько по стареньким

половицам бани. Вынесла она Грише новые в полоску штаны и хотела отдать их ему мимо матери. Но вскрикнула Санька пронзительным, застывающим в воздухе, как сухая соломинка, голосом, прыгнула к перепуганной Шурке и выхватила из рук ее левую половину Гришиных штанов.

— Не дам я, не согласна! — вскрикнула тонко Санька, прижимая штаны к Володьке. — На уход не согласна! Нельзя от детей итти! В милицию я твою пойду, верзило ты огурешное, не дам...

Льется на Саньку сверху солнце, пышет отовсюду жар. Верещат беспрерывно от ярмарки трещотки, скрипят легонько тележные оси, звенят безыскусственные литавры и ботает у каруселей барабан. А у самых ворот опять закрутил шарманщик свой старенький инструмент.

— Не дам я, не дам, дьявол!..

Вспыхнул тут Гриша, видя, как мнет Санька штаны его под несвежим Володькой, и закричал ей, наступая:

— Ну, ну! Отдавай штаны, отдавай! Так нет! Ах, нет, не даете чужие штаны? Так прочь же руки, темная сила, прочь руки от штанов!..

Обхватил он жену, перегибая назад; зацепил пальцами штаны за одну штанину, надеясь при спешке вытянуть и надеть потом где-нибудь за углом. Но тянет их Санька разозленно к себе, не выпуская из жилистых рук и вместе с тем передавая напуганной Шурке орущего Володьку. Растрепались еще больше ее жидкие волосы, повисли, вздрагивая от движения, вдоль лица, и задышала она на Гришины руки часто и зло.

— Ах, так! — неистово вскрикнул Гриша. — Та-ак? Вы это, что же, против милиции и пожарной дружины идете? Чужие штаны зажилить хотите? Да я теперь у вас обыск сделать могу и за присвоение как бы казенных штанов на Мурманские архипелаги присудить могу!! Ах, не-ет? По-вашему не-ет?! Вы пальцы царапать? Так хорошо же. Кто здесь, граждане, есть вокруг? Граждане, держите!..

И началась у них свалка.

Затрещали среди двора полосатые лоскуты Гришиных брюк, разрываемых на части; заплакала Шурка, качая младенца и с любопытством вглядываясь в перепутанное движение изученных родительских рук; замелькало между растрепанными космами обозленное лицо Саньки и Гришина рыжая борода... А из призаборного ящика, между тем, вылезла не успевшая снестись курица, встряхнула рябыми крыльями и закудахтала, приседая. За двором завизжал на возу поросенок, словно нарочно подгадав свой визг к надлежащему случаю, а от ярмарки, сквозь ровное и глуховатое рокотанье слышно, как густо и деловито ботает карусельный барабан:

— Тум-бу! тум-бу!..

Из квартиры, встревоженная кудахтаньем и остервенелой возней, выбежала хозяйка — и сразу встала на крыльце. На ней ради праздника, розовое кружевное платье с волнистыми рукавами,— но руки из рукавов лезут жирные и короткие, как колбасы. Увидела хозяйка среди двора растревоженную курицу и пустой призаборный ящик, охнула так, будто

упало ей что-то в горло холодное и скользкое, и закричала на Гришу, ударяя себя ладонями по толстым бокам:

— Григорий Иваныч, батюшка! Да что ты, право, затеял тут, а? Ты у меня курицу, Григорий Иваныч, спугиваешь каждый раз!

Голос у хозяйки — бас, и сама она полная, высокая, в розовом чепчике, а на лице ее — черные усы и борода. Одна только и была в городе такая любопытная женщина: еженедельно по субботам стригла она ножницами усы свои и бороду, затаиваясь в спальне с зеркалом, а иногда и два раза в неделю, ввиду обильной растительности. Портили волосы ее вдовий облик, ненавидела она их безмерно, стараясь свести всеми мерами, даже способами римских блудниц; но все было напрасно и так же все лезли волосы из розовой вдовьиной кожи. Встала теперь хозяйка перед Гришей, изгибаясь и хлопая себя руками по бедрам, и закричала опять о шуме и курице. Отпрыгнул Гриша от встрепанной Саньки, вытирая оцарапанное лицо; поднял упавший при драке котелок и бросил куски от правой штанины, которую тянул, на землю.

— Хорошо-с! — обернулся он к хозяйке помятым лицом, снимая с рукавов приставшие ниточки. — Хорошо-с. Можете впредь перешептываться, Прасковья Наумовна, с вашей Санькой. А мне на обеих на вас начихать-с теперь, вот как!

— Ах, вот! — изогнулась хозяйка, посмотрев на курицу, чтобы не ушла со двора. — Прошу, Григорий Иваныч, оставь ты эти данные экивоки. Я ведь все слышала, и мне все равно, хоть ты как бы и власть теперь, Григорий Иваныч, в милиции.

Обозлился Гриша, теперь уже на хозяйку. Пошел он на нее, прищурившись, и стало лицо его острым и принюхивающимся, каким больше всего боялись видеть его обыватели.

— Что-с? — спросил он хозяйку уличающим голосом. — Вы подслушивать, так? Но, Прасковья Наумовна, вы это по существу вопроса о чем же-с, а?..

— Да я, видите ли, Григорий Иваныч, не то, чтобы...

— Канц, дорогая Прасковья Наумовна, без звука! Чтобы не было свисту из моего нового милицейского свистка в случае вашего бунта контрреволюции. А ты, Санька, дас грос, прощай. Я с Машкой Шарашкиной жить хочу, в единении характеров и одном вздохе... Счастье мое не расстраивай, а то я на тебя управу найду: не прежнее теперь время и не военного коммунизму периуд, но иной! Об этом у начальника милиции можете спросить-с. И это вы запомните, зарубите себе на носу, а без такового запишите себе в блок-нот и знайте: пришел я вчера на драку. — «В милицию, говорю, под замок за буйство!» — И сидит теперь Петька Глинкин, хоть я и в пожарной тогда как бы команде был. Так вот и ты — помни это и знай. У нас в «девятке» обе насидитесь, попойте только, попойте еще, Александра Никифоровна, со своей подружечкой! Допоетесь!..

Но Санька уже сникла, устало поправляя космы, а усатая хозяйка во время Гришиной речи долго нацеливалась на курицу свою, и вот теперь,

после Гришиных слов, не захотела, видно, упустить ее со двора. Растопырила хозяйка руки и ринулась от крыльца, — то ли от страха, то ли за курицей, — полным бегом. А за крыльцом был поворот на улицу и шел оттуда во двор «столовый председатель» Карлюнин. Пришлись хозяйкины руки ему как раз под живот, и он тяжко упал близ самого крыльца... Взметнулся сзади его пиджак, поднимая пыль, уткнулись в землю желтые башмаки, разворачивая высохший за лето сор. Карлюнин встал, кряхтя и отряхиваясь, — и стал слышен сквозь гуд и верещанье ярмарки его недовольный голос:

— Собакам бы стыдно было бегать близ вашего крыльца, хозяйка, а вы еще и толкаете прямо на него. Поделикатнее ходить вам надо, не пихать в мужское место и за таковое не цепляться. А вы, гражданин пожарный... И что это за орево такое? За воротами слышно! Всегда вы всем мешаете заниматься каждому своим делом и пугаете граждан. Здесь двор-с, общее помещение, а вовсе не для вас одних, чтобы вам по праздникам кричать очень часто и волноваться, как корова в жару.

Выпрямился председатель, багровея лицом. А хозяйка от легкого вдовьиного волнения стала опять ловить курицу, широко растопырив руки.

— Кыш! кыш! — кричит хозяйка курице и ходит за ней, загоняя в сарай. — Кыш, рябушка, кыш!

Председатель, между тем, стоит у крыльца перед Гришей недовольный и красный, обхлопывая пыль с колен. Летит от него пыль плотным облачком прямо на Гришу, оседает на потный лоб и на жидкую рыжую бородку, и Гриша перед ним — длинный, тощий, а лицо его из рыжего с желтой заплатинкой на носу от злобы и пыли стало буреть... Не любил Гриша важного председателя, всегда идущего по двору как генерал; закружилась в нем с новой силой утренняя злость, взмахнул он рукой, низко изгибаясь перед председателем, и сказал ему хриповато, с тихим остервенением:

— Вы это что-с? Вы это, собственно, о ком же-с? Не ожидал, хорошо-с!.. Да знаете ли вы, ист виль, что я, айн гундерт, теперь облечен-с?..

— Я сам, — не поняв, сердито перебил председатель. — Я сам вот уже два раза был обличен, молодой человек, по судам таскался. Однако снова председателем избран, не новость. А ваше пожарное дело, между прочим, маленькое: блям-блям-блям! Фью-ю-ю! — и готово, но не кричать диким бараном или наподобие рыжего кобеля-с!..

Как сказал это Карлюнин — даже закачался Гриша. Сник он сразу, услышав свое прозвище, обмяк, бледнея и опускаясь лицом. Только руки бестолково закружились на краю его котелка, словно застигнутые пожаром на островке бескрылые насекомые. Пошел он прямо на председателя, еле передвигая ноги и вглядываясь в него с невообразимой злобой.

— Ах, та-ак! — протянул он глухо, качаясь, как пьяный. — Хорошо-с, так и запишем, айн виль! Блям-блям, чирк — и к стенке-с! Мы не дремлем под натиском врагов. Хорошо, можете итти-с, спасибо...

— Вот, вот. И вообще потише, гражданин пожарный. Орево устраивать у чужих квартир нечего, вот что-с.

Повернулся председатель от Гриши, посапывая на ходу, и грузно пошел к своему крыльцу, вытирая платком небольшую лысину. Сквозь визжание ярмарочных свистулек и ботанье барабана, разрывающего зной неистовым гуденьем, слышны шаги Карлюнина ясно и отчетливо: стоят все во дворе не двигаясь, а на Гришу больно смотреть. Молчит он, покачиваясь и беря себя рассеянно за лоб, будто кружится в нем что-то, чего ухватить ему никак невозможно. Уперся он глазами в председателево крыльцо, словно ожидая оттуда злого окрика, и шепчет про себя, сам того не замечая: «Хорошо-с, мы вас раскроем, маски сорвем и разоблачим-с!». И, как сквозь толстую, мягкую стену, слышен ему плачущий Санькин голос, повторяющий глупые слова:

— Ну, вот, вот, дождался! Дождался со своими разговорами! Ух ты, немилый мой!..

Повернулся, как во сне, Гриша лицом к Саньке, поглядел на нее мутным и злобным взглядом, медленно одевая на голову измятый в руках котелок.

— А ты, Санька, — сказал он ей тихо. — А ты, раз так, вот: раз ты так — прощай и не имей меня больше на веки вечные в виду. Ухожу я, и не нужна ты мне больше такая...

Повернулся он, — и откачнулась от него Санька, будто поползла на нее от Гриши холодная и злая змея. Протянула она вперед руки, провожая взглядом спину уходящего мужа, и уронили ее бледные, морщинистые губы уходящему мужу вслед:

— Ну, вот. К своей Машке Шарашкиной пошел!..

Глава III.

И верно, была такая у Гриши на примете; трудно сказать, почему была. Играла в нем, правда, некая жилка, от которой даже в первом номере «Красного пожарника» за прошлый год были помещены Гришины стишки с таким, известным всему городу, окончанием:

Революция идет
И везде несется рев:
Бей проклятых буржуев!..

От жилки этой, а больше от ненавистного «иного периода», заставлявшего Гришу теряться и не уяснять смысла многих вещей, а в первую голову самого себя, — и была на примете Машка. К ней он нередко за лето хаживал, приглашая в кино или в сад, или в загородном поле собирая в букеты цветы. О нем Машке люди не раз говаривали, кивая головами и любопытствуя об их дальнейшей судьбе, приняв во внимание Саньку, ее ногтистые пальцы и Гришин гордый в котелке вид. Уже рисовались им на щеках его обширные красные царапины, разодранный вкривь

и вкось нос или в кровь исцарапанные руки. Но Гриша не глядел на грязные экивоки соседей, все ближе приникая к Машке.

Была она Настьки-торговки дочь, крикливой и хитрой бабы, неоднократно штрафуемой Кустиковым за тайный шинок. Но в Машке не было материниной коммерческой сметки: была она тиха и простодушна, и на свою «мурлеточку», как Гриша нежно обозначал лицо, приветлива. Больше за это и приник он к ней, да и пышна была — соку хоть жми!.. Шел теперь к ней Гриша, забывая недавнее озлобление и в силу именно его все нежнее любуясь Машкиным, в памяти, обликом. Вставала она перед ним толстенькая и румяная, с канапушками на щеках и носу, одетая в легкое, облегающее грудь, платье. Ухмылялся Гриша, совсем забывая о тяжкой ссоре, вернее — отодвигая ее пока в сторону, и шел все быстрее вперед, стараясь не внедряться в толпу и в густую ярмарочную пыль.

А Машка, между тем, одетая в светлое платье, сидела дома одна, поджидала к чаю мать, грызя подсолнухи и прислушиваясь, как возится мать в палатке с пришедшими покупателями. Разморило полднем розовую Машку, глядела она лениво в окно и с улыбкою говорила сама с собой:

— Господи! как нынче жарко, будто наплевали под мышками. И как это так, что из кожи ручейки такие текут, а то и еще хуже... Стыды, прямо! А вчера Григорию Иванычу галка на шляпу сделала. Господи, вот уморушка!.. Я, говорит, выщиплю ее поганые перья и развею по ветру! И где, говорит, охрана горожан, если галки походя на шляпу делают? Перрестррелять!.. Славный мужчина! Слово у него такое из плену — завсегда ни хрена не поймешь! И усики очень такие... Завлекательный даже, отчаянный мужчина.

Призадумалась Машка, с нежной улыбкою глядя в окно; чмокнула пухлыми губами, выплюнув подсолнечную шелуху на бурый пол, и крикнула матери в приоткрытую дверь:

— Маменька, самовар уж давно скипел. Идите, маменька, чай пить!

Настькин разговор за дверьми стих, звякнула она какими-то гирями или, быть может, железным для халвы ножом. Послышались шаги ее тяжелые и быстрые, скрипнула она из палатки дверью и закричала по обычаю на дочь:

— Что ты, лахудра, орешь-то? Я, что же, не слышу по-твоему, да? У меня уши-то шерстью заросли? Там покупатели разные приходят без перерыву, дураки-картофельники колбасу плохую берут, а ты «чай» мне да «маменька»!? Ма-аменька! Дура полоумная! Готовь чай, дура большая, готовь!..

Закричала так Настька, передразнивая дочь и приседая перед ней на корточки, — и как раз в то время вошел к ним прибодрившийся Гриша. Увидела его Настька, обернувшись к дочери спиной, отвернулась быстрее вбок и, будто не видя, продолжает свои слова:

— Приготовь тут, дочка, чайку. Булочку нарежь, маслица. А-ах! Вот, кстати, и гость пожаловал! Милости прошу, входите, Григорий Иваныч, входите: как раз к чаю! Маша, приветь гостя, налей чайку да угости там чем для праздника. А уж меня, старуху, извините, я пойду: столько нынче делов, что просто дыхнуть негде!!.

Замахала Настька весело руками, посуетившись у стола; засеменила поспешно к дверям, улыбаясь Грише, — и ушла.

— Ну, что же, дас грос! — ответил ей Гриша вслед, тихо кланяясь. — Пожалуйста. Я так и шел, мамаша, хорошо-с!..

Принял он с головы почищенный котелок и положил его аккуратненько у прохода в лавку. Положил он его любовно и мягко, и можно было сразу заметить, что после утренней ссоры, после ярмарочной толчеи и пыли было Грише тем более приятно делать все медленней и плавнее: раскланивался он и разглаживал рыжие волосы на голове так, что вся его тощая фигура сгибалась при этом ловко, неспешно и с неизвестно откуда пришедшей грацией. Повернулся он к Машке, стараясь не брякнуть буцой, как это часто случалось по бурому полу, и не задеть за какой-нибудь хилый предмет, и пошел к ней медленно, слегка поскрипывая старыми половицами.

— На вас уже, дас грос, светлое платье, Марья Агафоновна! — сказал он ей, улыбаясь, и мягко взял ее руку в свои. — И все на вас сегодня, так сказать, очень просто: альс груздель грос! Вы, Машенька, не ждали меня? Что-с?

— Да нет! Не то! — с краской удовольствия ответила Машка, усаживаясь у стола к самовару. — Но я думала нынче и даже еще говорила с маменькой и наедине, что как жарко и под мышками наплевали. А потом вы галке грозились и шляпочку свою вытерли лопухом. И все по-иностранному — ду грос, Григорий Иваныч!..

Сказала так Машка и сконфуженно зазвенела посудой. А Грише стало весело после этих слов. Отбросил он в сторону еще не угасшие мысли о Саньке, о злостных словах председателя и о сердитом начальнике волостной милиции, напоминающем ему как бы грозный зуб в пасти «иного периода». Ведь именно за это успокоение и любил Гриша Машку больше всего! Стало ему теперь окончательно ясно, что льнет к нему девка, не жалея сил, что будет ему с ней всяческая удача и можно уже ее розовые щечки отныне считать своими. Сел он к ней ближе, стараясь придвинуться вплотную, и легко ему делать так, потому что нынче утром вырешено с Санькой давно обдуманное дело, разорвал он с ней штаны свои, а вместе с ними как бы и всю семейную жизнь. Подсел он к Машке, решив действовать твердо и напрямик; а Машка, алея от Гришиной близости, открыла кран самовара и льет от волнения весь кипяток на поднос: колотится ее сердце словно в самых руках, выбивает из рук стаканы, а в комнате страшно тихо, тепло, — и жарко бегают по талии Гришины пальцы... Завернула Машка с усилием кран и, глядя вниз, слабо сказала Грише:

— Попейте чайку... я лью, Григорий Иваныч!..

— Ах, видите ли, айн ист мадам ду эзель, Марья Агафоновна! — глуховатым от волнения голосом ответил ей Гриша. — Что же, чайку я не прочь почайпить... А как вы — скучаете?

— Скучаю. Маменька больше все яблоками торгует, картофельники и другие за плохой колбасой пришли, а я по дому одна все...

— А если, Машенька, я?..

— Ну, вы! Я бы вам, — да нет! Господи, что я чуть было не ляпнула вслух, ой нет! — совсем сконфузившись, замахала Машка руками. — Уж лучше в шкафу вон водочка есть, Григорий Иваныч, маменька позволила с праздником. Принести уж, что ли?

— Гм! Я, видите ли, айн ист курц — нельзя мне нынче по службе. Однако, гм!.. Я с удовольствием вашего выпью.

— Оно хоть, правда, вроде как с глиной, Григорий Иваныч. Маменька для гостей и покупателей настаивает на коре. Но хорошая, говорят, — попробуйте.

Нахмурился Гриша, видя Настькины тайные делишки. Не любил он эту хитрую бабу, всегда лебезящую языком и с едкой резвостью прилипающую к людям. Была она единственным пятном, затеняющим иногда для Гриши привлекательный Машкин облик. И теперь. — «Надо бы, — мельком подумал Гриша, — обыск с Кустиковым сделать, хоть она и Машкина мать. Ишь ты, сукины дети, чего удумывают!..» А Машка, как увидела по Гришиному лицу невольную свою ошибку, — опустились у ней руки на колени, вспыхнула она до слез и зашептала растерянно Грише, беря его за рукав и с испугом оглядываясь на дверь:

— Господи! Не скажите, Григорий Иваныч, в милиции! Вы, маменька говорит, и закрыть можете, и забрать все... Проговорилась я, типун мне на губу, господи! А то ведь нас заберут... заберут нас, и меня за это мать, миленький мой Григорий Иваныч, за косу!..

Больно стало видеть Грише, как затомилась такая сочная девка, перепугалась вся, и трясутся ее полненькие руки. И приятно стало вместе с тем: убеждало это в сотый раз, что неспроста его боятся обыватели, и что есть в нем грозная сила! Обнял он Машку за теплые плечики, решив, что можно простить ради праздника, да, кстати, думает — «не упустить бы благоприятный момент»... Прижал он ее к себе туго, вплотную, решаясь действовать с возможной быстротой, — и стало у него нарастающее волнение в уши волной бить, а руки сами собою скользить от плеч ниже.

— Платье на вас... — ответил он Машке глухо, — зубки и ножки хорошие! Уж я, коли хотите, — куда ни шло! уж я вам из милиции отобранный, между прочим, хороший аппаратик принесу. Гоните сами, коли так, ист грос, на всякий случай!

Прижал он ее к своему лицу, не имея больше сил сдерживаться, зашептал быстро на ухо жаркие любовные слова и стал руками водить по теплым, полным плечам.

— Кружусь я! Кружусь, Марья Агафоновна, ист груздель! — зашептал он. — Ах, где ваше сердце, где? Вот оно, ваше сердце, да!

— Боже мой... что вы!?

— Нет-с, вот оно, ваше сердце! Дайте мне его, дайте, Марья Агафоновна, прошу! Сольемся в унисон! Забвенья, Марья Агафоновна, забвенья! Любите меня, л-любите!..

Пришел Гриша в неистовство, и уже загремели на столе стаканы, почти опрокидываясь... Но стал вдруг слышен из лавочки Настькин ехидный кашель.

— Кхе! кхе! — покашляла в лавке Настька, зазвенев гирьками о лоток. И видно, что все слышала она сквозь приоткрытую из палатки дверь, и отдаленное ботанье барабана, а теперь — идет сюда.

— Кхе! Машенька, я иду. Налей, дочка, кхе! кхе! чашечку чайку...

Откачнулся Гриша, весь еще в жарком тумане, от затомившейся девки, сел на самый дальний от Машки стул и стал неверными пальцами протягивать через стол наполненный чаем стакан. Заскользили его пальцы по краю блюдца, а ногти на пальцах как круглые капли проржавевшей, желтой воды; и забилось его сердце гулко и беспорядочно, почти подлезая ударами под самое горло... Но в лавке, между тем, опять заговорили покупатели, призывая хозяйку; загремели деловито гирьки на железных весах. И томная, заалевшая Машка, видимо жалея о перерыве любовной сцены, поглядела украдкой на Гришу, поправила свое платье и волосы и заметила тихим, ослабленным голосом:

— Маменька-то, она не скоро. Она всегда так, когда еще и псаломщик молодой ходил. Не скоро!..

И видно, что люб ей Гриша, мил и необходим в ее скучной жизни, как и она ему. Понял теперь это Гриша еще раз с полной очевидностью и решил обделать раз и навсегда обдуманный поворот. Сел он опять ближе к Машке, пропустив про псаломщика мимо ушей, прижал ее крепче, без обиняков, к себе и зашептал ей взволнованно на ухо:

— Маша! Марья Агафоновна, дорогая! Будьте моей женой по статьям наших законов, — будьте! Ну, Маша, ну, скажите мне, цыпочка, — ну, ответьте и согласитесь со мной...

Видимо, давно того ожидая, поглядела на него Машка, откинув за плечи голову; зажмурилась, как бы прыгая с пленительной и вместе страшной высоты в неведомую пучину, — и так, с закрытыми еще глазами, тяжело упала Грише на грудь... Хрустнул под Гришей старенький стул, заскрипел, почти разламываясь, даже щепки выпали из-под него на пол, — и зашептала взволнованно Машка, роясь губами у Гриши в ухе:

— Миленький, ах! Согласна я, уж и этим браком согласна! А сердце мое — вот оно, вот... Ой, тише!.. Только не оставьте меня, девушку, молодую супругу вашу, на собственное пропитанье, коль надоем. А то ведь вы, — знаю я вас!..

— Ну, что ты, Маша, индюшечка ты моя! Да вот те крест-на-крест, не оставлю. Да и нет никакой возможности от законного брака отойти деятелю с брандсбойдтом: закон такой есть, гражданским браком обо-

звали в газетах, на боках и параграфах, дас виль. А что жена там да Шурка с младенцем Володькой, так это еще что! Пустячки-с, почище дела бывают...

И как раз в тот самый момент вошла вдруг из лавочки, теперь уже без предупреждения, незаметная Настька. Были в руках ее гири с лотком — взяла она их, как видно, второпях, услышав за дверью нетихие разговоры. Глаза ее — хигрые и недобрые — бегали вдоль по комнате, убеждаясь в давно ожидаемой любовной горячке, а из глаз текли слезы радости. Бросила она сразмаху лоток и гири на тот сундук, где лежал аккуратненько Гришин котелок, а сама от двери кинулась к столу, где Гриша приник уже к полненькой Машке вплотную, и тонко закричала, расставив руки по бокам и словно уловляя прослеженного преступника:

— Детки! Машенька и милый Григорий Иваныч! Господи, уж и надоело же мне!.. Живите и ты, и дочка! Люби ее, Григорий Иваныч, ревет ведь целыми днями дура о тебе, а ты человек заметный, кое-что поможешь тогда по торговлишке-то, чай... Уж давно я слышу, что ты нацеливаешься на нее. Будьте счастливы, — ну, подыщу я, видно, для вас квартирку, у меня-то тесно...

Обняла Настька их сверху, обливая слезами радости; прижала друг к другу так, что нельзя им было тронуться со стула. Но вдруг слышит: затопали покупатели близ палатки, требуя, быть может, колбасы и настоенной горькой. Откинулась она от прижатой пары и, тонко прищуриваясь, поглядела на Гришу сверху, хоть и знала ответ наперед:

— А как же Александра Никифоровна?

— А так-с: конец! Три дня разводу и сразу навылет! У нас там долго не попоют, дас виль. Чуть хоть бы что, сразу: фью-ют! и в милицию. Вот как.

— Ну, если так...

— А как?

Встал Гриша со стула, чтобы поднять выше руку в пояснение слов своих, как это делал седой генерал на старинной батальной картинке. И вдруг увидел, что на сундуке брошены лоток и гиря страшной и тяжкой кучей на самый верх положенного с краю котелка: измят ими котелок, как тесто сильными руками, лежит на сундуке с грубо продавленным верхом и просвечивает в самом верху небольшая, но сразу заметная дырка... От такого зрелища сорвалось вниз, как тяжелая капля горячего олова, Гришино сердце; прожгло оно все Гришино тело до самой земли насквозь неистовым остервенением, — и сразу же ударило его в мелкий холодный пот и закачало среди комнаты, как подтлевшее снизу дерево. Рухнуло в Грише веселье мелкими обломками, покачнулся он, весь побелев и пристально вглядываясь в котелок, — и пошел медленно, заплетаясь ногами, к сундуку.

— Вы это что же? — еле слышно сказал он Настьке на ходу, не оборачиваясь и боясь дотронуться до котелка. — Вы это что же, мамаша? Не-ет! Вы не особо, ду виль, чужие вещи портите!..

И как только взял он котелок в руки, предстал перед ним котелок измятый и невзрачный, будто прошло по нему все городское стадо. Поднял его Гриша в руке, со злобой сбрасывая гири, встал у сундука, почти подламываясь... А Настька вдруг засуетилась, захлопала по бокам руками, увидев беду.

— Да что ты, что ты, — затараторила, — Григорий Иваныч? Уж что такого в твоем картузе-то этом? Уж так я его и сломала, подумаешь! Наплевать мне только на него, нужен он мне, батюшки мои, как очень!

Но Гриша не слушал Настькиных объяснений, все более горячась у сундука и никак не умея вывернуть обратно плотный котелковый верх: сосборился верх вовнутри твердыми складками, побурел в складках еще не старый материал, лопаясь глубокими трещинами... И Грише показалось, что так перевернут он сам, измят и изломан в огромной ступе, а вместе с ним и котелок, который, как единственное отличие от ненавистных обывателей, сберегал Гриша больше глазу, ладонью тер ежечасно, сапожной щеткой натирал по праздничным дням для лоску...

Закружилась у Гриши от горя голова; оперся он коленками о сундук и со злобою обернулся к Настьке.

— Так нет-с, мамаша! Вы со своим барахлом вдвоем не годитесь на промен! Я, айн ист, за него шинель солдатскую в Германии отдал; я за него... Да вы не очень-то на ценные вещи поганые свои гири бросайте! Не ваше, не водкой тайком торговать, мать вашу ду бист эзель, обиратели!..

Охнула Машка:

— Ох!

А Настька, вглядевшись и сразу поняв положение, уперлась вдруг руками в бока, сшибла ногою вставший на дороге стул, взвизгнула: — Что-о-о? — и пошла на Гришу животом вперед, держа руки на боках кренделями.

— Ах ты, паскуда рыжая! — взвизгнула Настька. — Да я тебе, да я за тебя не только Машку, — кобеля барбосого не отдам! Чтобы тебя здесь, душегуб окаянный, дура пожарная, и с твоим картузом-то зазорным ни в жисть больше не было. Во-он!..

Затрясся в ответ, как в ознобе, Гриша, а сам весь красный, рыжий; только повисла сразу над его бороденкой губа белой трясущейся каплей: словно молоко потекло изо рта — до того бела!

— А и на фиг вы мне сдались! — злобно крикнул он Настьке, брызжа на нее из губы слюной. — На фиг вы мне сдались, гидра контрреволюции! Да я за твою лупеху курносую и не возьмусь! Ду бист айн канц, обиратели!..

— Ма-аменька!..

— Я, — взвизгнул, продолжая наседать на Настьку и надевая котелок, Гриша, — я до вас еще дойду, ист айн! Я еще всех вас, матери вашей, не так добегаю, канц ист дер эзель! С корнем вырву! Всю митроморфозу вашу наизнанку выверну! На пять суток под арест, без звука!..

Сказал так и вышел вон.

— Гришенька!.. — вслед ему вскрикнула Машка, заливаясь у стола слезами. Но Гриша не обернулся к ней. Тогда она повернулась тоскливым лицом своим к матери и заплакала еще горше. — Маменька, как же? Он ведь мне сердце щупал!..

— Сердце? Ах, сердце?! Ну, не-ет!.. — закричала с ненавистью Настька и забегала вокруг стола в бессильном остервенении, словно была посажена к столу на цепь, а вырваться теперь никак не может. — Ага! Я этого не оставлю, нет! Я ему распишу морду! Я пойду лавку в самый праздник запру, а уж ему покажу, как сердце у девок щупать, а потом уходить, — уж я ему покажу! Я покажу ему, сукиному сыну! Живо, марш за ним! Запирай двери, убери гири!..

Подхлестнутая остервенением матери, сорвалась и Машка со своего места, до того стоявшая неподвижно, — и заметались они обе по комнате, не зная, что взять, куда нести, как положить. Зазвенела в Машкиных руках чайная посуда, упал недопитый Гришин стакан и разбился о ножку стула, разбрызнувшись мокрыми осколками по бурому полу; загремела Настька гирьками у сундука, захлопала дверью, заскрипела половицами, мечась из палатки и снова в палатку. И только пузатый самовар на столе кипел довольно и успокоенно, и пар из него пыхал легкой, кудрявой струйкой...

Глава IV.

День, между тем, перевалил уже за полдень. Висело в небе, побелев спелой ягодой, солнце, сомлел под ним город, ярясь разогретыми крышами, а по главной улице все так же гремела ярмарка. У каруселей в тот час верещал по-сорочьи только Петрушка: музыканты сидели в стороне под забором и кое-чем вместо обеда закусывали. Народ вдоль канав ходил умеренней; пьяные мирно ползли к лопухам и засыпали в них, как только голова попадала какому-либо лопуху под тень. У пряничной палатки, присев на корточках и шушукаясь, делили мальчишки краденые пряники; продавали черномазые люди в пакетиках бабам счастье, или заводил рулетку похожий на бандита человек.

И никто из них не полюбопытствовал поглядеть на Гришу. А между тем — махал он руками круто, ногами шагал широко, будто шло по улице большими ветвями дерево, а рыжие корешки его наверху... Щупал Гриша изредка свой котелок, и так ему было горько, такое охватило его у Настьки зло, что вот взял бы здесь с арбузами тележку, перевернул ее и надел бы колесом кому-нибудь на пыльную голову. И вправду: был теперь котелок разломан почти вдребезги; брюки в полоску сгинули на дворе при драке, не осталось даже крепкого лоскута; Настька с дочкой, с румяной и толстенькой Машкой, навеки-вечные враги, и им, проклятым обирателям, обещал-было Гриша самогонный аппарат из милиции... Вместе с тем назвал утром столовый председатель с непереносной усмешкой Гришу бараном и «рыжим кобелем», а сверх всего — стоит указанный начальником, да

и так чувствуемый ежечасно, чортов «иной период», и нельзя из-за него обидчикам просто в морду дать.

Думал так Гриша, махая руками и злобно поворачивая во двор к своему семейному очагу. Представлял он сейчас собою до-отказу набитый кипящий злобой снаряд, готовый взорваться от малейшего толчка и разнести вдребезги любое препятствие. Рванул он закрытую со двора калитку, хотел войти во двор со злом и громом. Но вдруг услышал на дворе веселый такой и знакомый голос и сразу узнал хозяйкиного племянника.

— Удача, удача! — счастливо кричал племянник, сидя перед круглым столом у рябины и что-то записывая на бумажке. Одет он был в голубую шапку, сам щупленький и длинноносый, с неостриженными волосами. Писал он, ухмыляясь, скрипучим пером и встряхивал изредка волосами. Следует заметить, что водил сочинитель этот давнишние ухажоры с соседской девчонкой, ублажая ее своими стишками. Стишки те отсылал он и в столичные газеты, там, может быть, и печатали где, неизвестно. Только стал он их вместе с тем аккуратно наклеивать на заборе в своем огороде: то ли для большей славы, то ли для милой Нюрки. А подписывал все Ксенофонтием Бобылем, хоть звали его Валерьяном. Писал он стишки свои захлебываясь, вывешивал их Нюрке своей аккуратно, заранее наслаждаясь ее признанием. И Нюрке стишки те нравились; даже коза соседа сжевала их однажды, хоть, правда, чуть-было не протянула с них ноги.

О, тягостное страсти море!
Лишь Нюркой занят пылкий ум.
Хочу сказать: «люблю», но горе!
В ушах неясный шум.

Так: — муза жизни есть любовь.
Я весь в объятиях амура
Хочу сказать все вновь и вновь:
— О, Нюра, Нюра! Нюра, Нюра...

Так страстно я хочу сейчас
Расцеловать ей носик, глазки,
Чтобы она, зажмурив их,
С улыбкой принимала ласки.

Были у племянника и другие стишки, не только любовного содержания. Теперь в то самое время, как входил озлобленный Гриша во двор, сочинитель был занят прозаическим отрывком, который решил он вывесить в тот день Нюрке для разнообразия; потому и кричал он теперь: «Удача!». Бросил он на землю мокрое от чернил перо, взял в руки исписанный листок и стал, не видя Гриши, читать свой отрывок, тряся волосами:

— «Итак, по улице, как я уже писал, шел подозрительный незнакомец в черном плаще, и в кармане у него был наган в семь полных зарядов. Под плащем незнакомца звенели стальные латы, охраняющие его

от нападения врагов, а в одной руке была зажата маска, которую он вот-вот был готов быстро надеть себе на глаза...

«Когда он подошел к милиционеру, то тот с ним заговорил по-фашистски, потому что он был переодетый фашист, граф де-ля Грандо-Марилья...

«— Прочь! — сказал граф с загоревшимися глазами, поглядев с ненавистью на Московский Кремль. — Прочь всех врагов короны!..

«Но тут конец главы первой».

Последний звук Валерьянового голоса пронесся во дворе торжественно и певуче — и словно жгучей крапивой подхлестнул входящего Гришу. Вспыхнуло в нем с нестерпимой силой кипящее желание разрушения, обратилась злоба его на последние слова племянника, и он приостановил свой шаг. «Ага! — злорадно подумал он, входя тихонько во двор и не разбираясь в чем дело. — Ага! Вот оно как, гидра контрреволюции! Вот оно что: прочь всех врагов короны?! Ну, я вам покажу врагов, покажу же, да!.. — И, весь дрожа от возбуждения, пригнулся он головой как мог ниже и пошел медленно вдоль забора сзади племянника, стараясь не скрипнуть буцами или не опрокинуть что.

А племянник, между тем, уже свернул листок свой с отрывком трубкой и потер себя по носу, бормоча:

— Ну, видно, менять ничего не придется: хорошо. Теперь кусок мякиша — и иду приклеивать!

И только что встал он, держа в руках листок и чернила, как сзади подошел к нему разъяренный Гриша и крикнул вдруг изо всех сил обозленным голосом в ухо:

— Стой, товарищ! Руки вверх!..

Схватил Гриша племянника за рукав, дернул, чтобы потащить со двора за собой... Но вдруг дрогнули племянниковы руки, роняя на землю чернильницу и листок; обрызнули чернила Гришины буцы. И щуплый Валерьян ослаб сразу в Гришиных руках, грохнулся на земь, не оглядываясь, — и затряслись его ноги, жалко роясь в пыли. Закрыл он тонкими руками голову, катаясь по земле как бешеный, и вдруг глухо закричал, подняв измазанное пылью лицо:

— Караул! Спасите! а-а-а!..

Гриша попятился от племянника с недоумением и страхом, не понимая происходящего. Но было ему уже трудно остановиться, и он опять закричал Валерьяну, стараясь поднять его от земли:

— Ну, нет, не отвертитесь! Наконец-то я понял ваши сигнализации! Но теперь вы в моих руках, преступное гнездо, и знайте: вам никуда дальше не удастся отправить это шпионское письмо! За мной!..

Но лежал племянник неподвижно, уткнув лицо в руки и совершенно не двигаясь от Гришиных толчков, как труп. Сосборилась у него на спине голубая майка мертвыми складками, а над нею, напротив, натянулась на тонкой, беспомощной шее бледная кожа... И стало вдруг Грише

нестерпимо жаль лежащего перед ним человека; тут только впервые почувствовал он, как шевельнулось в нем неясное сомнение в верности своих действий; показалось ему, что не все в них так, как было бы нужно, — не похвалят его!..

И пошел он со двора. Над ним неторопливо повеивал теплый ветер, ощутимо касаясь лица, шелестел легонько в рябине. Тоскливо оглядывая двор и с острой горечью запоминая в нем каждую мелочь, шел он в тупом оцепенении.

Завилась за ним бурым облаком пыль; и калитка у ворот скрипнула так, словно тявкнула на Гришу трусливая, злая собачонка.

Глава V.

В переулке, за воротами, было безлюдно и сонно, только от ярмарки шел без устали неистовый гомон да зной колыхался такой, что стояли в нем дома, как в воде. По главной улице взад и вперед двигались неторопливые люди, разморенные жарой, но уже ободренные перешедшим за полдень солнцем; ехали иногда возы с арбузами или с горами розовых яблок, соблазняя прожорливых обывателей. У пряничной палатки половина ящиков была совсем опорожнена и поставлена в стороне стояком — ящик на ящик; стирая пот с ухмыляющихся рож, не раз уезжали за свежим товаром мороженщики, и даже похожий на бандита рулетчик густо набил карманы истертыми медяками. Ярмарка расходилась во-всю. У разрисованного балагана совсем охрипли клоуны-зазыватели, и сам хозяин — тощий, бритый человек в протертом до дыр шелковом костюме — только вяло раскрывал рот, не издавая никакого звука, маня к своему балагану. У здания волостной милиции, на нижней ступеньке крыльца еще лежал вниз головой пьяный парень с прожухлой от солнца арбузной коркой в разрезе штанов, а около крыльца, на бревнах, сидели веселые городские драчуны-хулиганы, рваные и пьяненькие, с Ванькой Курдюгой во главе, и играли всей кучкой в козла...

И сам Ванька Курдюга,— курносый парень с залепленной прямыми вихрами головой и с перстнем на пальце в виде вылезающей из черепа змеи, — заливался тоненьким замысловатым смешком, ударяя картой по бревнам. Только иногда, нетвердо держась на ногах, вставал кто-нибудь из играющих и шел к лежащему на крыльце парню — поправить сбитую или выпавшую арбузную корку...

Сзади Гриши, из узкого переулка, вдруг выбежала с розовой Машкой злая, неистовая Настька, держа в руке полуфунтовую гирьку. Искала она Гришу все это время повсюду — и во дворе его, и в переулке, и по улице; накипела в ней поднятая Гришей злоба до последней меры, и теперь, увидев Гришу на дороге одного, невредимого и веселого, — вскинулась она с тонким, собачьим визгом, взметнула широкой юбкой густую уличную пыль — и кинулась по дороге к Грише. Подняла она

правую руку с зловеще мелькнувшей гирькой и пронзительно закричала:

— А-ах, ты! Ты вот где, чорт рыжий! Ну, я разыщу тебя, да-а! Я покажу, как у девки сердце щупать да уходить потом! На, получай вот!.. — кинула гирьку в удивленно повернувшегося к ней Гришу. Ударила гирька его в раскрытую голову немного повыше виска и с легким скрежетом отскочила на землю. Брызнула из раны жидкая, розовая кровь,— и Гриша вяло качнулся, мотнулась рука его, как грязная тряпка, и он подломился к земле, утыкаясь лицом в придорожную пыль.

Не помнил он, как подняли его приятели Ваньки, как отнесли его в ближний приемный покой... Только после, очнувшись, весь забинтованный и слабый, с тяжело гудящей головой, совсем поняв свое невеселое положение, взял он худую руку стоящей у постели Саньки и через силу сказал, с трудом открывая тяжелые веки:

— Саня, нет, не уйду я теперь от тебя! Никогда, Саня!.. Но ведь так, как Машка, Саня, ведь так ты меня никогда, никогда не целовала!..

А простоволосая, оборванная Санька, держа в руках слабую руку мужа, опустила вниз невеселую голову, и побежали по лицу ее горькие, прозрачные и безрадостные слезы.

Кораблекрушение.

С вечера круто упал барометр,
К ночи на Атлантический круг
Волны пошли черней и огромней,
Громче раскаты, грохот и стук.

Что это — заговор? Мокрые гулы
Прямо на дыбу корабль ведут.
Я на полу, как сраженный пулей,
В штурманской рву воротник в бреду.

Рядом другие в такой же дичи,
Лишь капитан, пересилив муть,
В рупор на вахту зовет и кличет,
Режет и глушит гудками тьму.

Отклик не слышен. Команда в жути,
Пятеро смыты, а боцман пьян.
Мачты ломает, рычит и крутит
И ходит по палубе сам океан.

Чтò ему, ярому, тысячетонный
Этот игрушечный, шаткий дом?
Дыбит и топит под вой похоронный,
Душит, бросает и ставит ребром.

Сбиты моторы. Огонь потушен.
Бурю зову доканать этот гроб.
И вырываюсь в разгул наружу,
На перекаты в лохматый потоп.

Вдруг и помчал меня вал величавый
Выше и выше в кипящую кручь,
В топот простора, где буря качает,
Рвет и полощет полотнища туч.

Думаю, вот она здесь погибель,
Смерть в Атлантическом, в буре, но нет —
Чую, как мощь океана во мне
Крепнет, и сам я в крутом перегибе,

Словно в беспамятстве, словно в тумане,
Рушу я хрупкий скелет корабля.
И пробуждаюсь, гляжу...
На океане
Неколебимо.
Глухо стучат дизеля.

С мостика склянки кричат о смене.
Время на вахту.
Стонут антенны...
«В Европе восстанье»,
По радио нас извещает земля.

Г. Санников.

---

* * *

Я теперь навеки в счастьи гулком,
Хоть когда-то, словно ради зла,
Жизнь меня невзрачным переулком
Горевать в великий мир ввела.

Этот мир мне странно открывался
И свой дух я странно ублажал:
Днем кулачным боем волновался,
Вечером я Тютчевым дрожал.

Но, гася чужого дара пенье,
Часто вечер к ночи приносил
Дорогое кровное кипенье
Непонятных сокровенных сил.

Я вскипал горячими шагами
И, сознаньем бодрствуя едва,
Начинал невольными губами
Сладко комкать страстные слова.

И, взгорая вдохновеньем ранним,
Хоть и суть его была глуха,
Мучился блаженным бормотаньем
В таинстве рождения стиха.

И казалось: в страсти бормотанья,
В миг, когда блаженством стих томил,
Теплым светом своего признанья
Откликался мне великий мир.

И повсюду веял трепет вещий,
И таким был чувством накален,
Словно все обыденные вещи
Я вочеловечить был рожден.

Но, когда в житейском обращеньи
Кто меня поэтом окликал,
В крепком недоверчивом смущеньи
Я пред этим званьем поникал.

Ну, лицо — лицом, чего же проще,
Никаких особенных примет, —
Сколько раз себя я брал на-ощупь:
Неужель и вправду я поэт?

Я стеснялся благостного права
Называться именем творца
Даже и тогда, когда и слава
Стала звать поэтом без конца

Я не мог поверить морю знаков,
Что мне мир певучесть даровал —
Только лишь вчера и худ и мал,
От родимого стиха заплакав,
Сам себя поэтом я назвал.

Василий Казин.

Лесной букет.

Говорят, мне город
Нуден и далек.
Слышу разговоры:
Бедный паренек,

Вся его отрада
Утром пить росу.
Жить бы ему надо
Где-нибудь в лесу!

Слушаю и знаю:
Я деревне брат.
Каждому сараю
Несказанно рад.

Но шагаю ныне
Твердо по торцу.
Думать о рябине
Мне и тут к лицу.

По весне и летом
В городе, в селе —
Я лесным букетом
На любом столе.

А когда немножко
Поувяну я,
Выкинут в окошко
Банку и меня.

Неужель не вспомнят
Тягу наших лет,
Пыль московских комнат
И... лесной букет?

Петр Орешин

Перед картой.

В наивно-лоскутном убранстве
Знакома ты мне с малолетства —
Для всех незагаданных странствий
Простое, мгновенное средство.

I.

Вот север. И я уже выбыл,
И мне возвращаться не скоро.
В лодейке, наполненной рыбой,
Я слушаю песню помора:

«Ты, сударушка, молодушка моя,
Пошто свесилась головушка твоя?
Звук ли, слово ли роняешь — как в беде.
Будто серый пух пущаешь по воде».

Отвечала тут молодушка ему,
Другу верному, любезному свому:

«Сине морюшко запенилось волной,
Ты побудь хоть день, да ноченьку со мной.
Может, завтра будет тихая вода,
Может, завтра ты закинешь невода?»

«Ох, сударушка, я рад бы всей душой,
Только слышу я моряник небольшой.
Скоротаем ночу темну не одну,
Пошто смотришь ты, пужаясь, на волну?»

Уходила в море синее лодья.
Прилетала к ней-от смертыньки сватья.
Как была тут бурь-погодушка строга.
Ой, прощайте, да навеки, берега!»

Запеть не мешало и мне бы,
Но с песней,— как дальние вторы,
По краю безгласного неба
Скрипят ледовитые горы.

II.

Самарканд, Мараканда... Над ним
Голубеют, как время, шатры —
Гур-Эмир, Шах-Зинде и Ханым.

А вдали, у Гиссарской горы,
Чуть звенит караван Бухары.

Льет прохладные тени Шир-Дар.
Скоро вечер. Пустеет базар.
Вспоминая, бренча по годам,
Ты о чем разгуделся, дутар?

Селям, мое детство, селям!

Как на родине — в этом краю
Каждый камушек я узнаю.
Это я в переулке пою:

Увядшей розой догорает закат.
Вот и она показалась над глиняной крышей.
Кто-то во мне закричал и ударил в набат,—
Милая, слышишь?

Чувство мое, как весна, полыхай, розовей!
Я ни за что не скажу тебе: «тише».
В сердце, в кустах ли забулькал опять со-
ловей,—
Милая, слышишь?

Небо проколото звездами. Ночь.
Желтым сном поднимается месяц все выше и
выше.
Месяц! Ты ей про любовь, про мою нашепчи,
напророчь, —
Милая, слышишь?

Благословенная! Темною розой ночной
Ты закачалась на крыше.
Песню мою о тебе, об одной,
Милая, слышишь?

В. Наседкин.

Казнь китайца.

Посажен на камень — гляди на песок.
Сапоги офицеров — желтые-прежелтые.
Горячее, сухое смертельное лицо.
Длинная тень от прямой винтовки.

Посажен на камень — жди, гляди
На желтый песок. На песке — ноги
Свои, живые, какими ходил
Не спеша, раздумно и даже много.

Большой палец — красный, грубый и кривой.
Прилетела муха — зеленая, или лиловая.
И рядом с ней ложится плевок:
Это главный начальник стоит и сплевывает.

На грязной коже — сухой и узкий шрам,
Который ногу, как браслетом, схватывает.
Это остался след серпа.
Сейчас на полях начинается жатва.

Из кожаного чехла — блестящий револьвер.
Длинное дуло и черное темя.
Враждебные руки прикоснулись к голове
И поставили на колени.

Сапоги офицеров стали неизмеримо-большими.
Окурок сигары и куски старой газеты.
Резиновый след, забытый машиной,
След, который заносит ветром.

И когда глаз застыл на согнутом левом колене,
Расширился до краев и стал необычайно пристален,
Пески вздрогнули и покраснели
От неожиданного смертельного выстрела.

И покраснели пески, хуже чем щеки чжанцзолиновые,
Кровью, как виски, выплеснутой из чайника,
Кровью, от которой так обветшали и вылиняли
Голубые штаны иностранных начальников.

Владимир Кораблинов.

Надвигающийся мировой кризис и революционные перспективы.

П. Шубин.

I.

Наиболее трогательная и чувствительная новогодняя сказка появилась в 1928 г. в необычном месте и на необычную тему. Героями премированного праздничного рассказа оказывается на этот раз не шаблонный мальчик, замерзающий перед ярким освещенным окном гастрономического магазина, и не христолюбивая старушка, подбирающая и приобщающая его к радостям елки, а персонажи международного банковского мира. Но для изображения трогательных сцен банковской самоотверженности исписавшееся перо слезливого интеллигента, впадающего в определенные сроки в тон умиления, оказалось неподходящим. Пришлось мобилизовать никого иного, как председателя парламентской фракции Рабочей партии, бывшего лорд-канцлера в кабинете Макдональда, Филиппа Сноудена, того самого, которого Ллойд-Джордж уже наметил премьер-министром будущего рабоче-либерального правительства. Личность автора определила и место появления рассказа: он монополизирован журналом банкиров Соед. штатов Америки [1]), предупреждающим, что всякие перепечатки и цитаты из этого художественного произведения могут быть сделаны лишь с указанием источника. Мы исполняем это требование тем охотнее, что самый факт появления статьи одного из лидеров английской Рабочей партии в журнале американских банкиров не менее красноречив, чем само ее содержание.

«Если мы оглянемся назад на состояние экономического и финансового хаоса, который господствовал в Европе в годы, последовавшие за войной, и сопоставим его с относительной стабилизацией, которая существует сейчас, то мы увидим результаты того, что *нельзя назвать иначе, как чудом*. Этой перемене мы менее обязаны политическим и государственным деятелям, чем мудрому влиянию и отважным действиям небольшой, но имеющей широкий кругозор группы *международных финансистов*».

---

[1]) «Bankers Magazine», Нью-Йорк, декабрь 1927 г.: «Английский банк и реконструкция Европы».

Далее автор считает необходимым устранить некоторое предубеждение, от которого могут быть несвободны даже читатели банковского журнала.

«Существует, — поучает он, — распространенный предрассудок, будто небольшая группа лиц, которая располагает столь громадным влиянием, как распоряжение финансовой судьбой мира, посвящает свое время тому, чтобы эксплоатировать экономическое положение в своих собственных интересах».

Рабочий лидер с негодованием отметает это грубо ошибочное представление. Он посвящает ряд теплых и искренних строк в доказательство того, что эта группа банкиров с «громадным влиянием», достаточно проницательным, чтобы видеть, что «ее собственные интересы неразрывно связаны с процветанием экономической и коммерческой жизни всего мира».

Новогодняя легенда разворачивается, и облики главных действующих лиц выступают все рельефнее. Группа «самоотверженных банкиров» конкретизируется все больше; под этим псевдонимом скрывается, оказывается, Банк Англии. Это он, собственно, благодаря «старым традициям, интимным международным связям и крупному влиянию на руководителей остальных центральных банков», вывел Европу из мрака к свету. Конечно, автор не для того пользуется гостеприимством американского журнала, чтобы отрицать значение той поддержки, которая была оказана делу спасению Европы Федеральным резервным банком Соединенных штатов, но, деликатно напоминает он, «это было счастьем, что Федеральный резервный банк недавно начал свое существование». Ударение здесь на слове недавно — следовательно, американский Резервный банк мог только помочь Английскому банку, но не заменить его.

Дальше идет подробный список отогретых, накормленных и приласканных сироток. На первом месте стоит Германия. Сам доктор Шахт, директор Государственного банка Германии, признает в своей книге, что стабилизация марки не была бы возможна без «почти сверхчеловеческих усилий председателя Английского банка». За Германией следует Австрия, относительно которой Сноуден уже без всяких обиняков заявляет, что она «была в критический момент спасена Английским банком». Дальше следует Венгрия, за ней Греция. В более деликатной форме говорится о щедрой помощи, оказанной Бельгии. Наконец, Польша: «польский заем восстановления был бы безнадежен без практической поддержки интернациональных банкиров».

Итак, Английский банк, действительно, имеет в своем активе поистине библейские чудеса. Но «иногда, — говорит Сноуден, — раздаются критические голоса, что займы восстановления выпускались на условиях, возлагавших слишком тяжелое бремя на должников». Таким невежественным и ограниченным критикам автор может ответить лишь снисходительной улыбкой. «Да, — говорит он, — верно, что процентная ставка в этих случаях была высока, но ведь международный кредит должников в это время был ничтожен».

Такова легенда о чудодейственной силе Английского банка, сотворенная из куска грубой жизни одним из влиятельнейших вождей реформизма при встрече 1928 г. Но почему все-таки она появилась в журнале американских банкиров? Чтобы расшифровать эту легенду, приходится воспользоваться некоторыми фактами из области грубого материального мира.

II.

Английский фунт встретил новый год на такой высоте по сравнению с долларом, что у него легко могла бы закружиться голова. Повышение курса фунта определилось с осени, т. е. в тот период, когда Англии пришлось расплачиваться на американском рынке за закупленный ею хлопок. Соответственно этому, хотя и в легкой форме, начинает нарушаться покой золотых биллионов, мирно дремавших в нью-иоркских подвалах. Конечно, для золотого запаса Соед. штатов, достигшего 4 455 миллионов долларов, отправка за последние недели золота в Лондон на сумму около 50 миллионов не может быть сама по себе особенно чувствительна. Но Нью-Йорк, который с 1914 г. привык только копить, оказывается в роли растратчика! Еще вернее, что и в будущем деньги, ищущие краткосрочного помещения, будут уходить с нью-иоркской биржи на лондонскую, вследствие той разницы, которая существует пока между учетными ставками английского (4½%) и американского (3½%) банков. «Манчестер Гардиен» при первом сообщении о том, что «Аквитания» везет американское золото в Англию, писала о «свойствах человеческой природы, которая естественно гордится нашей возможностью притягивать золото даже из Америки, хотя в действительности мы получаем его взаймы».

Не менее естественным является тот факт, что правительство Болдуина при поддержке всех партий (за исключением, разумеется, коммунистической) стремится всемерно использовать это «чувство хвастовства», а главное, неосведомленность публики, чтобы втереть ей очки по части оптимистических прогнозов на 1928 год. Во всей английской прессе раздаются торжественные пророчества на тему о том, что «самый тяжелый период для английского хозяйства уже позади», что высокий курс фунта свидетельствует о возможном развитии экспорта капитала, что, следовательно, на очереди дня стоит восстановление былого могущества английской империи. Но эти авгуры сами прекрасно учитывают те исключительные трудности, которыми чреват 1928 год для английского хозяйства вообще и в частности для той области, где все, казалось бы, обстоит благополучно, т. е. для финансов.

К этим трудностям относится, прежде всего, предстоящий о т л и в золота из Англии во Францию и Италию в связи с существующим в этих странах намерением подвести (в течение ближайшего времени) золотой базис под свою стабилизованную валюту. О том, что правительство Пуанкаре имеет возможность, играя на искусственном понижении курса франка, скупать фунты внутри страны и обменивать их на золото в Англии, можно было убедиться по его операциям лета 1927 г., когда английские банкиры

специально добивались и добились на нью-иоркском совещании «самоограничения» Франции в спекулятивном привлечении английского золота. Но, разумеется, такого рода «добровольное» самоограничение может продержаться только до решительного момента. Американская финансовая пресса указывает, что наступит этот момент именно в ближайшем году.

«Франция и Италия, — пишет «Журналь оф коммерс» в № от 16 декабря 1927 г., — оттянут в 1928 г. из Лондона столько золота, сколько только смогут. По оценке осведомленных лиц Нью-Йорка, сумма золота, которая этими странами может быть снята с лондонской биржи, достигает 400 млн. долларов. Это составляет больше 50% золотых запасов Английского банка. Именно эта опасность, угрожающая золотому резерву Английского банка, заставляет его принимать шаги к увеличению своих золотых запасов».

Итак, добродетельную старушку-Англию, по словам Сноудена столь самотверженно спасавшую Европу от хаоса, ждет черная неблагодарность со стороны облагодетельствованного ею континента: стабилизовав свою валюту, он протягивает руки к английскому золоту. Захочет и сможет ли Американский банк выручить Английский из этого положения? Совершенно ясно, что в действительности под флагом сотрудничества осуществляется рост зависимости Английского банка от Американского. Деньги, которые отплывают с нью-иоркской биржи на лондонскую, ищут наиболее выгодного кратковременного помещения. Они вернутся обратно в Нью-Йорк, как только Американский банк повысит свою учетную ставку. Вся инициатива, от которой решающим образом зависит высокий курс фунта, в руках американцев. Но эти краткосрочные кредиты английское хозяйство использует либо для инвестирования за границей, либо для других долгосрочных операций. Чтобы покрыть эту задолженность, Англии понадобятся новые долгосрочные кредиты той же Америки. Но есть все основания считать, что как раз в этот момент эмиссионная деятельность нью-иоркской биржи будет доведена до минимума, вследствие тех трудностей, которые принесет с собой экономический кризис самой Америки. Английская буржуазия и ее нахлебники — реформистские вожди — не могут не предвидеть этой опасности; она прекрасно учитывает, что удар раненого кризисом американского чудовища будет направлен, прежде всего, против своего главного противника — Англии. Обе стороны тайно и явно готовятся к этой борьбе. Новогоднее сюсюканье Сноудена (в американском журнале!) является одним из элементов, хотя и весьма ничтожным, в этой подготовке.

III.

Как готовится Европа к обороне против наступления американского капитала?

Несерьезным и в значительной степени лицемерным надо считать коекакие попытки добиться консолидации самой Европы освобождением товарооборота на континенте от таможенных барьеров. Жалкое банкротство Женевской международной конференции (после которой в ряде стран тамо-

женные ставки были повышены) теоретики (особенно это характерно для Англии) об'ясняют тем, что она состояла из экспертов, а не из представителей правительств. Будто другие конференции, комиссии и т. д. при Лиге наций не оканчиваются столь же безрезультатно, когда они состоят хотя бы из архиавторитетных представителей правительств, из которых каждый старается обжулить всех остальных! Что касается европейских картелей, то те самые силы, которые придадут особенно напряженный характер американскому кризису и его борьбе с Европой, обострят в свою очередь и борьбу между европейскими странами и взорвут международные комбинаты как раз в тот момент, когда они будут призваны внести успокоение в разбушевавшуюся стихию рынка. Если и считать преждевременными утверждения английской печати о том, что Стальной картель уже распался по всем швам, то все же не подлежит сомнению, что, когда дело дойдет до мертвой схватки с Америкой, Европа будет представлять не организованное хозяйственное «единство», а клубок перепутавшихся противников, без разбора наносящих удары направо и налево.

Гораздо бóльшее значение с точки зрения борьбы буржуазии отдельных стран будет иметь степень достигнутой ею рационализации производства (понижения себестоимости) и развития национальных трестов (финансирование экспорта на внешние рынки за счет высоких цен и крупных прибылей на внутреннем рынке).

Успехи Германии в этом отношении являются предметом зависти не только для европейских, но и для американских соперников. Чтоб судить, например, о том, насколько выросла за последние месяцы продукция железа и стали на каждого рабочего на предприятиях, об'единенных германским Стальным картелем, полезно следить за английской, а не германской текущей экономической прессой, потому что германские промышленники предпочитают до последней возможности скрывать свои достижения. Но и Англия спешит наверстать потерянное время. Роль революционного новатора в деле рационализации и трестификации в Англии играет, как известно, Альфред Монд, возглавляющий величайший в Европе химический трест, предприятия которого ассигнуют в последнее время колоссальные суммы для проведения технических усовершенствований в производстве. Характерно, что наибольшую восприимчивость к новым средствам борьбы проявляют в Англии новые отрасли промышленности, имеющие вообще больше шансов выдержать столкновение на мировом рынке.

Но главное преимущество, которое европейская индустрия имеет перед американской, заключается в низкой оплате труда, и дальнейшее развитие этого «превосходства», дальнейшее усиление эксплоатации занимает центральный пункт во всех расчетах европейской буржуазии. Вот почему ближайшие годы будут сопровождаться ожесточенными атаками буржуазии всех стран, в особенности европейской, на заработную плату и на продолжительность труда рабочего. Здесь, как и в области техники, буржуазия переходит к новым, более усовершенствованным методам борьбы, используя ту колоссальную силу, которая дает ей об'единение в тресты, комбинаты,

картели и т. д. Здесь, как и в области техники, рекорд за последний год побит германской буржуазией, нашедшей более эластичные, более лживые и, следовательно, более действительные формы использования и государственного аппарата, и профессиональных союзов, и соц.-демократии в целях организации наиболее усовершенствованного зажима рабочего класса. Еще недавно германские реформисты ездили в заморские страны учиться у Американской федерации труда искусству подчинения рабочего интересам промышленности, т. е. капиталистической эксплоатации. Теперь германский Лейпарт может дать много очков вперед американскому Грину. Ход и исход последней борьбы в металлургической промышленности Германии между рабочим классом и небольшой горсткой стальных королей показывает, как далеко шагнул вперед германский реформизм в искусстве предательства. «Германизация» профдвижения имеет то преимущество перед «американизацией», что она, во-первых, способна захватить более широкие слои рабочих, чем откровенно реакционные американские профсоюзы, во-вторых, что она втягивает рабочих в капкан сотрудничества с капиталом в форме, менее резко бросающейся в глаза, чем откровенные компанейские союзы Америки, в-третьих, тем, что капитуляцию рабочего класса перед трестифицированным капиталом она проводит под звон более или менее революционной фразы. Тактика об'единенной германской металлопромышленности во время последней борьбы с рабочими заслуживает с этой точки зрения известного внимания.

Новое в тактике германских сталелитейных трестов в последнем конфликте заключалось в том, что они, поведя наступление на рабочий класс, в то же время демонстративно показывали «общественному мнению», что не нуждаются в поддержке государственного аппарата, что они даже не склонны доверить ему защиту своих интересов. Как известно, стальные бароны начали кампанию с того, что заявили о своем намерении приостановить производство, если будет введено в действие правительственное распоряжение о введении с 1 января 1928 г. 8-час. раб. дня. Это заявление с внешней стороны могло быть трактуемо как желание обойти арбитражный суд и министра труда. «Но ведь это недоверие к государственной власти», — разочарованно удивилась та часть демократической печати («Франкфуртер цейтунг» и др.), которая кичится своим беспристрастием в «промышленных конфликтах». «Но ведь это срыв будущего арбитражного решения и нарушение законов республики!» — вознегодовали профсоюзные бюрократы. «Кучка стальных баронов угрожает порядку республики!» — возопил «левый» соц.-демократ, президент рейхстага Лебе, «радикализм» которого является одной из главных приманок для одурачивания рабочих на парламентских выборах. «Надо экспроприировать трестовиков», — бросил он блестящую мысль, предназначенную, разумеется, не для того, чтобы пугнуть Тиссена и Круппа (которым в высокой степени наплевать на экспроприацию, затеваемую Лебе в союзе с Гинденбургом), а для того, чтобы под этой революционной трескотней соц.-демократическим вождям удобнее было затащить рабочих в капитулянтское болото. Но лицемернее и противнее были

высокие революционные трели «левого из левых» Пауля Леви, который в своем журнальчике заголосил: «Караул! Свергают республику!». Под прикрытием этого шума буржуазия произвела перегруппировку своих сил, в результате которой обычное сотрудничество между капиталом и государственной властью доразвилось в полное подчинение «республиканского» аппарата трестированной промышленности.

Исходные позиции, которые занимали предприниматели в начале конфликта, были неблагоприятны для них по целому ряду причин: 1) сталелитейная промышленность Германии за последние 9 месяцев на много подняла продукцию, приходящуюся на каждого рабочего, а на некоторых предприятиях, где переоборудование уже закончено (на зав. «Добрая надежда»), удвоило ее; 2) германская сталь обнаружила величайшую конкурентоспособность на мировом рынке и уже дошла до того, что бьет американскую на ее же родине, в приморских городах Соединенных штатов; 3) 8-часовой рабочий день в металлургии, который, по утверждениям германских рвачей, может довести их до ручки, существует на европейском континенте и в Англии; 4) обязательство ввести с 1 января три смены промышленники торжественно взяли на себя несколько месяцев тому назад, так как их представители входили в хозяйственный совет республики, единогласно утвердившей распоряжение министра («Но наши представители при голосовании были введены в заблуждение!» — заявило теперь трестовское жулье). Наконец, с точки зрения предстоящей избирательной комедии, было отнюдь не безразлично, что значительная часть рабочих, на систематическом ежедневном сжигании которых в течение 12 часов рабочего дня настаивали трестовики, состоят членами партии центра, т. е. единомышленниками Тиссена и его банды, молятся в одних с ним костелах, причащаются у тех же ксендзов и опускают избирательные бюллетени в те же урны. И тем не менее трестовики решились дать бой рабочим на такой невыгодной позиции: Тиссен и Крупп знают своих социал-демократов!

Обходное движение промышленников против арбитража развязало язык соц.-демократическим болтуном. Растущий в рабочем классе протест против решений третейского суда, против «индустриального мира» подвергся бешеной критике профсоюзных чиновников. «Предприниматели за насильственное разрешение конфликта, мы должны быть за отвергаемый ими арбитраж»,—внушали они отсталым слоям рабочих, причем влияние коммунистов и революционных рабочих подавлялось и душилось полицейскими приемами профсоюзного аппарата. На конференции профбюрократов, принимавших решения подчиниться арбитражу, рабочие делегации с предприятий, явившиеся с требованием об'явить забастовки, не были допущены. Чтобы освободиться от давления масс, социал-демократическая печать пустила в оборот провокационный лозунг: «если коммунисты за забастовку, то пусть попробуют сами». Это означало, что на каждом предприятии профбюрократы намеревались выдать хозяину революционных рабочих, сделав их мишенью для экономического и полицейского террора. Эта тактика оправдала себя. Достигнутое в результате арбитража некоторое

сокращение рабочего дня на горячих цехах производится за счет заработной платы рабочих; те расходы, которые в связи с переходом на три смены приходятся на долю хозяев, они вернут себе в удвоенном размере, усилив рационализованную эксплоатацию; государственный аппарат «сохранил» видимость беспристрастного судьи; в христианских профсоюзах Крупп и Тиссен будут попрежнему проповедовать рабочим воздержание и смиренность в надежде на загробную жизнь; социал-демократия будет щеголять изрядно выщипанным, но все же подновленным и подкрашенным павлиньим хвостом: «экспроприация трестов»! Исполнились евангельские заветы: на небесах — благоволение, на земле — индустриальный мир.

Германские социал-демократы выпустили новую модель рационализированного предательства.

IV.

В Англии сэр Альфред Монд, вдохновивший химическую и динамитную промышленность к об'единению по «германскому образцу» является сейчас главным пророком Федерации английских промышленников за заключение договора сердечной дружбы с Генеральным советом профсоюзов. Английские предприниматели, воплощающие круглую сумму в миллиард фунтов, обнаруживают небывалую скромность, заискивая, зазывая вождей Генсовета к дружеской беседе за круглым столом. О чем? Еще «неизвестно»! Председатель Генсовета Бевин заявил, что он считал бы кощунством преждевременно разглашать содержание секретного пригласительного письма. То, что не является секретом — это готовность Генсовета откликнуться на зов миллиарда. Все его члены успели за это время произнести столько речей и написать столько статей на эту тему, что они уже вполне созрели для того, чтобы упасть в об'ятия Монда. Это, разумеется, не следует понимать в том смысле, что Монд — Фауст, а Бевин (или Сноуден!) — невинная Гретхен. Генсоветчики и сами не прочь добраться до мирной пристани законного и открытого сожительства с буржуазией, и старый черносотенец и штрейкбрехер, председатель союза моряков Хавелок Вильсон, не постеснявшийся в свое время выступить против всеобщей забастовки, целиком прав, когда он утверждает, что Генсовет переходит на его «платформу». Если же инициатива «сближения» остается целиком в руках Монда, то потому, что пойти на такое решительное, открытое и законченное предательство Генсовет может позволить себе лишь после того, как буржуазная реакция разгромила рабочее движение, выбросила из процесса производства наиболее стойкие честные революционные элементы, отвечает безработицей и голодом, тюрьмой и избиениями на всякую попытку открытой классовой борьбы. Путь, по которому пойдет Бевин на интимное совещание с Мондом, устлан жертвами буржуазного террора. Такова цена «индустриального мира».

Но еще более тяжелые жертвы потребуются для его сохранения. Если у английской из'еденной консерватизмом буржуазии есть какие-нибудь

возможности устоять в предстоящей борьбе за рынки, то лишь за счет возвращения к наиболее хищническим приемам эксплоатации. Та операция, которую предприниматели проделали над горняками, удлинив рабочий день, урезав плату, выбросив на улицу новые сотни тысяч рабочих, должна быть проведена сейчас в ряде других отраслей промышленности, в первую очередь в текстильной. Но буржуазия хотела бы добиться тех же результатов, но без накладных расходов открытой борьбы. То, что угольные хищники добились в результате локаута, уличных столкновений, прекращения производства и потери рынков, то хлопчатобумажные хотят получить как зрелый плод из рук генсоветчиков. Это будет означать рационализацию в деле угнетения рабочих.

По выступлениям предпринимателей и реформистов можно судить о той идеологии, при помощи которой миротворцы попытаются замаскировать свою куплю-продажу. Речь будет итти о том, что без «добровольного соглашения между трудом» и капиталом, без «добровольных уступок с обеих сторон» английская индустрия не может вернуть себе былого положения могущества на мировом рынке, что она должна будет сдать свои позиции более счастливым конкурентам, имеющим в своем распоряжении более дешевый труд. Американский фабрикант будет при этом ссылаться на английского, английский на германского и французского, французский на итальянского и т. д., и т. д. И вся эта система рычагов и зубчатых колес будет давить на рабочий класс с целью использовать кризис мировой промышленности для того, чтобы удешевить жизнь рабочего.

V.

Новогодний прием властителей Европы прошел под дружный аккомпанимент пацифистских речей. Это, разумеется, не ново и не удивительно. Не ново, что наместник папы римского при Гинденбурге монсиньор Пацелли говорил «об успехах, достигнутых в 1927 г. на тяжком пути примирения и об'единения народов». Неудивительно, что другой наместник, монсиньор Маглион, говорил о «новых и успешных заботах правительств для укрепления мира». Если сам папа римский на всем протяжении 1914—1918 гг. одинаково милостиво благословляя каждую из вцепившихся друг другу в глотку армий, то почему же теперь его наместники Пацелли и Маглион должны стесняться, соответственно месту своей службы воздавать хвалу миролюбивым усилиям то Франции, то Германии? Неожиданным и счастливым совпадением можно признать лишь то, что, отвечая на эти приветствия, оба президента, Гинденбург и Думерг, употребили одну и ту же высокопарную, но не лишенную некоторой остроты формулу. «Самопожертвование интересам отечества не исключает службы человечеству», — сказал Гинденбург. «Любовь к отечеству может гармонически ужиться с обязанностями, которые каждое государство должно выполнить в великой семье народов», — сказал Думерг. Итак, оба государственных властелина, говоря о мире и дружбе народов, не забыли упомянуть о самоотверженности по

отношению к отечеству, имеющему свои особые интересы. На более простом языке, на языке фактов, это означает — дружба дружбой, а вооружение, и при том бешено растущее, врозь. При таких «благоприятных ауспициях» появляется на свет 1928 год.

Послание Кулиджа конгрессу, как известно, возлагало полностью ответственность за провал морской конференции по разоружению на Англию и заключало утверждение, что, «несмотря на пережитое разочарование, вашингтонское правительство не изменит свою судостроительную программу». Америке, мол, вообще нет дела до того, что думают и делают другие. Но подобно тому, как благородный жест авиатора Линдберга, отказавшегося «во избежание каких-либо подозрений или нареканий» пролетать над расположением войск республики Никарагуа, имел своим прямым и непосредственным следствием генеральное концентрированное наступление американских войск против Никарагуа, так и «миролюбивое» послание Кулиджа имело своим следствием внесение пятилетней морской программы в конгресс на сумму приблизительно в биллион долларов. В целях «округления» — такова официальная терминология — флота, охраняющего мир на морях, Соединенные штаты в течение 5 лет предполагают построить 25 крейсеров, 9 крупных миноносцев, 32 подводных лодки и 5 аэроматок. Но эта программа является лишь присказкой — сказка будет впереди. Гостящий сейчас в Нью-Йорке викон Ротермир роздал через «Асошиэйтед пресс» статью, в которой он призывает британское правительство исправить женевский грех и поспешить капитулировать перед могуществом Соединенных штатов. Хозяин английского газетного треста описывает то чувство жалкой подавленности, которое он переживает, наблюдая Нью-Йорк с 18-го этажа отеля, расположенного в центре города, и созерцая из своего окна такую концентрацию сверхестественной красоты («каждая из этих построек стоит несколько миллионов фунтов стерлингов») и могущества, какого раньше не мог видеть ни один человек. Может ли Англия вступить в борьбу с таким соперником? Из 48 штатов Америки одна лишь тройка: Нью-Йорк, Пенсильвания и Нью-Джерси обладают бо̀льшим богатством, чем Британия. Нет, «не теряй, куме, время, опускайся на дно», — таков покорный вывод английского наблюдателя. Но пятилетняя программа судостроительства является лишь частью — и притом не самой большой — полной программы, на которую будет испрошено около 3 биллионов долларов. Кулидж уже дал свое одобрение этой программе, а Кулидж, прибавляет Ротермир, имеет в этой области больше влияния, чем британский премьер. Еще бы! Стэнли Болдуин является только одним из владельцев небольшого сравнительно треста железоделательной промышленности, в то время, когда Кулиджу после окончания его государственных обязанностей уже заготовлено теплое место председателя Стальной корпорации, контролирующей 40% всей американской стали. Избрание на этот пост Моргана является, как уверяют американские газеты, лишь переходной мерой, так как глава банкирского синдиката слишком занят, чтобы заниматься «совместительством». Морган сбережет место для Кулиджа, а тот, в свою очередь, использует последние месяцы

своего президентства, чтобы обеспечить стальной промышленности такой лакомый кусок, как «большая морская программа».

Против кого же направлены эти сверхчудовищные планы вооружения? На этот счет в американской печати нет даже никаких сомнений. Да и приличествует ли Соединенным штатам ставить себе менее серьезную задачу, чем «соревнование» с сильнейшим в мире флотом, тем более, что как раз теперь американский империализм вполне доволен поведением Японии, ставшей послушною после постигшего ее финансового краха, доказавшего, что без поддержки американского золота Японии не осуществить широких планов разбойной экспансии в Манчжурии и Монголии. Но если трехбиллионная морская программа имеет в виду родственную «по культуре и крови» Британию, то с какой целью? Тут начинаются небольшие разногласия: лучше откормленная и потому более вызывающая часть американской буржуазной печати прямо говорит о том, что речь идет об англо-американской войне; другая, более пацифистски настроенная, пытается смягчить острые углы: речь, мол, идет только «об обеспечении свободы на морях во время войны, в которой Британия и Америка... не будут союзниками». «Это еще не значит, что они непременно будут врагами. Может повториться положение 1914—1917 гг., когда британский флот серьезно стеснял наши права, как нейтральной державы, и превращал свободу морей в бессодержательную фразу» («Нью Републик», от 28 декабря 1927 г.). Но, так или иначе, Америка вооружается прямо и непосредственно против Англии. А раз так, то со своей точки зрения Ротермир прав, когда он обращается к английской буржуазии с призывом не тягаться со столь могущественным соперником, а, наоборот, об'единить с ним свои силы, чтобы в порядке англосаксонского союза осуществить беспрепятственное и верное разграбление всего остального мира.

Но для того, чтобы договориться о дележе добычи, надо быть сильным. А, будучи сильным, почему бы не попробовать обеспечить себе максимальную долю в дележе? Вслед за Кулиджем английское адмиралтейство также сделало заявление, что и оно «строило и будет строить, не считаясь с тем, что думают и делают другие, стремясь лишь к защите своих торговых путей». Английская металлургия не менее американской нуждается в заказах. Металлургическая промышленность еще не дошла и вряд ли дойдет до таких усовершенствованных приемов, чтобы строить и, следовательно, выколачивать прибыль, оставаясь подобно химической промышленности под шапкой-невидимкой. Построенный, например, в самые последние дни броненосец «Роднэй» (цена 7 млн. фунт. стерл.) виден всем и не может не вызвать у пацифистов, вроде сотрудников «Нью-Лидера», лицемерного хныкания по поводу того, что содержание его команды в 1 200 человек в мирное время превосходит жалованье всего персонала самого большого лондонского госпиталя. Нельзя запретить обывателям предаваться размышлениям на тему о том, против кого собственно будут направлены его непревзойденные до сих пор дальнобойные орудия, бросающие на расстоянии 15 морских миль снаряды с разрушительной силой, пребывающей, по крайней мере

до сих пор, вне всякой конкуренции. Против Германии? Но если Германия начнет сейчас строить флот, то «Роднэй» заржавеет раньше, чем она его построит. Против России? Но, — пишет какой-то благочестивый человек в «Нью-Лидере», — мы не можем блокировать Россию, даже если бы имели 500 «Роднэев». Против Франции? Но «ведь наш флот не может помешать ей разрушить Лондон с воздуха в течение первых 24 часов после начала войны». Против Японии? Но «Роднэй» никогда не в состоянии будет достичь японских берегов, потому что судно с таким водоизмещением будет взорвано по пути подводными лодками. Остаются только Соединенные штаты. «Это единственная страна, с которой мы имеем спор относительно флота. Но Америка на каждый наш «Роднэй» сумеет ответить пятью». Итак, — приходит к печальному выводу «Нью-Лидер», — мы идиоты. Но, как известно, для того, чтобы разжечь империалистическую войну, совсем не требуется большого ума.

Характерно, что об англо-американском конфликте и о том, что он предвещает 1928 году большие неожиданности, печать других империалистических стран говорит не только без тревоги, но и с плохо скрываемым злорадством. Друзья и соседи, повидимому, рассчитывают остаться в стороне и чем-нибудь поживиться. Наивные надежды! Сильнейшие империалистические соперники Англия и Америка не вступят в открытый конфликт раньше, чем они не подготовят для себя соответствующих группировок на мировом театре войны. Эти группировки будут форсированы всеми средствами давления, угроз, террора, вплоть до провокации и организации «второстепенных» войн «местного значения». Не будет поэтому ничего удивительного, если англо-американский конфликт в ближайшей стадии приведет не к морскому бою между дорогостоящими «Роднэями», а к войне или вооруженной интервенции в каком-нибудь укромном пункте земного шара. Но и тогда англо-американский конфликт, в потенциальной или кинетической форме, подорвет ту призренную стабилизацию, которой достиг буржуазный мир на десятый год после окончания империалистической войны.

Надвигающийся экономический кризис Соед. штатов, усиливающаяся борьба за рынки, роковая неизбежность для Европы потянуться вслед за сползающей Америкой и вместе с ней обрушиться в кризисный хаос, одновременно и расширяет и ускоряет назревающий военный конфликт.

VI.

Назревающая кризисная обстановка открывает новые перспективы к борьбе международного пролетариата и революционным восстаниям угнетенных народов. Весь план империалистов построен на усилении эксплоатации рабочего класса, на подчинении государства трестовским бандам, на стремительном, без всяких сантиментов, «хищническом» использовании профсоюзного и политического реформизма в интересах закабаления рабочего класса. План неплохо задуман, но он имеет тот существенный недо-

статок, что он составлен без хозяина, — без подавляющего большинства населения земного шара.

Первыми жертвами этого плана будет международный реформизм: II и Амстердамский Интернационалы истреплют, расстреляют свой «авторитет» в темпе 1914 г. Это не значит, конечно, что сразу рухнут опирающиеся на буржуазную государственную власть аппараты этих социал-предательских Интернационалов. Но по мере того, как они все откровеннее обнаружат себя как аппарат не только буржуазного обмана, но и буржуазного насилия, упадут последние препятствия, мешающие еще широким массам понять, что коммунистические партии независимо от своей численности являются во всех странах единственными партиями рабочего класса. Сознание этой простой истины наложит решительный отпечаток на все выступления рабочего класса, в частности на характер его участия в избирательной борьбе, которая в течение ближайшего времени развернется в основных капиталистических странах. В этой избирательной борьбе водораздел, как общее правило, будет проходить между коммунистической партией, сознательными пролетариями, революционными крестьянами, с одной стороны, и между буржуазией и ее агентурой — соц.-демократией, с другой.

Дыхание надвигающегося кризиса придает глубоко революционный характер той разрозненной экономической борьбе, которая ведется сейчас отдельными отрядами рабочего класса в отдельных отраслях промышленности главнейших стран. Наступление буржуазии, сопровождаемое ослаблением ее позиций и обострением противоречий в лагере хищников, не может не иметь своим следствием организованное об'единение разрозненных до сих пор выступлений рабочих. Настают дни, когда задачи стачечной стратегии и тактики, которые до сих пор пролетариату не удавалось разрешать таким образом, чтобы дать мощный отпор об'единенному в тресты и картели капиталу, получат совсем иную постановку. «Честное маклерство» организаторов индустриального мира в такой обстановке приведет лишь к тому, что в предстоящей борьбе класс выстроится против класса. Буфера типа Макдональда и Бевина будут выброшены на склад старого ржавого железа. Есть уже первые, хотя и частные, но глубоко показательные симптомы (выборы в профсоюзе горняков в Англии, под'ем стачечной волны во Франции, усиление профсоюзной оппозиции в Германии).

По отношению к колониям политика империализма в предстоящий период будет характеризоваться ростом грабительских аппетитов, с одной стороны, и укорачиванием грабительских рук, с другой. Аппетиты будут увеличиваться, потому что только при помощи возросшей эксплоатации колоний и полуколоний промышленность отдельных конкурирующих стран может надеяться выбраться с меньшим для себя ущербом из кризиса. Но, вместе с тем, борьба в лагере империалистов будет подрубать под корень те средства, которыми они располагают для угнетения и насилия над колониями. Обострения между империалистами откроют новые широкие возможности геройской китайской революции и развяжут революционную борьбу трудя-

щихся Индии. Восстание в Индонезии, загнанное в подполье средствами жесточайшего террора, вздохнет новой жизнью. Во всех колониальных странах — в Египте, Сирии и Марокко — первый признак ослабления грабительского империализма будет и первым сигналом к массовой организации сил в целях национально-революционной борьбы.

Нет еще оснований утверждать, что предстоящий 1928—1929 кризисный период уже окончательно возьмет международную буржуазию за глотку. Но он безусловно к ней подберется.

Исторический смысл гражданской войны 1918—1921 гг. [1]

А. Бубнов.

Гражданская война в истории человечества — явление не новое, так как вся история до сих пор существующего общества была историей борьбы классов, а классовая борьба, обостряясь до своего наивысшего предела, превращалась в гражданскую войну.

Но если гражданская война в истории человеческого общества представляет из себя явление не новое, то гражданская война 1918—1921 гг. является событием гигантского всемирно-исторического значения.

Исключительное всемирно-историческое значение гражданская война 1918—1921 гг. приобретает, во-первых, потому, что Октябрьская революция и развившаяся из нее гражданская война 1918—1921 гг. начали новую эпоху всемирной истории — эпоху мировой пролетарской революции; во-вторых, потому, что она представляет из себя вооруженную борьбу рабочего класса и основной массы крестьянства против капитализма под руководством рабочего класса и его коммунистической партии; в-третьих, потому, что совершивший великий Октябрьский переворот рабочий класс создал новый тип государства — государство советов, и, в-четвертых, потому, что рабочий класс в процессе гражданской войны против помещиков и капиталистов впервые в истории человеческого общества создал Красную армию, которая является орудием диктатуры пролетариата.

Из цепи событий, начавшихся с Октябрьской революции 1917 г. и закончившихся ликвидацией политического бандитизма, растянувшейся до 1922 года, здесь берется только основное, «среднее», звено, а именно — война 1918—1921 гг. Взаимную связанность и единство этому ряду вооруженных столкновений пролетариата с буржуазией придает т о о с н о в н о е обстоятельство, что ряд военных кампаний, в общей совокупности составляющих войну 1918—1921 гг., носил характер классовых битв «организованного в государство» рабочего класса и финансово-капиталистической

---

[1]) Из «Предисловия» к трехтомному изданию «Гражданская война 1918—1921 гг.», выпускаемому изд-ом «Военный вестник» к 10-летию Красной армии.

буржуазии Антанты, которая эту войну против советской республики подготовляла и вела.

В конце июня 1918 года Ленин говорил, что «в России свергнутые эксплоататорские классы помещиков и капиталистов делают все усилия, напрягают все силы к тому, чтобы снова и снова попытаться вернуть себе власть». В июле того же года он, говоря о положения Советской республики, в таких словах характеризовал это контрреволюционное наступление «свергнутых эксплоататорских классов»: «как лакеи англо-французского империализма, они пошли на все, чтобы во что бы то ни стало сделать все, что возможно, против советской власти. Силами самой России они сделать этого не могли и решили действовать не словами, не обращениями, в духе гг. Мартовых, а прибегли к более крупным приемам борьбы, к военным действиям». И тут же он добавлял: «Мы снова попали в войну, мы находимся в войне, и эта война не только гражданская, с кулаками, помещиками, капиталистами, которые об'единились против нас, — теперь уже стоит против нас англо-французский империализм». В конце этой же речи Ленин снова повторял: «мы теперь воюем с англо-французским империализмом и со всем, что есть в России буржуазного, капиталистического, что делает усилие, чтобы сорвать все дело социалистической революции и втянуть нас в войну».

В силу этого обстоятельства в указанные рамки не входят боевые эпизоды Октябрьской революции, военные столкновения Брестского периода, связанные с наступлением австро-германского империализма, и проявления политического бандитизма, бывшего ничем иным, как «охвостьем» гражданской войны 1918—1921 гг.

Октябрьская революция была периодом непосредственной вооруженной борьбы пролетариата против капитализма, закончившейся свержением правительства империалистической буржуазии и завоеванием власти рабочим классом. В апреле 1918 года Ленин этот исторический период характеризовал, как «первую эпоху развития революции, начало которой идет с октябрьских дней...»

За этой «первой эпохой» следует Брестский период, в течение которого, как указывал Ленин, «от сплошного триумфального шествия в октябре, ноябре, декабре на нашем внутреннем фронте, против нашей контрреволюции, нам предстояло перейти к стычке с настоящим международным империализмом в его настоящем враждебном отношении к нам».

Войны с наступавшими на нас германским империализмом мы избегли, ибо пошли на тягчайший для нас Брестский мир.

«Сначала сплошное триумфальное шествие с октября по январь, — говорил Ленин, — а потом вдруг русская революция разбита в несколько недель немецким хищником».

Таким образом, Октябрьская революция и Брестский период по указанным выше причинам должны быть поставлены вне рамок той гражданской войны, которая служит предметом нашего изучения. Но это не означает, что Октябрьская революция и Брестский период отделены сте-

ной от гражданской войны 1918—1921 гг., — наоборот, все эти исторические события неразрывно связаны одно с другим.

Гражданская война 1918—1921 гг., в основном, едина (в указанном выше смысле), но это ни в коем случае не значит, что все военные кампании, ее составляющие, вполне и безусловно однородны.

В этой войне особое место занимала война с Польшей.

В начале войны Ленин говорил, что польская война «является новой попыткой международной буржуазии задушить Советскую Россию» и что «в этом отношении связь между этим нападением и прежними попытками международной буржуазии безусловно есть». Ту же мысль он высказывал и в конце польской войны, говоря, что «главная сила, которая толкала поляков на войну с нами, была, конечно, сила капитала международного, и в первую голову французского», и что «в сущности и Польша, и Врангель — это две руки французских империалистов».

В то же время Ленин отмечал и «громадную разницу» между прежними попытками антантовской буржуазии раздавить советскую власть и этой «последней» попыткой.

«Война с Польшей, — говорил Ленин, — оказалась более войной против Антанты, чем предыдущие войны».

И далее он указывал: «Война против Юденича, Колчака и Деникина была тоже войной против Антанты и была войной России рабочей против всей буржуазной России. И когда она окончилась победой и когда мы разбили Юденича, Колчака и Деникина, то это не было прямое наступление на Версальский мир. С Польшей вышло наоборот, и в этом — отличие войны против Польши, в этом — международное значение Польши».

В этой же своей речи (на с'езде рабочих и служащих кожевенного производства — 8 октября 1920 г.) он еще раз подчеркивал, что «побеждая Юденича, Колчака и Деникина, мы не могли разорвать Версальского мира», «а, наступая на Польшу, мы тем самым наступаем на самую Антанту; разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский мир, на котором держится вся система теперешних международных отношений».

Особое место в войне 1918—1921 гг. занимает и кронштадтский эпизод. С одной стороны, он является последним военным эпизодом этой войны, а, с другой стороны, он начинает собой целый период политического бандитизма, который не может быть включен непосредственно в рамки этой войны, так как он имел место уже в период нэпа.

Таким образом, за нашим наступлением в октябре последовало контрнаступление на нас «отечественных» помещиков и капиталистов, затем наступление на нас австро-германского империализма, в отношении РСФСР прекращенное Брестским миром, и, наконец, длительное наступление, целый «поход» против нас англо-французского империализма, лакеями которого были помещики и буржуазия бывшей царской империи, а участие в котором принимала буржуазия почти всех соседних государств (Черчилль в свое время хвастал даже походом против нас «четырнадцати народов»).

«Гражданская война, — писал Ленин, — есть наиболее острая форма классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических и политических, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения этих столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса».

Гражданская война 1918—1921 гг. повторяет, расширяет и заостряет классовые битвы первой революции 1905 года, Февральской революции 1917 года, предоктябрьского периода и великой Октябрьской революции.

Буржуазная революция в России могла победить и действительно победила только при одном условии, — именно при условии установления революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства. В силу этого не буржуазия, а рабочий класс и поддерживающее его крестьянство могли обеспечить победоносный исход революции 1905 года.

«Исход нашей революции, — писал Ленин, — действительно, зависит больше всего от устойчивости в борьбе многомиллионной массы крестьянства. Буржуазия крупная у нас боится больше революции, чем реакции. Пролетариат один победить не в силах. Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы».

Революция 1905 года дает грандиозную картину экономической борьбы рабочего класса, перерастания экономических стачек в политические, перерастания всеобщей политической стачки в вооруженное восстание, громадную волну военных частичных восстаний и громадную волну крестьянского движения, выливающегося в форме крестьянских частичных восстаний. Стачечное движение в годы первой революции выражалось в следующих цифрах: в 1905 г. бастовало 2 863 173 рабочих, а в 1906 г. — 1 108 406 рабочих.

Нарастание крестьянской революции нашло себе выражение в двух громадных волнах крестьянских выступлений, представлявших единый революционный поток. Первая из них имела место в 1905 г., а вторая — в 1906 году. Рост крестьянского движения в 1905 году выражался в следующих цифрах: число уездов, охваченных движением, составляло за январь-апрель — 85, за май-август — 104 и за сентябрь-декабрь — 261, что дает для последней трети года (момент наивысшего под'ема движения) — 52% к общему числу уездов Европейской России.

Подобный же рост крестьянского движения в 1906 году нашел свое выражение в следующих цифрах: число уездов, охваченных движением, составляло — за январь-апрель — 21, за май-август — 250 и за сентябрь-декабрь — 72, что для второй трети года (момент наивысшего под'ема движения) дает 50% к общему числу уездов. Таким образом, волна крестьянского движения в своем наивысшем пункте, как в 1905, так и в 1906 году,

охватывает половину общего числа уездов Европейской России. Рост революционных военных выступлений наглядно показывают две цифры — в апреле-июне 1905 г. их было всего 2, а в октябре-декабре 89.

В условиях этого массового революционного движения, нередко доходившего до острейших форм гражданской войны, наша партия развернула большую работу по организации вооруженных сил революции (боевые дружины). Эта работа охватывала и организацию вооруженных сил, и технику вооруженных сил, и тактику вооруженных сил.

Гражданская война 1918—1921 гг. воспроизводила не только массовое движение основных классовых сил, двигавших революцию 1905 года, но, в известной степени, и базировалась на том боевом опыте, который был приобретен нашей партией в период первой Российской революции.

Февральская революция 1917 года, в иной международной обстановке, на иной экономической базе и при иных соотношениях классовых сил страны, повторяла и расширяла гигантские классовые столкновения революции 1905—1907 гг.

«Без революции 1905—1907 годов, без контрреволюции 1907—1914 годов, — писал Ленин, — невозможно было бы такое точное «самоопределение» всех классов русского народа и народов, населяющих Россию, определение отношения этих классов друг к другу и к царской монархии, которое проявило себя в восемь дней Февральско-мартовской революции 1917 года. Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, «разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций; «актеры» знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия».

Та исключительная быстрота, с которой рухнула царская монархия в феврале 1917 года, обусловливалась тем, как отмечал Ленин, что «в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные стремления», но свергли царизм революционные рабочие и солдаты. Рабочее движение нарастало на протяжении всех лет войны. В сентябре 1915 г. число стачечников достигает 114 тысяч, а в октябре 1916 года доходит до цифры в 187 тысяч. Общее число стачечников в 1915 году равнялось 540 тыс., а в 1916 году оно поднялось до цифры 957 тысяч стачечников. Наряду с этим имели место и уличные рабочие демонстрации, — например, в Костроме в июне 1915 года и в Иваново-Вознесенске — в августе того же года. А одновременно с этим нарастало глухое брожение и в недрах царской армии, которое находило себе различные формы внешнего выражения.

В начале 1917 года рабочее движение продолжает нарастать: в январе бастовало 244 тыс., из них — 66,4% по политическим причинам, а в феврале — 432 тыс., из них по политическим причинам — 95,6%.

Февральская революция свергла царизм. «Революционные рабочие и солдаты, — писал Ленин, — разрушили до основания гнусную царскую монархию, не восторгаясь и не смущаясь тем, что в известные, короткие, исключительные по кон'юнктуре исторические моменты на помощь им приходит борьба Бьюкенена, Гучкова, Милюкова и К°, желавших только смены одного монарха другим».

Это была борьба «за свободу, за землю для крестьян, за мир против империалистической бойни».

Предоктябрьский период дает опять-таки картину непрерывного нарастания революционного движения рабочих и крестьян, после июльских дней направленного против правительства «крепнущей бонапартистской контрреволюции».

Массовое движение от февраля к октябрю шло через апрельские демонстрации, июльские дни, корниловщину, через нарастание революционного движения в деревне и армии и, наконец, через сентябрьские победы большевизма в Петрограде и Москве. И опять-таки мы видим непрерывное нарастание двух революционных потоков — движения рабочих и солдат в городах и движения крестьян в деревнях при руководящей роли во всем движении рабочего класса.

В силу этого в предоктябрьский период закладываются прочные предпосылки победоносного Октябрьского переворота.

Военный опыт нашей партии, приобретенный ею за годы первой революции, был повторен, приумножен и расширен в течение тех восьми месяцев, которые лежат между февралем и октябрем (Красная гвардия).

Гражданская война 1918—1921 гг., в новой обстановке и при новом соотношении классовых сил, воспроизводит тот опыт классовых столкновений и организации вооруженных сил революции, который был накоплен нашей партией и рабочим классом на протяжении от февраля к октябрю и, в особенности, за месяцы, лежащие после июльских дней, — между июлем и октябрем.

Ленин, определяя причины победы Октябрьской революции, между прочим, указывал на то, что эта победа была обусловлена, во-первых, тем, что «отсталость России своеобразно слила пролетарскую революцию против буржуазии с крестьянской революцией против помещиков», и, во-вторых, тем, что мы имели такую «генеральную репетицию», как революция 1905 года. «Без такой генеральной репетиции, как в 1905 году, — писал Ленин, — революции в 1917 году, как буржуазная февральская, так и пролетарская октябрьская, были бы невозможны».

И здесь мы снова встречаемся с двумя потоками движения: с революционным движением рабочих в городах и с революционным движением крестьян и солдат в деревне и в армии. После июльских дней буржуазия нападает, — рабочий обороняется. После корниловщины движение рабочих в городах развертывается как наступательное движение против правительства Керенского. В предисловии к «Рабочему движению в 1917 году» мы читаем, что «политическая борьба корниловских дней не прекращается

с арестом Корнилова. Приобретая самые разнообразные формы в разных пролетарских слоях, она непосредственно входит составной частью в Октябрьский бой рабочего класса с буржуазией». Предисловие отмечает также, что «во всех предоктябрьских требованиях рабочих, борющихся за советскую власть, неразрывно переплетаются такие политические требования, как требование рабочего контроля, ограничение прибылей заводчиков, национализация предприятий, борьба с локаутчиками, с такими, как передача земли крестьянам и требование мира. Рабочий, — подчеркивает предисловие, — выступает не только в роли борца за свои интересы, но и в роли вождя крестьянских и солдатских масс».

Армия, солдатские массы, измученные войной, добивавшиеся мира во что бы то ни стало, в сентябре-октябре «откалываются» от правительства, отказываются поддерживать «порядок», резко и окончательно поворачивают против правительства.

Движение в деревне дошло до крестьянского восстания. Предисловие к «Крестьянскому движению в 1917 году», на основании анализа обширного материала по крестьянскому движению того времени, отмечает, что «в сентябре и октябре аграрное движение поднимается на уровень крестьянской войны». В предисловии указывается, что число имений, охваченных движением, в сентябре выросло на 30,2% против августа, а в октябре снова поднялось еще на 43,2% в сравнении с сентябрем.

В своей речи в первую годовщину Октябрьской революции Ленин говорил: «Мы ограничивались в октябре тем, что старого векового врага крестьян, помещика-крепостника, собственника латифундий, смели сразу. Это была общекрестьянская борьба. Тут еще внутри крестьянства не было делений между пролетариатом, полупролетариатом, беднейшей частью крестьянства и буржуазией». А в четвертую годовщину Октябрьской революции он, рассматривая ту же тему, писал: «Мы довели буржуазно-демократическую революцию *до конца*, как никто», и, развивая то же положение, подчеркивал: «Мы решили вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимоходом, как «побочный продукт» нашей главной и настоящей *пролетарски*-революционной социалистической работы».

Октябрьская революция продолжает, расширяет, обогащает и заостряет гигантский опыт массового движения рабочих и крестьян двух предшествующих буржуазных революций. Гражданская война 1918—1921 гг. продолжает Октябрьскую революцию, но продолжает, поднимая ее на высшую ступень, делая борьбу широчайших масс еще более массовидной, еще более грандиозной, напряженной и обостренной, гигантски раздвигая рамки этой борьбы и еще более мощным потоком выходя на арену классовых столкновений международного масштаба.

Октябрьская революция 1917 года и гражданская война 1918—1921 гг. неразрывно связаны одна с другой.

Октябрьская революция начала превращение империалистической войны в войну гражданскую.

«Первый раз за сотни и тысячи лет, — писал Ленин, — рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратили эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций». И не только провозгласили этот великий лозунг, но и добились его осуществления.

«Первый раз за сотни и тысячи лет, — писал Ленин, — обещание «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется вопреки всем трудностям».

Если Октябрьская революция 1917 года начала это великое дело, то гражданская война 1918—1921 гг., через миллионы трудностей, довела его до конца.

Пролетарская Октябрьская революция дала образец перерастания буржуазно-демократической революции в революцию пролетарско-социалистическую. «Первая, — писал Ленин, — перерастает во вторую. Вторая мимоходом решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой».

Гражданская война через борьбу и миллионы трудностей на протяжении трех лет практически двигала вперед это «перерастание». И если Октябрьская революция 1917 года вступила на путь «перерастания одной революции в другую», то гражданская война 1918—1921 гг. это дело расширяла и практически закрепляла.

Октябрьская революция была движением широчайших народных низов под руководством рабочего класса. Предисловие к «Крестьянскому движению в 1917 году» совершенно правильно замечает, что «только рабочий класс, нанеся решительный удар буржуазии в центрах страны, мог сделать победоносным крестьянское восстание».

В свое время Ленин указывал, что «судьба и исход русской революции» будут решены в зависимости от того, «удастся ли городскому пролетариату повести за собой сельский пролетариат и присоединить к нему массу полупролетариев деревни, или эта масса пойдет за крестьянской буржуазией, тяготеющей к союзу с Гучковым, Милюковым, капиталистами и помещиками и контрреволюцией вообще».

Проблема руководства народным движением со стороны рабочего класса, проблема осуществления гегемонии пролетариата в ходе массовой революционной борьбы с помещиками и капиталистами за социализм была серьезнейшей проблемой пролетарского революционного движения. До октября крестьянские массы, мелкобуржуазные массы вообще, неоднократно колебались между пролетариатом и буржуазией. Те же колебания нашли свое отражение и в ходе Октябрьской революции, и те же самые колебания, только еще в более острой форме, наблюдали мы на протяжении всех трех лет гражданской войны.

В первые месяцы гражданской войны, «когда кулацкое восстание пробежало по всей России», — тогда «в деревнях повсюду поднялись трудовые, эксплоатируемые элементы, поднялись с пролетариатом городов», и этим самым, как подчеркивал Ленин, был сделан «первый и величайший шаг со-

циалистической революции в деревне». И в своей речи на заседании VI всероссийского с'езда советов, в день годовщины Октябрьской революции, Ленин говорил: «И тот, кто наблюдал деревенскую жизнь, кто соприкоснулся с крестьянскими массами в деревне, говорит: Октябрьская революция городов для деревни стала настоящей Октябрьской революцией только летом и осенью 1918 года».

Если Октябрьская революция 1917 года в практике движения воплотила гегемонию рабочего класса, то гражданская война 1918—1921 гг. этот величайший принцип революционного движения неуклонно проводила в жизнь и этим обеспечивала себе неизменные победы.

Соотношение классовых сил, острота и размах борьбы, характер ее как в Октябрьской революции, так и в вытекшей из нее трехлетней гражданской войне, могут быть уяснены и поняты лишь при учете тех экономических и политических изменений, которые произошли в стране на протяжении предшествующего десятилетия, а также и того совершенно исключительного опыта классовой борьбы, который был приобретен широчайшими народными массами, — массами рабочего класса, в первую очередь, — за тот же, примерно, период времени.

За 1907—1914 гг. в области сельского хозяйства произошли крупные изменения. В основном они сводились к следующему: значительно продвинулась вперед ликвидация дворянского землевладения, в результате которой за семь лет, прошедших между 1906 и 1912 гг., из рук дворянства ушло свыше 12% всей площади дворянского землевладения, а к продаже было пред'явлено свыше 25% всех дворянских земель; одновременно с этим, в известной степени в результате столыпинского закона 9 ноября, произошла мобилизация надельной земли и усиление сельской буржуазии, при углублении процесса обнищания крестьянских масс и росте резервной армии рабочих; при росте хлебных цен как за границей, так и на внутреннем рынке, элементы капиталистического хозяйства развивались и крепли, и, как результат этого, помещик-крепостник отходил на второй план в экономике сельского хозяйства, а на первый план выдвигался помещик-капиталист.

За те же годы в промышленности вполне обозначилось и оформилось развитие финансового капитала, выразившееся в развитии капиталистических монополий, в росте трестирования и синдицирования, в сращивании и подчинении промышленности банковому капиталу и в возрастании связи и подчинения его европейским финансово-капиталистическим группам (при преобладающем значении англо-франко-бельгийского капитала). В качестве иллюстрации этого процесса можно привести следующие данные: в 1913 году на 6,5% всего крупных фабрик и заводов Европейской России (свыше 1 000 рабочих) было сосредоточено 44,6% общего количества рабочих; в том же году в металлургии банкам были подчинены акционерные общества, основной капитал которых составлял 87,9% всего металлургического капитала, а по отдельным отраслям железной промышленности это подчинение выражалось в таких цифрах: по доменному производству — 96,5%, по чугуну и железу — 55,2%, по железным рудам — 61,1%, по паровозостроению —

100%, по вагоностроению — 81,0% и по судостроению — 96,0%. В свою очередь, в крупнейших отраслях промышленности (в горной, металлургии, электрической и пр.), а также и в русских банках командующую роль играл иностранный, в первую очередь — антантовский, капитал.

Наряду и в связи с этим происходил процесс консолидации промышленного пролетариата, который, — здесь оказывало свое влияние и аграрное столыпинское законодательство, — разрывал свои последние связи с землей и нищенским деревенским хозяйством.

Таким образом, происходило усиление капиталистических элементов в сельском хозяйстве и рост финансово-капиталистической буржуазии в промышленности и торговле.

Мировая война ускорила развитие этого процесса и еще более обострила классовые противоречия как в городе, так и в деревне.

На одном полюсе происходила консолидация всех капиталистических элементов под главенством финансово-капиталистической буржуазии, а на другом — революционный блок промышленного пролетариата с пролетариями и полупролетариями деревни.

Мировая война 1914—1918 гг., произведя гигантские разрушения производительных сил в Европе и усилив элементы государственно-монополистического капитализма, укрепила предпосылки социалистической революции, поставив ее как очередную задачу перед массами международного пролетариата.

Таковы были социально-экономические предпосылки, на основе которых развернулась Февральская революция и которые нашли свое отчетливое отражение как в классовой борьбе периода между февралем и октябрем, так и в ходе Октябрьской революции.

И если Октябрьская революция 1917 года отразила соотношение классов, сложившееся на основе тех перемен в экономике страны, которые имели место за 1907—1917 гг., то печать их лежит и на развитии гражданской войны 1918—1921 гг.

Ход и исход гражданской войны был бы непонятен, если бы ей не предшествовали классовые столкновения трех революций, а также и жесточайшие испытания для рабочих и крестьян в годы реакции и в годы мировой войны.

То, что говорил Ленин об опыте Февральской революции, целиком и полностью относится к опыту великого десятилетия — от первой революции 1905 года до Октябрьской революции 1917 года.

Значение этого опыта состоит в том, что он показал, — говоря словами Ленина, — «все классы (и все главные партии) русского общества в их действительной природе, в действительном соотношении их интересов, их сил, их способов действия, их ближайших и дальнейших целей».

Гражданская война 1918—1921 гг. унаследовала также исключительный по своему богатству и разнообразию опыт массовой борьбы. К нему вполне применимы слова Ленина, говорившего, что ни в одной стране «не

было пережито даже приблизительно так много в смысле революционного опыта, быстроты и разнообразия смены различных форм движения, легального и нелегального, мирного и бурного, подпольного и открытого, кружкового и массового, парламентского и террористического. Ни в одной стране не было сконцентрировано на таком коротком промежутке времени такого богатства форм, оттенков, методов борьбы всех классов современного общества, притом борьбы, которая, в силу отсталости страны и тяжести гнета царизма, особенно быстро созревала, особенно жадно и успешно усваивала себе соответствующее «последнее слово» американского и европейского политического опыта».

Ход и исход гражданской войны зависел также и от того, что во главе рабочего класса и всех революционных сил, боровшихся против помещиков и капиталистов, стояла закаленная в боях и в великих политических испытаниях большевистская партия, причем такая партия, которая свою борьбу и свое революционное руководство основывала на самой передовой и самой революционной теории.

«Марксизм, — писал Ленин, — как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

Гражданская война 1918—1921 гг. велась «освободившими себя рабочими и крестьянами» и являлась «продолжением политической борьбы за освобождение трудящихся от капиталистов своей страны и всего мира». Она развернулась на территории, занимавшей шестую часть земного шара, и сочетала в себе военные действия регулярных армий, офицерско-кулацкие восстания в тылу и на фронте, белогвардейские заговоры, саботаж чиновников, а также и прямое вооруженное содействие, экономическую блокаду, шпионаж и самые разнообразные происки и интриги сильнейших групп мирового империализма, не останавливающиеся ни перед чем, чтобы раздавить республику советов.

«Наша война, — писал Ленин, — является продолжением политики революции, политики свержения эксплоататоров, капиталистов и помещиков». И именно поэтому она и вызвала такое бешеное сопротивление всех эксплоататоров и такую исключительную настойчивость в намерении раздавить советское государство со стороны английских, французских, американских и японских капиталистов, которые не только оказали всестороннюю помощь генеральским армиям, кулацким восстаниям и офицерским заговорам, но и двинули свои собственные вооруженные отряды на территорию Советской республики.

Когда Ленин на заседании ВЦИКа 29 июля 1918 г. оценивал военное положение Советской республики, то, имея уже к тому времени мурманский десант, чехо-словацкий фронт, Туркестан, Баку и Астрахань, он подчеркивал, что «мы имеем здесь дело с систематическим, неуклонным, очевидно, давно обдуманным, месяцами подготовлявшимся всеми представителями

англо-французского империализма, военным и финансовым контрреволюционным походом на Советскую республику».

Ленин предвидел неизбежность гражданской войны, когда в феврале 1918 г. писал: «Россия идет к новой и настоящей отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение советской власти». И тогда он уже тщательно анализировал и определял те основные предпосылки, которые сделают эту войну для нас, если можно так выразиться, «приемлемой». А в конце ноября 1919 года, после многочисленных побед на фронтах, Ленин указывал, что истекшие два года показали, «с одной стороны, возможность развития революционной войны, а с другой стороны, укрепление советской власти под тяжелыми ударами иностранного нашествия».

В марте 1920 года, в речи на Всероссийском с'езде трудовых казаков, Ленин, рассматривая вопрос о причинах нашей победы в гражданской войне, говорил так: «Мы одержали победу потому, что мы могли присоединить союзников из лагеря наших врагов. А наши враги, бесконечно более могущественные, потерпели поражение потому, что между ними не было, не могло быть и не будет единства, и каждый месяц борьбы с нами для них означал распад внутри их лагеря».

В этих словах Лениным была дана законченная формулировка основных причин, обусловивших нашу победу в гражданской войне. Но к этому вопросу на протяжении всех лет гражданской войны Ленин возвращался неоднократно и со всей тщательностью устанавливал корни наших побед.

Мы победили потому, что в ходе гражданской войны завоевали и укрепили единство всех эксплоатируемых и угнетенных масс в нашей стране, завоевали «сочувствие и поддержку большинства рабочих и трудящихся крестьян» не только Сибири и Урала, но, в конце концов, и Украины. Мы победили потому, что имели «крепкий тыл, что масса крестьян и рабочих, несмотря на голод и холод, сплочены, окрепли, и на каждый тяжелый удар отвечают увеличением сцепления сил и экономической мощи». Мы победили потому, что «трудящиеся стран Антанты оказались ближе к нам, чем к своему собственному правительству», победили потому, что «отняли у Антанты ее солдат». Мы победили потому, что в лагере империализма, который вел против нас войну, не было и не могло быть единства и согласия. Мы победили потому, что научились «защищаться» и создали рабоче-крестьянскую Красную армию, а также и потому, что «в организации Красной армии были великолепно осуществлены последовательность и твердость пролетарского руководства в союзе рабочих и трудящегося крестьянства против всех эксплоататоров». И, наконец, мы победили потому, что сумели установить «правильное соотношение между руководящей коммунистической партией, революционным классом — пролетариатом и массой, т. е. всей совокупности трудящихся и эксплоатируемых».

Великая трудность победы многократно обнаруживалась в ходе трехлетней гражданской войны, но с особенной наглядностью выяснилась она во время польской кампании.

Ленин неоднократно указывал, что гражданская война 1918—1921 гг. была «международной войной против Советской республики». В польской войне это было обнаружено с особенной остротой, ибо, «наступая на Польшу, мы тем самым наступаем на самую Антанту».

С точки зрения грядущих военных столкновений опыт гражданской войны 1918—1921 гг. имеет исключительное значение, так как он вскрыл методы ведения классовой войны рабочих и крестьян против капитализма, а также установил всю совокупность тех условий, которых необходимо добиться для того, чтобы обеспечить себе победу в гражданской войне между пролетариатом и буржуазией.

В теснейшей связи с изучением опыта гражданской войны стоит вопрос об организации вооруженных сил революции в ходе самой войны. В начале 1918 г. советское государство не имело армии, а в конце 1918 г. уже был заложен фундамент боеспособной Красной армии.

В начале марта 1918 г. Ленин говорил: «армии нет, удержать ее невозможно», а в день первой годовщины Октябрьской революции он имел уже возможность констатировать: «от этой беззащитности мы пришли к могучей Красной армии».

Задача организации вооруженных сил пролетариата, «организованного в государство», являлась труднейшей из задач, ибо «вопрос о строении Красной армии, — как указывал Ленин, — был совершенно новый, он совершенно не ставился даже теоретически».

За первые полтора года существования советского государства была создана боеспособная Красная армия и был решен ряд важнейших военно-организационных проблем, имевших крупнейшее политическое значение. Разрешение этой задачи было максимально облегчено тем, что налицо имелись как большие запасы вооружения, так и миллионные кадры обученных военному делу рабочих и крестьян.

В конце 1918 г. Ленин писал, что «новый общественный класс» не может укрепить своего господства «иначе, как постепенно вырабатывая в тяжелой гражданской войне новую армию, новую дисциплину, новую военную организацию нового класса». И вот, в процессе создания этой «новой военной организации нового класса» и приходилось нашей партии решать ряд важнейших организационных проблем.

В своей речи на митинге в Петрограде в марте 1919 г. Ленин, между прочим, говорил: «Социалистическую революцию нельзя совершить без рабочего класса; ее нельзя совершить, если в рабочем классе не накоплено столько сил, чтобы руководить десятками миллионов забитых капитализмом, измученных, неграмотных и распыленных деревенских людей».

В той же речи он выдвигал и вопрос «о военных специалистах», давая ему (несколько позже, в другом месте) такую формулировку: «Задача соединить вооружение рабочих и крестьян с командованием бывших офицеров, которые большей частью сочувствуют помещикам и капиталистам, — есть труднейшая задача».

В Красной армии во время гражданской войны мы имели миллионы «деревенских людей» и «тонкую прослойку руководящего класса пролетариата». И при таком классовом составе армии, при таком количественном соотношении рабочих и крестьян в армии, необходимо было создать такую Красную армию, которая была бы могучим орудием диктатуры пролетариата.

В начале гражданской войны мы должны были строить Красную армию, не имея собственного военного опыта и имея многочисленные кадры старых военных специалистов, обладавших знанием военного дела и боевым опытом. При этом условии необходимо было, используя «военных специалистов», создать социалистическую Красную армию. Разрешение этих задач целиком и полностью упиралось в необходимость обеспечения в армии руководящей роли коммунистической партии. И одновременно с этим обе эти политические задачи требовали разрешения ряда вопросов организационного порядка.

Ленин говорил, что «война есть не только продолжение политики, она есть суммирование политики в этой неслыханно-тяжелой войне, которую взвалили на нас помещики и капиталисты при помощи всемирно-могущественной Антанты».

В процессе гражданской войны и происходило «обучение политике» основных масс крестьянства. В этой борьбе за крестьянские массы, в борьбе за середняка Красная армия сыграла крупнейшую роль, ибо Красная армия, в которой было большинство крестьян, сделалась «орудием просвещения крестьянства».

Это было важнейшим условием для создания боеспособной армии, и этого мы добились «работой по-новому, политической пропагандой на фронте, организацией коммунистов нашей армии, самоотверженной организацией и борьбой лучших людей рабочей массы», т. е. организацией политработы и организацией партийно-политического аппарата внутри армии.

Красная армия была «орудием использования буржуазных специалистов». И опять-таки это можно было сделать только «силой новой организации, товарищеской организацией трудящихся», т. е. созданием в армии такой системы «организующих сил», которая «охватила бы их (буржуазных специалистов. *А. Б.)* полностью, подчинила бы себе, заставила бы итти по нашим рельсам, служить нашему делу». И Ленин подчеркивал, что здесь «одним насилием ничего не сделаешь. Тут, в добавление к насилию, после победоносного насилия, нужна организованность, дисциплина и моральный вес победившего пролетариата, подчиняющего себе и втягивающего в свою работу всех буржуазных специалистов».

И это условие в Красной армии эпохи гражданской войны было опять-таки обеспечено «организацией коммунистов в нашей армии, самоотверженной организацией и борьбой лучших людей рабочей массы», т. е. организацией политработы, организацией института военных комиссаров и организацией партийно-политического аппарата внутри армии.

Изучение опыта гражданской войны с точки зрения извлечения из него уроков, полезных для грядущих военных столкновений, должно оста-

новиться на тех основных моментах, через которые прошли как организация политработы, так и организация всех составных частей партийно-политического аппарата Красной армии.

На VIII с'езде партии Лениным был поставлен вопрос: «как создать своих командиров классу, который до сих пор играл роль серой скотины для командиров господствующего империалистического класса?»— И тут же он эту задачу формулировал как «задачу сочетания энтузиазма нового революционного творчества с использованием того запаса и склада буржуазной науки и техники милитаризма в самых худших их формах, без которых он не сможет овладеть современной техникой и современным способом ведения войны». В процессе гражданской войны, при решении этой задачи, мы шли двояким путем: с одной стороны, мы «сочетали» буржуазного специалиста и рабочего комиссара, а, с другой стороны, мы шли путем подготовки «к командным должностям» рабочих и передовых крестьян.

В результате успешной работы в этих обоих направлениях и выдвинулась проблема единоначалия, которая, будучи поставлена в период гражданской войны, была разрешена в Красной армии, прошедшей через военную реформу 1924 г.

Таким образом, в ходе гражданской войны выдвигался целый ряд военно-организационных задач, имевших крупнейшее политическое значение. И эти задачи, ставящиеся в процессе строительства Красной армии как задачи политического порядка, находили свое разрешение лишь в результате создания внутри армии таких организационных предпосылок, которые в полной мере обеспечивали «сосредоточение политического руководства армии» в руках рабочего класса и его партии.

Гражданская война 1918—1921 гг. была великой классовой войной «организованного в государство» пролетариата против империализма. В ходе ее впервые в истории человеческого общества создалась Красная армия, являвшаяся орудием диктатуры рабочего класса.

Личное и общественное.

(Страничка из истории русской общественности).

П. Лепешинский.

Проблема об отношении индивидуального «я» к обществу разрешалась в разное время по-разному, представляя и по-сейчас огромный интерес.

Для того, чтобы ближе присмотреться к явлению выкристаллизования отдельной личности из того конгломерата общественных единиц, которые ее окружают, вспомним историю нашей общественности, ограничиваясь пореформенной эпохой, чтобы не забираться слишком далеко в глубь времен.

Раскрепощение крестьян дает колоссальный толчок развитию капитализма в пореформенной России. Это отсталое государство становится ареною таких общественных и экономических сдвигов, которые сулят стране широчайшие возможности в ближайшем будущем. В ней намечается что-то вроде «третьего элемента», и период первого расцвета в ней капитализма сопровождается появлением на ее исторической сцене новых кадров интеллигенции из рядов, главным образом, разночинного служилого сословия. Новорожденная интеллигенция чувствовала прежде всего повышенный спрос на нее в обновленном строе (тогдашние представления об этом «обновлении» страны, продолжавшей оставаться под знаком неизжитой еще полукрепостнической дворянской диктатуры, нуждались, впрочем, в существенных ограничениях).

В своих «Письмах без адреса», написанных в 1862 г., Чернышевский настойчиво требует от правительства Александра II привлечения к делу реформы представителей либеральной интеллигенции (или «либеральной партии», как он ее называет, ставя знак равенства между этим понятием и термином «просвещенные люди»). Дело уничтожения крепостничества, по словам автора «Писем без адреса», придумано не властью, не бюрократией, а потому власть и не может быть полною хозяйкой в этом деле [1]). В противном случае, по пророчеству Чернышевского, вся реформа обречена на неудачу, крестьяне изверятся в ней и ответят на полумеры волнениями, и выйдет совсем не то, что властно диктуется стране всех ходом истории. А между тем время не ждет. События идут с головокружительной быстротой. «Приходит такое время, — говорит Чернышевский все в тех же письмах, —

---

[1]) См. Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. XI, стр. 301 и др.

что беспрестанно совершаются новости, и вся обстановка жизни быстро переделывается». И вот, в эту-то лихорадочную эпоху быстрых сюрпризов интеллигентское самомнение растет не по дням, а по часам. Интеллигенции начинает казаться, как казалось когда-то и просветителям XVIII века во Франции, что «разум» — творец истории.

Наиболее ярким выразителем российского «просветительства» является Писарев, типичнейший властитель дум разночинной интеллигенции. Распространение знаний, по мнению наших «просветителей», это — панацея для разрешения всех социальных проблем и всех социальных зол. Наука, по мнению Писарева, единственное радикальное средство против социальных болезней, которое, впрочем, тогда лишь подействует, если его будут принимать «не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками». Но как же достигнуть того, чтобы такой факт приема науки достаточными дозами стал делом возможным и легко осуществимым? Для этого «надо увеличить число мыслящих людей в тех классах общества, которые называются образованными. В этом вся задача. В этом альфа и омега общественного прогресса». «Судьба народа решается не в народных школах, а в университетах».

«В науке, и только в ней одной, заключается та сила, которая, н е з а в и с и м о о т и с т о р и ч е с к и х с о б ы т и й (подчеркнуто мною. *П. Л.*), может разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда». «Весь ход исторических событий всегда и везде определялся до сих пор количеством и качеством умственных сил, заключающихся в тех классах общества, которые не задавлены нищетой и физическим трудом».

Нет надобности умножать цитаты, выражающие излюбленную идею Писарева о значении в жизни общества таких факторов «прогресса», как наука и ее носительница — интеллигенция. Достаточно будет читателю перелистать страницы основного выражения символа веры Писарева—его статью о «Реалистах», откуда взяты и вышеприведенные цитаты, чтобы иметь полное представление о взглядах по данному вопросу одного из типичнейших «просветителей» 60-х годов.

Нельзя, однако, сказать, что такие властители дум в 60-х годах, как Писарев или Чернышевский (особенно последний, много превосходящий Писарева и спокойной вдумчивостью, и философской образованностью), считали мыслящее и чувствующее «я» индивидуума, со всеми его особенностями характера и мировоззрения, продуктом свободного самодовлеющего развития. В одной из своих самых зрелых статей — «Французский крестьянин в 1789 году» — Писарев возвышается до такого анализа общественных условий «бытия», порождающих ту или иную классовую идеологию, который до некоторой степени сближает его с адептами марксизма, нашедшего себе отклик в умах некоторой части российской интеллигенции лишь спустя 20—25 лет после смерти автора «Реалистов». На этот раз Писарев уже признает, что не только интеллигенция делает историю, но и масса, которой приходится болезненно испытывать на своей шкуре всю сумму разнородных

общественных зол. «В цивилизованной Европе, — говорится в указанной статье Писарева, — трудно найти хоть один уголок, в котором самосознание масс не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самого серьезного и неизгладимо-благодетельного влияния на общее течение исторических событий». Писарев в восторге от авторов (Эркмана и Шатриана) рецензируемой им книги, ибо «они (авторы) стараются ввести читателя в ту таинственную лабораторию, почти недоступную для историка, где вырабатывается — из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий — тот великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом божиим, т. е. определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий».

Правда, здесь имеется в виду определение хода исторических событий «гласом народа» только в исключительные моменты, когда количество пассивных протестов массы переходит в качество активной и всесокрушающей революции; здесь еще не выявляется в открытой форме тезис о постоянном и непрерывном воздействии на ход истории той молекулярной энергии вольных движений в недрах масс, которая сама определяется эволюцией в области организации производства, а в связи с этим и изменением производственных отношений. А все-таки в данном случае мы наблюдаем уже у Писарева большой шаг вперед: на этот раз не Брем с его «Иллюстрированной жизнью животных» является универсальным символом социального прогресса, а та таинственная лаборатория, где вырабатывается «глас народа».

О том, что личное «я» человека детерминировано, ограничено и предопределено окружающими личность обстоятельствами, об этом очень хорошо знал и Чернышевский. Еще задолго до того времени, когда по адресу такого антипода Лопуховых и Кирсановых, как Марья Алексевна (в романе «Что делать?»), Чернышевским было написано «похвальное слово» с намерением понять, об'яснить и с исторической точки зрения если и не вполне оправдать, то, по крайней мере, найти известное raison d'être (право на существование) типичнейшего мещанства в недрах общественной жизни, — чуть ли не с первых же шагов своего литературного самоопределения виднейший властитель дум нашей «просветительской» эпохи облюбовал амплуа защитника «человеческих слабостей», предопределенных «фальшивым положением» провинившегося индивидуума. Вот, например, еще в 1857 году он наводит свой критический прожектор на «Губернские очерки» Щедрина. Перед ним вырисовываются фигуры нового типа коммерческих людей, представителей нарождающегося грюндерства, «аматеров мошенничества», — словом, всякого рода хитрых дельцов, всплывших на поверхность жизни в связи с нарождением новых, буржуазных условий общественного бытия. Чернышевский не любитель обличительных поз. Правда, он не берется быть адвокатом просто «злых, ненавистных и гнусных» персонажей, выведенных в «Очерках», но по отношению к «дельцам» у него несколько иное отношение: порочны-то они порочны, что и толковать, но, «при других обстоятельствах, могли бы и эти люди отстать от своих дурных привычек». И он

самым внимательным образом рассматривает, какие обстоятельства породили эти пороки, и как, при наличности данных исторических условий, личность «аматера» и не могла бы быть иной. Одним словом — все дело в обстоятельствах: «Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер».

Хорошо сказать: «Отстраните пагубные обстоятельства». Но как это сделать, вот в чем самый существенный вопрос. И Писарев, например, хорошо знает, что капиталистическая эксплоатация трудящихся — это несомненный факт жизни, против которого «надо не возмущаться, а, напротив того, действовать так, чтобы этот неизбежный факт обратился на пользу самого народа».

Но как действовать?

Вот тут-то умный и всегда находчивый, искренний друг обездоленных (в этом не может быть никакого сомнения), Дмитрий Иванович Писарев произносит такую тираду: «У капиталиста есть ум и богатство. Эти два преимущества упрочивают за ним господство над трудом. Но господство это, смотря по обстоятельствам, может быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование, — он сделается пиявкой. А дайте ему полное, прочное, чисто-человеческое образование — и тот же самый капиталист сделается не благодетельным филантропом, а мыслящим и расчетливым руководителем народного труда, то есть таким человеком, который во сто раз полезнее всякого филантропа. Откройте умному человеку доступ к тем сильнейшим наслаждениям, которые мы находим в умственном труде и в полезной деятельности, и этот человек, кто бы он ни был, миллионер или пролетарий, несомненно пристрастится к этим наслаждениям и непременно поймет, что быть превосходным общественным деятелем приятнее, чем извлекать из своего капитала какие бы то ни было жидовские проценты» [1]).

И это говорит тот самый Писарев, который в своей статье «Подрастающая гуманность» в примерном диалоге припирает к стене помещика-либерала и неотразимыми аргументами доказывает «несчастной» жертве своего собственнического положения неизбежность стоящей перед нею альтернативы — либо быть пиявкой на мужицком теле, либо превратиться в пролетария, живущего только собственным трудом, если только добродетельный либерал не хочет быть эксплоататором. Но указанное противоречие имеет не случайный характер.

В дебрях этой именно антиномии и путалась мысль наших просветителей-шестидесятников. Развитие капитализма неизбежно — это они хорошо понимают и чувствуют. Они, представители умственного пролетариата, отнюдь не защитники капиталистической эксплоатации, и все их симпатии на стороне трудящихся масс. Перед ними маячит социализм, как полное разрешение в будущем всех социальных противоречий. Однако они не видят путей к этому социализму, они не догадываются еще, что клас-

---

[1]) Д. И. Писарев, Сочинения (в 6 томах), т. IV: «Реалисты», стр. 132.

совая борьба пролетариата, порожденного самим же процессом развития капитализма, — борьба против собственнических основ производства является единственным способом разрубить гордиев узел социальных противоречий капиталистического общества. И это «недомыслие» не их вина, а их «беда», исторически неизбежный трагизм их мировоззрения, ибо в окружающей жизни они не видят еще тех социальных движущих сил, которые впоследствии способны будут стать непосредственным фактором ликвидации капиталистического строя. Их иногда восхищает революционное движение масс в эпоху Великой Французской революции или освободительная борьба в Италии, но классовая нерасчлененность сермяжной России не дает еще для их сознания диалектически жизненного содержания по части материалистических представлений о подлинных исторических процессах, которые будут иметь место завтра или послезавтра. Они стоят на точке зрения утопического социализма и совершенно абстрактно решают вопрос о разрешении диалектических противоречий в недрах капиталистического общества. Общественное с о з н а н и е, дескать, когда-нибудь поднимется на высшую ступень, люди п о й м у т, что им невыгодно быть эксплоататорами, для всех в ы я с н я т с я все преимущества коллективного хозяйства над индивидуальным, — одним словом, у м с т в е н н ы й прогресс в жизни человечества подскажет в конце концов этому человечеству самый выгодный и самый безобидный для всех хозяйственный строй. А что именно обусловливает умственный прогресс? Какими факторами бытия определится искомое сознание? На это шестидесятники не могут подыскать никакого иного ответа, как только гордое указание на науку. Брем — «сим победиши», — наивно говорит Писарев. «Нужно, чтобы «новые люди» проштудировали трактат по политической экономии Милля с точки зрения критики его под углом зрения социалистической концепции, и тогда найдется не одна Вера Павловна из числа охотников строить швейные и иные мастерские на коллективистических началах», — думает автор «Что делать?».

— За чем же, однако, остановка?

— Лишь за более быстрым темпом «естественного» размножения просто «порядочных людей» типа Лопуховых и Кирсановых, которых, впрочем, уже «довольно много», а также «исключительных натур» типа Рахметовых, которых, к сожалению, еще маловато.

— И они, эти просто порядочные люди, вместе с исключительными натурами, водворят на земле социальный рай?

— Да, — твердо отвечает просветитель-шестидесятник.

— Какой же чудодейственной силой обладает этот тип нового человека, этот творец истории?

— Во-первых, — отвечает по пунктам Писарев, — новые люди пристрастились к общеполезному труду. Во-вторых, личная польза новых людей совпадает с общею пользой, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству и, в-третьих, ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни

чувство их не искажены хронической враждой против остальных людей [1]).

— Но, ведь, кроме эгоизма Лопуховых существует еще эгоизм Марьи Алексевны (имя которой легион), — женщины «умной и дельной», которая заслужила похвалу автора «Что делать?» тем, что успела вывести мужа из ничтожества и приобрести себе обеспечение на старость лет — правда, средствами довольно-таки предосудительными. Так не получится ли здесь борьба эгоизмов, очень похожая на самую настоящую потасовку? И какая же гарантия того, что раз'яренная Марья Алексевна (т. е., собственно говоря, совокупность такого рода облеченных в плоть и кровь эгоизмов) не разнесет, в случае драки, всю кучку новых людей в пух и прах?

— Новые люди настолько умны, что и не возьмут на себя задачи физически уничтожить Марью Алексевну. Они весь свой расчет построят на том, что Марья Алексевна не хочет зла для зла, в убыток себе самой. Все дело в обстановке. Ежели Марью Алексевну поставить в другую обстановку, то она может даже из эгоистических расчетов перестать заниматься дурным делами.

— Ах, опять вы возвращаетесь к исходному пункту, — к обстановке. Но кто же и как изменит эту обстановку, чтобы обезвредить Марью Алексевну?

— Тут, — раздумчиво говорит наш просветитель, — выход из заколдованного круга лежит, пожалуй, в ставке на Рахметова. Он, ведь, недаром сурово тренирует свое тело и закаляет свой дух. Если борьба будет неизбежна, то он-то как раз и заварит кашу. К нему уже привыкли поволжские бурлаки, а со временем его же, Никитушку Ломова, облюбует, как своего естественного вождя, и рязанский мужик, и украинский хлебороб...

Итак, в конечном счете, по концепции шестидесятника, все-таки личность «героя» творит историю и разрубает гордиевы узлы социальных противоречий. «Никитушка Ломов» — вот последнее слово революционной теории «просветителей». И когда впоследствии «мирные пропагандисты» 70-х годов окончательно дискредитировали идею просветительной миссии новых людей из разряда «обыкновенных» представителей мыслящего пролетариата, когда Марьи Алексевны обоего пола научились ловко скручивать веревками руки носителей «разумного эгоизма» и передавать оных «злоумышленников» в лапы полиции, тогда вся надежда интеллигенции стала покоиться на Никитушке Ломове. Этот последний действительно ознаменовал свою боевую эпопею необычайно красочными эпизодами революционной романтики, прошел и через полосу нечаевщины, и через бакунинщину, и землевольчество, и через героическое народовольчество, а все-таки, как известно, «обстановки» не изменил, и Марья Алексевна целиком сохранила старую природу своего эгоизма.

---

[1]) Д. И. Писарев, Сочинения, 1-е издание (в 10 томах), т. IV, «Мыслящий пролетариат», стр. 20.

Но нам не хотелось бы расстаться с «просветителями», не сказав по их адресу доброго слова за ту сторону их учения о правах личного «я», которая сказалась положительными результатами в деле эмансипации «личности» от многих стеснявших ее бытовых, семейных, религиозных и иных общественных уз, представлявших собой липкую сеть старой, поседелой домостроевщины. «Личность» шестидесятника взбунтовалась против сжимавших ее тисков заскорузлого мещанства и об'явила непримиримую войну всякой авторитарности. Долой семейный гнет, долой авторитеты в области науки, искусства и морали, если только эти авторитеты мешают взойти новым росткам общественности, долой все условные правила приличия, долой устаревшие традиции во всех областях жизни, одним словом — долой все то, что жмет и душит свободное человеческое «я», вылупившееся из стеснительной скорлупы николаевского кладбищенского режима и жаждущего соколиными взмахами крыльев воспарить в беспредельную голубую высь, — таковы были «страшные» лозунги «исчадий» нигилизма. Все ужи пошлейшего филистерства подняли невероятный змеиный шип при виде такой дерзости соколов, но революция в области быта и морали все-таки свершилась. Свобода любви между эмансипировавшимися от семейной тирании Верочками и их избранниками завоевала себе право на существование. «Дети» отмежевались от «отцов». Казенной науке, ходульной стародворянской поэзии, взрощенному крепостничеством «искусству ради искусства» и прочим идеологическим устоям вчерашнего дня — была об'явлена война. Даже кумиры зарождавшегося народничества, вроде, например, «интегральной» личности Катерины из «Грозы» Островского, были взяты под подозрение за свою склонность к рабскому подчинению стихиям домашнего гнета и общественному мнению своей мещанской улицы. Бесспорными образцами для подражаний и героями новых поколений — надолго и всерьез — стали суровый «циник» Базаров, созерцательно-насмешливый Рязанов из повести Слепцова «Трудное время», умные «эгоисты» — Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов, Рахметов и им подобные. Одним словом, при первой же ломке старого крепостнического здания — вырвавшаяся на свободу личность стала праздновать свою победу, и тут революционизирующее влияние «нигилизма» было действительно огромно. Нам кажется, что даже современная комсомольская молодежь может очень многому научиться по части устройства своего быта у таких старых классиков и поборников эмансипации, как Писарев и Чернышевский.

Не нужно, однако, смешивать с нигилизмом Писаревского типа, очень умеренно все-таки «отрицавшим» старые устои жизни, ту разновидность индивидуализма, которая у нас тесно связана с именем Бакунина и которая известна под именем анархизма. Хотя Бакунин и не пошел так далеко в апофеозе личности, как Макс Штирнер, который в своем труде «Единственный и его собственность» доходит до крайностей солипсизма, готовый отрицать все, кроме личности, тем не менее и он создал своеобразный культ личности. Бакунин пылко ненавидел всякую тиранию над личным «я». Он об'явил непримиримую войну богу, ибо всякое божество стало в ру-

ках попов орудием угнетения человеческой личности. Он трактовал всякое государство, независимо от осуществляемой этим последним формы политической власти, не исключая и государства пролетарского, — как организованное насилие над личностью. Государство, по учению Бакунина, «это — насильник воли людей, постоянное отрицание их свободы». «Всегда приказывая, государство обесценивает даже то доброе, что оно хочет иной раз сделать, ибо повеление убивает свободу». Таким образом, государство всегда и везде было, есть и будет самым коренным отрицанием человеческой свободы, самым беспощадным врагом человеческой справедливости и нравственности. Поэтому самым главным лозунгом для предстоящих революций должно быть беспощадное «разрушение всех государств и основание на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран». Но Бакунин не враг общественности: его идеалом является свободная федерация индивидуумов в коммуны, коммун в провинции, провинций в нации, а наций в Соединенные штаты сперва Европы, а затем всего мира.

Бакунин по справедливости считается основоположником народничества, ибо он вместе с Герценом был первым, который бросил революционной интеллигенции лозунг: «итти в народ». Действующим лицом в картине всеобщего разрушения (а задачей революции является только разрушение, ибо предвосхищать в революционном строительстве созидательные формы жизни, это значило бы, по Бакунину, навязывать будущим поколениям чуждую им волю) — главным персонажем революционной драмы он представлял себе разбойника. «Разбойник в России, — утверждал Бакунин, — настоящий и единственный революционер, революционер без фраз, без книжной реторики, революционер непримиримый, неукротимый на деле, неутомимый, революционер народно-общественный, а не сословный...».

Бакунинский анархизм, конечно, существенно отличен от непротивленческого анархизма толстовского. Но у них есть много общего. И тот и другой боготворят свободную человеческую личность. И тот и другой не переваривают государства и всяких общественных пут, стесняющих человеческое «я». И у того и у другого идеалом является свободное самоопределение индивидуума — при наличности такой слабой связи между отдельными единицами общества, чтобы свободная федерация у одного и христианское братство у другого не могли быть существенными помехами для расцвета личного начала в человеческом «я», стремящемся к самосовершенству и осуществлению абсолютного идеала справедливости (по Бакунину) или культа любви к богу (по Толстому). Оба они — и Бакунин, и Толстой — верят в чудеса: один верит в чудо преобразования мира вдруг, по щучьему велению, посредством всеобщего бунта, а другой уверен в том, что стоит только людям сложить покорно руки перед насильником и выразить готовность подчиниться всем его приказаниям, как тот — вдруг сконфузится и полезет с братскими поцелуями к своим жертвам, умиленный и растроганный их непротивленческой политикой. Оба они любят деревню. Оба не долюбливают пролетария и городскую культуру. Оба явля-

ются чистейшей воды идеалистами, отрицающими приоритет бытия над сознанием и исходящими из признания свободного, самодовлеющего развития личности человека, что и составляет основную сущность всякой разновидности анархизма.

Чем же кончило народничество, вытекшее, с одной стороны, из такого источника, как Герцен, а с другой — из бакунинского бунтарства? И стала ли «личность» народнической полосы 80-х и 90-х годов более яркой, красочной, обогащенной опытом предыдущих десятилетий и с бо̀льшим успехом овладевшей общественными стихиями, чем это было в 60-х годах? Увы, коронованный и возвеличенный Михайловским «герой» и воспетая Лавровым критически-мыслящая личность успели в конце концов растерять все свое революционное наследство, полученное ими от славных шестидесятников. «Личность» времен Чернышевского и Писарева не закрывала глаз на новую растущую силу в лице капитализма и лишь утопически мечтала покорить эту силу методом насыщения мозгов капиталиста Бремом, Молешоттом или Миллем. У эпигонов народничества «личность» потеряла и эту долю реализма, «отрицала» развитие капитализма, «не признавала» его. И это случилось как раз тогда, когда капитализм уже был несомненным дирижером жизни и в городе и в деревне, когда не признавать его, не видеть его мог только рыцарь печального образа, смотрящий на все глазами человека, перманентно подверженного галлюцинациям и иллюзиям.

Впрочем, странное дело, — как только до сознания народнического Дон-Кихота 80-х годов доходило, что перед ним действительно стоит мельница, а не воображаемый разбойник, тогда в нем начинал говорить дух Санчо-Пансо, он превращался в самого настоящего трезвого мещанина и вспоминал, что на свете есть городовой, которого, в случае надобности, всегда можно использовать, — стоит только закричать «караул». Господа Южаковы, не краснея за свои слова, громко говорили о «разуме и совести, знании и патриотизме руководящих классов», и Н. К. Михайловский, ставя перед собой вопрос: «Кто же возьмет на себя великий труд предотвращения исторических путей родины от повторения европейской борьбы», отвечал: «Очевидно, правительство. Оно обладает и нужными для этого средствами, и не менее нужным беспристрастием, незаинтересованностью в торжестве неправды».

По этому поводу почтенный властитель дум из «Русского богатства» вспоминает даже, как «один из так называемых петрашевцев... глубоко поразил своими показаниями императора Николая — глубоко и в благоприятном смысле, ибо в показаниях этих развивалась та мысль, что правительству и только правительству предстоит в России роль водворителя всеобщего мира и счастья, как их понимал обвиняемый» [1]).

По словам Ленина, «эти демократы» (Михайловский и К°) «ничему не научились, и наивные иллюзии мещанского социализма уступили место прак-

---

[1]) Н. К. Михайловский, Сочинения, т. IV, стр. 972. Цитирую по книге А. Н. Потресова «Этюды о русской интеллигенции».

тической трезвенности мещанских прогрессов. Теперь теории этих идеологов мещанства, когда они выступают в качестве представителей интереса трудящихся, прямо реакционны. Они замазывают антагонизм современных общественно-экономических отношений, рассуждая так, как будто бы делу можно помочь общими, на всех рассчитанными мероприятиями по «под'ему», «улучшению» и т. д. Они реакционны, изображая наше государство чем-то над классами стоящим и потому годным и способным оказать какую-нибудь серьезную и честную помощь эксплоатируемому населению. Они реакционны потому, наконец, что абсолютно не понимают необходимости борьбы и борьбы отчаянной самих трудящихся для их освобождения» [1]).

Итак, гордое «я» новых людей — детищ революционных 60-х годов — превратилось под старость в мещанство мелкого буржуа, который кричит «караул» по поводу вторжения в жизнь и хозяйничанья в стране крупного капитала и обращая свои, просящие о помощи, очи к царскому чиновнику, судорожно хватается за бюрократические мероприятия по поддержанию «народного» (читай — мелкобуржуазного) хозяйства разного рода «артельными» начинаниями из боязни подлинной революционной борьбы трудящихся за свое освобождение. Но самомнение у этого мещанина огромное. Он знает секрет «прогресса» (вспомним, например, знаменитые формулы прогресса Н. К. Михайловского, базирующиеся на мысли о консервировании «интегральной» личности деревенского производителя с его многообразием трудовых функций). Он — «герой», долженствующий вести за собой «толпу». Он способен желаемое превращать в факт действительности наперекор всяческим стихиям («суб'ективный идеализм»). Он злопыхательствует при первом же появлении революционного марксизма, который ясно и просто развертывает в своей концепции единственно-реальные перспективы борьбы эксплоатируемых против своих эксплоататоров и указывает на рабочий класс, как на подлинную движущую силу революции. Одним словом, он придерживается тем более высокого мнения о своем гордом «титаническом» «я», чем менее это «я» поняло дух времени, чем беспомощнее оно барахталось в мусоре старых предрассудков и чем более оно отгораживалось от новых форм общественности классово-пролетарского происхождения.

Зато в это же время быстро росла новая «личность», ставшая в резкооппозиционное отношение к выродившемуся народнику и начавшая своей деятельностью и работой среди пролетарских масс новую эру в истории русской общественности.

---

[1]) В. И. Ленин, Соч., изд. 2-е, стр. 182—183: «Что такое друзья народа».

В Сибири.

(Из воспоминаний).

С. Елпатьевский.

5 декабря 1884 года, через четыре месяца после выезда из Уфы, я приехал, наконец, в Енисейск. В полицейском управлении меня встретил толстый монументальный исправник с свирепым лицом и благодушным, как потом оказалось, нравом. Из моего статейного списка он уже знал о запрещении мне проживания в городах со средними учебными заведениями, а следовательно, и в Енисейске, где были мужская и женская гимназии, и на мое заявление о болезни дочери и необходимости остаться в городе сказал:

— Я вам назначу Верхнюю Деревню — это под городом, а пока что — живите.

«Пока что» я и жил в Енисейске. На два, на три дня уезжал в Верхнюю Деревню и по неделям жил в городе. Так я прожил зиму и весну, широко практикуя в городе, пока не приехал в Енисейск вновь назначенный генерал-губернатор Восточной Сибири граф Игнатьев [1]). Он не удостоил ступить на енисейскую землю и короткое время своего пребывания оставался на пароходе, куда и являлись начальственные енисейские люди.

Я пошел-было с прошением о разрешении жить в Енисейске ввиду необходимости учить детей; но на пристани меня остановил исправник. Бледный, с трясущейся нижнею челюстью, он загородил мне дорогу и торопливо шептал:

— Боже вас упаси! Уезжайте в Верхнюю, сейчас же уезжайте... Первый вопрос графа: «Почему Елпатьевский живет в городе?». Донес кто-то. Я графу ответил, что семья только в городе, а вы в Бельской волости... Сейчас же уезжайте, сию минуту. Подведете меня.

Сию минуту я не уехал, но рано утром со светом был уже в Верхней Деревне.

В девяти верстах от города, небольшое село — хотя и называлось Верхняя Деревня — было типичным трактовым селом. Сжатое огромным Енисеем и бесконечной тайгой, оно тянулось и как-то робко жалось по

---

[1]) Убитый потом в Твери Ильинским.

сторонам тракта. Полей около деревни — преимущественно овес — было мало, а настоящее хозяйство велось на заимках за 15—20 верст в тайге, где были избы и поля, где не по-русски все лето продолжался сенокос и куда много крестьян переселялось на лето.

И был медведь, в значительной мере определявший жизнь. Он был воистину хозяин тайги. Скот пасся в деревне, на заимках без пастухов, только с подвешенными колокольцами, по которым и разыскивали его в тайге. Считалось благоприятным годом, когда медведь «задирал» одну лошадь, одну корову со двора. Это была своего рода подать, арендная плата, которую люди платили хозяину за пользование его владениями.

Как-то ночью в мое время вышло в село восемь медведей, за ночь они высосали целое овсяное поле, — прекословить им остававшиеся жители не осмелились. Одно время я жил в брошенной избушке на краю деревни, ночью замерзала вода в кувшине, так что мне весь день приходилось поддерживать огонь в печке, а ночью спать не раздеваясь в валенках и медвежьей шубе. И вот однажды утром меня разбудил сосед-крестьянин:

— Ты что, паря, спишь? Медведь у тебя в гостях был?

На свеже выпавшем снегу были ясно видны отпечатки медвежьих лап. Он, видимо, останавливался у двери и у окна, но по деликатности меня не потревожил.

Я устроил маленькую аптечку, принимая больных — они оплачивали стоимость лекарств, — работа началась, стали наезжать из ближайшего села. Но вечерами скучно было сидеть в мерзлой избушке с пальцами, которые отказывались писать, — я запрягал лошадь и ехал в город. Жутко было ехать эти девять верст между двумя стенами тайги и вспоминать, что в предшествовавшую зиму медведь задрал тут верхне-деревенскую, возвращавшуюся из города, женщину, от которой только изгрызанную ногу в валенке нашли потом недалеко от дороги, — но желание быть в семье, провести вечер с товарищами-ссыльными было сильнее. Я проводил вечер и ночь в городе и рано утром с рассветом уезжал к себе.

Конечно, полиция знала о моих поездках, но исправник скоро отдышался после игнатьевской грозы и меня не трогал.

Вызволил меня из Верхней Деревни дифтерит. Как-то из города приехала жена приказчика, в семье которого я лечил, с просьбой — посмотреть заболевшего ребенка. У ребенка оказался дифтерит, я сказал, что не имею права ездить в город, и предложил послать телеграмму енисейскому губернатору и в Иркутск генерал-губернатору с просьбой разрешить доктору Елпатьевскому приехать в Енисейск для лечения ее сына. Она так и сделала, и, к моему удивлению, скоро было получено разрешение [1]).

[1]) Дифтерит, свирепствовавший тогда на юге России, от которого случалось — писали тогда в газетах — вымирало в некоторых селах Украины детское население, был еще мало известен на востоке. Два случая дифтерита, диагносцированные мною в Уфе, произвели там большой шум. Мне приходилось показывать эти случаи уфимским врачам, никогда не видавшим дифтерита. Помню, мне пришлось вести курьезный разговор с тамошним инспектором врачебной управы. — Какой это дифтерит вы тут открыли?

Я переселился в город. Ребенок, к счастью, выздоровел, но я продолжал полгода оставаться в городе, как врач, лечащий дифтерийного ребенка. А потом пришла телеграмма от губернатора Педашенко: «Прошу доктора Елпатьевского помочь в борьбе с эпидемиями». Енисейский сельский врач, на обязанности которого было лечить население Енисейского уезда, растянувшегося более чем на тысячу верст, бороться с эпидемиями и прочее, получавший, кстати сказать, за сию работу 50 рублей в месяц, молодой доктор Моралов застрелился и некем было заменить его [1]).

Верхне-деревенская жизнь кончилась через два дня, и я уже ехал с исправником по широкому ложу замерзших Енисея и Ангары за 900 верст в Кежменскую волость, на границе Иркутской губернии, «бороться» с эпидемией скарлатины, охватившей поселения по Ангаре от устья до Кежмы.

Это была удивительная эпидемия, какую, нужно думать, редко приходилось наблюдать русским врачам, западно-европейским — тем менее. Болели не только дети, но и взрослые, и старики, и старухи. Когда-то я читал, как европейский корабль завез корь на один из глухих океанских островов, где не бывало кори, и как чуть не вымерло население острова. Повидимому, так же обстояло дело на Ангаре. Скарлатина, очевидно, давно не заглядывала в эти глухие деревни, и только смертность была, кажется, не очень велика,— собрать сколько-нибудь точные сведения не было никакой возможности. «Кораблем», который завез сюда скарлатину, был, повидимому, этап. Появились ссыльные, не направлявшиеся ранее на Ангару. Эпидемия шла на убыль. Пока начальство узнало о «болезни на людях», пока раскачалось прислать врача, эпидемия успела обойти поселения по Ангаре, и мне пришлось долечивать последние случаи.

Стояли жестокие морозы. На метеорологической станции в Енисейске температура больше недели отмечалась ниже сорока. Огромные сани, в которых можно было растянуться во всю длину, были обиты внутри мехом, а сверху лежало огромное одеяло, сшитое из нескольких медвежьих шкур. Исправник захватил большой мешок замороженных пельменей и несколько кругов замороженного бульону, я тоже захватил с собой провизии, — этим и питались мы всю поездку.

Перегоны были невелики, и только один перегон по Ангаре в 60—70 верст по безлюдному месту. Исправник предупредил меня, что если случится метель, нам придется переночевать в ожидании лошадей в яме, где на дне в углу раскладывается костер и сверху покрывается кедровыми и пихтовыми ветвями, и где бывает тепло и уютно, как уверял исправник, которому приходилось по прежней службе не раз отсиживаться в таких ямах. Я с нетерпением ждал этой ямы и с искренним сожалением увидел

Перепугали всю Уфу. Ведь это просто angina maligna! — Инспектор, очевидно, не знал, что в учебниках так и значилось: Diphteritis seu angina maligna. И в Енисейске был, большой шум, когда вскоре после моего приезда вымерла от дифтерита целая семья из 4-х человек, от которой и я заразился.

[1]) Я был вызван ночью и застал его уже мертвым. На столе лежала записная книжка, полная стихов с жалобами на одиночество и заброшенность.

дожидавшихся уже нас на этом перегоне подставных лошадей. Горел большой костер на льду, где грелись дожидавшие нас люди. Перепрягли лошадей, и мы потихоньку поехали дальше, — была метель и дорогу занесло.

В каждой избе, где мы останавливались, была докрасна раскаленная железная печка, очевидно, топившаяся целый день, мы растапливали в чугунке куски ледяного бульона, кипятили мерзлые пельмени, поджаривали на лучинках замерзшую, как камень твердую телятину и пили кирпичный чай.

Исправник делал свои дела — он за три года службы в первый раз был в этих местах. Я обходил избы, осматривал больных, раздавал лекарства из дорожной аптечки, и мы ехали дальше по снежной в 10 верст шириной суровой и величественной в своей красоте Ангаре.

Селения были только на крутом утесистом берегу Ангары, на другой низменной стороне поселений, повидимому, не было, по крайней мере, мы ни разу не заезжали туда [1]). Крестьяне показались мне... не русскими. Были все черноволосые, с нерусским прорезом глаз, с странным говором. В избу набралось много крестьян, они говорили с исправником о своих нуждах, а я искал между ними настоящее русское лицо и нашел светлого рыжеватого молодого крестьянина с вьющимися волосами и тут же потихоньку сообщил исправнику о своем открытии. Был большой смех в избе, когда после расспросов исправника оказалось, что именно этот парень был настоящий тунгус, а все остальные — подлинные русские, по крайней мере считавшие себя таковыми.

В Кежме, в волостном селе, нам пришлось задержаться на несколько дней, ждать тунгусов из тайги, которые в это время года выходят с пушниной в село. Кажется, исправник посылал за ними.

Главная причина поездки исправника — было расследование судьбы экспедиции, за два года пред тем отправившейся из Енисейска в Подкаменную Тунгузку. Это была характерная сибирская история.

Молодой человек, служащий одного из енисейских промышленников, энергичный и предприимчивый, как сибиряки вообще, решил отправиться в Подкаменную Тунгузку, тогда совсем не исследованную, где, по слухам, было золото. Использовал свои маленькие сбережения, заручился кредитом, на который охотно шли енисейские купцы при всяких поисках золота, набрал таких же смелых и энергичных товарищей из золотопромышленных рабочих, соорудил баркас, нагрузил его сухарями и провизией на два года, захватил молоденькую жену с ребенком и двинулся из Енисейска.

---

[1]) Окружной врач, А. И. Вицын, прослуживший 35 лет в Енисейске, говорил мне, что ему только раз, по поводу какого-то экстренного убийства, пришлось побывать в селе на этом пустынном берегу Ангары. Люди там оказались какие-то чудные, совсем особенные. Кое-кто носили бакенбарды, как-то особенно одевались, у двух-трех крестьян он увидел узорчатые фарфоровые трубки. Крестьяне не помнили своего происхождения, и только потому, что Вицын нашел у старосты на полке библию на шведском языке, и после расспросов у сведущих красноярских людей, он заключил, что то были потомки шведов, плененных под Полтавой и направленных Петром в Сибирь.

Прошло два года, никаких известий об экспедиции не поступало. Мать жены служащего, полковница, сосланная за какое-то уголовное преступление и служившая нянькой у промышленника, начала забрасывать губернатора и генерал-губернатора письмами с просьбой о помощи экспедиции, в конце концов исправнику поручено было выяснить вопрос и, в случае нужды, помочь экспедиции. Потому исправник и послал в Кежму, куда выходили тунгусы и из Подкаменной Тунгузки.

Явились на с'езжую избу, где мы остановились, четыре тунгуса. Они долго отмалчивались, отзываясь незнанием того, о чем их спрашивали, и только после того, как исправник угостил их добрым стаканом спирта, — водка замерзала в такие морозы, и исправник возил с собой спирт, — языки развязались, и тунгусы через переводчика стали рассказывать то, что они знали или что хотели сказать.

По их рассказам, они нашли на берегу Подкаменной Тунгузки довольно далеко от устья лагерь останавливавшихся людей, остатки костра, кости с'еденных птиц, некоторые вещи, между прочим, серебряные часы. Стали следить, путь шел в тайгу, и еще несколько раз тунгусы находили остатки костров, а потом уже только перья и кости птиц, которые, очевидно, были с'едены сырыми, последние следы остановки они нашли на берегу таежной реки, и затем все следы людей исчезли.

Можно было думать, что баркас потерпел крушение, оставшиеся от экспедиции люди шли по тайге в надежде встретить жилье, соорудили плот у речки, где была последняя остановка, поплыли и там погибли. Я прожил еще год в Енисейске, и никто из экспедиции не возвратился.

На обратном пути мы уже не останавливались в деревнях и ехали днем и ночью от станка к станку.

Тотчас же по приезде из Кежмы мне пришлось ехать в другом направлении — к северу, вниз по Енисею. Там была эпидемия кори, должно быть, также давно не появлявшаяся в этом районе, так как заболевали поголовно и старые, и малые. Ехал я уже один.

Было не так холодно, 20 градусов мороза вместо 40 чувствуются уже как значительное потепление, и можно было обходиться без благодетельного медвежьего одеяла, но зато снегу было еще больше. Ехать приходилось медленнее, а когда нужно было выехать с Енисея на берег и двигаться по тайге уже в Туруханском округе — дорога совсем исчезла. Должно быть, прошла метель, давно не проезжала редкая почта из Енисейска в Туруханск и, должно быть, незачем было людям ездить друг к другу и достаточно было лыж для общения.

Лежал глубокий пятиаршинный снег, не слежавшийся, рыхлый, как взбитая пуховая перина. Пришлось оставить кошевку, перелезть в нарту, узенький ящик, и без вожжей отдаться на волю лошади. Для того чтобы пробраться из деревни в деревню, две нарты ехали впереди и прокладывали путь.

Ехать приходилось, как по перине, и когда лошадь оступалась, мы погружались глубоко в пухлый снег. Колокольчик переставал звонить и из

передних нарт приходили вытаскивать меня и барахтавшуюся маленькую, лохматую, как овца, лошаденку. Ехать, конечно, приходилось шагом, ехать, как в снежном туннеле.

Непробудная тишина кругом, тишина могилы... Надо мной глубокое синее-синее небо, яркое холодное солнце, мириадами искр сверкают глыбы белого-белого снега, повисшие на мохнатых темных лапах кедров и пихт. По снежному полю бегут беленькие куропатки с красными лапками и черненькими глазками, подбегают к самым нартам и с удивлением смотрят на меня. Тишина, и только милый друг сибирских путешествий — колокольчик — нежно и грустно звенит по тайге.

Взрослых мужчин по деревням не видать было, ушли в тайгу белковать и соболевать. Баба-староста, баба-сотский водят меня с фонарем. День короткий — по избам осматриваю и переписываю больных, а на с'езжей избе раздаю лекарства. Набирается много народу, получают лекарства и не расходятся, слушают, что я говорю, и с любопытством рассматривают мою аптечку, из которой я выдаю порошки и отливаю капли. Сначала жмутся, робеют — а потом осмеливаются, и когда я закрываю аптечку — тут и начинаются просьбы. И насчет «грызи», что грызет животик у ребенка, и насчет женского положения, и просят зайти посмотреть черномощную, которую корежит на молодой месяц.

И здесь не очень много русского было в этих нескладных фигурах с короткими ногами, приплюснутыми носами, сюсюкающем говоре, и, показалось мне, не очень отличались они от остяка, чью жену я лечил в одной из деревень. Это не мешало деревенским людям считать себя настоящими русскими, державным племенем, и презрительно называть остяков и тунгусов «тварь» и «зверь». — Выговаривали «тфарь» и «зферь», вместо «очень жарко» говорили: «осень зарко». Эпидемия была также на исходе.

Из моих поездок у меня составилось впечатление, что людские поселения были только по рекам Енисею и Ангаре, а за ними шла бесконечная, безлюдная тайга. Только раз мне пришлось поехать в сторону от реки и от тракта. Село было большое, богатое. Был праздник, кажется, масленицы, было весело в селе. Я сидел у старосты в избе из громадных бревен с широченными, белыми, чистыми скамьями за двухведерным самоваром, который, как перышко, внесла широкоспинная могучая хозяйка. Мой приезд вызвал большое недоумение. Никакой «болезни на людях», о которой гласило волостное донесение, в селе не оказалось, и только после моих настойчивых расспросов собравшиеся в избу селяне стали вспоминать, что, действительно, полгода тому назад, а может и побольше, «горели люди и сыпня по телу выходила», но давно все кончилось и, благодарение богу, «не хвораем».

Разговоры пошли душевные. Веселые сытые люди об'ясняли мне:

— ...Умные дедушки хорошо место выбрали. Главное дело, — в стороне, от начальства далеко, — не заглядывают... Летом никуда ни прохода, ни проезда, топь кругом, опять же медведь. И зимой — не рука, — в сто-

роне, и подует пурга, не проедешь. — Как это вы добрались? — участливо спрашивают. — И живем ничего промежду себя, жалиться нечего.

С приятностью попили чайку, с приятностью побеседовали, все больше о том, как это хорошо, если начальство не путается, и я уехал обратно, быстро прекратив эпидемию.

Приехал в Енисейск новый сельский врач И. И. Кусков, моя миссия по борьбе с эпидемиями кончилась, но вопрос о выселении меня из Енисейска уже не поднимался, и я до окончания ссылки прожил в городе.

Политические ссыльные.

Нас, политических ссыльных, было в то время в Енисейске около сорока. Публика была разнообразная. Были одиночки. Жил старик Маркс, учитель одной из московских гимназий, сосланный еще в 60-х годах по каракозовскому делу, когда ему было уже под пятьдесят лет. Когда был в силах, занимался научными исследованиями, — и умер в Енисейске. Был юноша Сурин, служивший счетоводом в каком-то барском имении в Рязанской губернии, не революционер и сосланный — так он рассказывал мне — за то, что читал даже без всяких комментариев крестьянам газеты с отчетами о политических процессах. Он чувствовал себя одиноким и, несмотря на теплое дружеское отношение к нему товарищей, страшно тосковал и застрелился в моей избушке в Верхней Деревне, которую после переселения в город я предоставил в его распоряжение. Был Н. Ф. Вишневецкий. Он уже раз бежал из Сибири и снова водворен был в Енисейск. Из ссыльных Вишневецкий вел наиболее деятельную жизнь. Он заведовал метеорологической станцией и изучал английский язык. Был в Енисейске оригинальный англичанин Бойлинг, долго ездивший по свету матросом и как-то осевший в Енисейске. Он был строитель судов, но средств у него не было, и полуготовый остов большого парусного судна, стоявший у его домика, кажется, так и не был закончен. Вишневецкий сдружился с ним, постоянно бывал у него, оберегал одинокого старика и настолько овладел английским языком, что, когда уже после моего от'езда приехали англичане в Енисейск, он был у них переводчиком. Вернувшись после ссылки в Севастополь, он сделался преподавателем английского языка в морской школе.

Были группировки. Очень много было поляков, между прочим сосланных по варшавскому процессу, на котором молодой Плеве сделал свою карьеру. Были между ними люди националистически настроенные, как О. О. Гласко, сделавшийся потом редактором одной из варшавских газет, и были целиком связавшие себя с русским революционным движением, как Михалевич, Рогальский, Андржейкович, Лапицкий.

В общем жили дружно, разделяющих линий не было. То время, половина 80-х годов, было временем спада народническо-революционной волны и только что начавшейся и не успевшей еще крупно выявиться новой, социал-демократической, волны. Почти все ссыльные — и офицерская группа,

с которой я шел этапом, Мицкевич, Крайский, Стратанович, Чижев, и остальные — Сикорский, Паули, Гортынский, Зак, студенты Комарницкий, Давидович, морской офицер Лавров — были народовольцы или землевольцы. Были люди, повидимому, тяготевшие в марксизму, но партийных с.-д. ссыльных еще не было.

Наиболее активной была группа, состоявшая из Сикорского, Михалевича, Паули и отчасти Андржейковича. Они рвались вернуться в Россию и продолжать свою революционную террористическую деятельность. Двое из них, Паули и Михалевич, устроили побег и добрались до России. Сикорский, сильный и смелый человек, остался в Сибири, участвовал в крупной экспедиции в Якутской области и приехал ко мне в Ялту умирать от тяжкого туберкулеза.

Из-за побега Паули у меня был произведен обыск. Приехали жандармский полковник и прокурор по поводу денег, полученных на мое имя из Москвы и назначенных, по их сведениям, для организации побегов политических ссыльных. Доказательств у них не было, дело окончилось ничем, но одно время вопрос стоял о высылке меня в дальние места, и тогдашний губернатор Педашенко, присылавший раньше мне благодарность за мою работу по эпидемии, вскипел гневом, повидимому, вскоре остывшим, и через доктора Кускова прислал мне грозное предостережение.

Михалевич. Зак.

Ярко встают в моей памяти два товарища: поляк Михалевич и еврей Лев Зак. Поляк, говорили мне, из старинного польского рода, Михалевич с юности и до могилы связал себя с русским революционным движением и был по натуре и по своей жизни ярким представителем тогдашнего высоко-идеалистического революционного движения.

У поляков есть одна черта, характерная для них, которую я назвал бы восторженностью. Эта восторженность в лучшем смысле была в Михалевиче. Мягкий, деликатный, тонкий по своей внутренней организации, он жил только революцией. У него не было будней, а был только праздник революционного под'ема. Не было семьи, не было дома уюта, службы, мирной обывательской жизни, — только жизнь революционеров с обысками, арестами, побегами, с вечной бездомностью. Он не говорил равнодушным голосом будничных слов; у него были порывистые движения, приподнятый тон и горели восторженностью большие блестящие глаза.

Мы раз'ехались из Енисейска в разные места, и до меня доносились только случайные сведения о нем. А когда через двадцать лет разыскал он меня в Петербурге, около времени манифеста Николая, он был все тот же Михалевич с восторженными глазами, с незнавшей передышки и отдыха революционной жизнью. Он не верил ни в какую мирную эволюцию и в работу Государственной думы и был занят революционной работой в военных кругах. Похудевший и побледневший, как затравленный зверь, — его разыскивали в Петербурге, — он приходил иногда ко мне ночевать и с увле-

чением рассказывал, как успешно идет его работа. С некоторыми из офицеров он познакомил меня.

Дело закончилось процессом, где он присужден был на каторгу, но до каторги не дожил и умер в Петербургской тюрьме, и мне рассказывали, как мужественно и спокойно, достойно революционера, он принял смерть.

Лев Зак был представителем другого типа, не менее характерного для революционеров-семидесятников.

Как-то он рассказал мне свою историю. Из правоверной еврейской семьи Западного края, он готовился быть ученым евреем: всю юность провел в изучении талмуда и сочинений еврейских мудрецов и до шестнадцати лет не умел писать по-русски. Кто его совратил с намеченного пути, не помню, но кончилось тем, что он увлекся русской литературой, сначала по ночам, скрываясь на чердаке, занимался чтением, а потом и вовсе ушел из родительского дома. Жил некоторое время в Берлине, а потом стал пропагандистом и всем сердцем вошел в движение 70-х годов.

Он жил в Енисейске аскетом. Питался скудно, мало тратил на себя. У него были состоятельные родные, его двоюродный брат Зак играл тогда большую роль в финансовом мире Петербурга. Лев Зак не брал денег от родных и жил на казенное пособие, изредка подрабатывая. Когда строилась енисейская гимназия, он таскал кирпичи на постройку и этим жил. Не часто ходил в гости, сидел за книгами и много занимался.

Необыкновенной кротостью и лаской веяло от него. Люди чувствуют внутреннюю красоту в человеке, — кажется, не было у него в нашей колонии не только врага, но и человека, который бы не ценил его. Интеллигентный, очень развитой, он как-то всегда оборачивался к людям этой бесконечно доброй и ласковой стороной своего существа, — он был общим утешителем и примирителем в возникавших конфликтах. Было у него особенное чувство к детям. И все знали это, и, когда родителям хотелось пойти на маскарад или на вечеринку, устраивавшуюся в ссыльной компании, Зак предлагал домовничать. И оставался с детьми, и кормил их, и укладывал спать, и дети, как тонко чувствующие, кто их по-настоящему любит были всегдашними его друзьями и не протестовали, когда родители оставляли их на попечении их приятеля.

Судьба посмеялась над ним. Он освободился от ссылки, вернулся на родину, женился и скоро умер от дизентерии [1]).

Д. А. Клеменц.

Когда я окончательно осел в Енисейске, мне разрешили с'ездить в Минусинск. Там также много было ссыльных и между ними Клеменц, Иванчин-Писарев, Тырков, Белоконский, Венцковский и два моих ближайших друга по Москве — Мартынов и Лебедев.

[1]) Я знал потом жену его Лурье. Она служила земским врачом в Лыскове Нижегородской губернии, и меня вызывали из Нижнего лечить ее, когда она заболела тифом.

Там я познакомился с Дмитрием Александровичем Клеменцем. Еще в студенческие годы я много слышал рассказов об его хождении в народ, об его удивительном пропагандистском таланте, об его смелости и редкостном остроумии, помогавшем ему выпутываться из самых запутанных обстоятельств. Наше знакомство продолжалось в Петербурге и перешло в дружбу, — к нему привязывались все, кто ближе узнавал его.

Он был революционер, и его революционная деятельность достаточно известна, но его всегда тянуло к теоретической мысли, к научной работе, и в разгаре революционой деятельности он находил время писать и печатать в легальных журналах свои статьи. По существу Клеменц был мыслитель, типичный ученый. Мне приходилось не раз писать о русских людях, «не использованных историей» в силу и в меру отпущенных им талантов, и в настоящих воспоминаниях я говорил уже об отце и сыне Ведерниковых, горячо преданных химии и геологии и ставших — один акцизным чиновником, а другой чиновником какой-то землеустроительной комиссии. Можно думать, что, родись Клеменц за границей, тяга к науке взяла бы верх, и из него вышла бы крупная научная сила, но он родился в России и был слишком благороден, слишком чист сердцем и высок мыслью, чтобы не болеть горестями русской жизни, не отозваться на зло и насилие.

Повторяю, по настоящему призванию Клеменц был типичный ученый, и в Минусинске, когда от него ушла революционная деятельность, вскрылась его тяга к научным изысканиям. Оригинальный, своеобразный, с немецкой фамилией и полукалмыцким лицом, он по-своему оригинально устроил свою жизнь. Спокойная жизнь в городе не удовлетворяла его. Он вдруг неожиданно для всех седлал свою сибирскую лошадку, отзывавшуюся на его свист, бегавшую за ним, как собака, клал в торбу краюху хлеба и соль и уезжал надолго в степь. Он раскапывал могильники Абаканской степи и создавал вместе с Мартьяновым Минусинский музей, ставший знаменитым не только в России, но и за границей [1]). Его экскурсии все расширялись, — через географическое общество он получил разрешение на поездки. На свой страх один он перевалил через Саянский хребет и проник в пустыню Гоби в качестве отчасти торговца, отчасти доктора. Он захватил с собой лекарства, которые мог употреблять по наставлениям знакомых минусинских врачей, и имел большой успех, как рассказывал он мне потом, главным образом, хиной и лечением иодистым калием тамошних сифилитиков. Он успел об'ездить значительные пространства пустыни Гоби, посетил давно покинутые людские поселения, открыл забытые храмы-пещеры христиан-несториан и показывал мне снятые им кое-где сохранившиеся изображения христа, богородицы, святых.

---

[1]) Много лет спустя Деникер, эмигрировавший из России в первой половине 70-х годов, с которыми я встречался в Париже, много расспрашивал меня о Клеменце и рассказывал, что за границей очень заинтересованы исследованиями Клеменца, и все ждут опубликования дальнейших его работ.

С присущей ему особой манерой подходить ко всяким людям, он успел сразу создать добрые отношения с князьками местных племен и благодаря этому во вторую поездку в Гоби сумел для Аскании-Нова и для какого-то германского зоологического сада наловить несколько открытых Пржевальским диких лошадей, тогда еще неизвестных в Европе.

В его экспедициях в Монголию принимала участие жена его, — он женился в Минусинске на начальнице местной гимназии. Одну экспедицию в Монголию Елизавета Николаевна сделала одна самостоятельно и открыла там камень-памятник, на котором были вырезаны события и даты древнейших времен Китая, камень, настолько заинтересовавший ученый мир, что, как передавали мне, немецкий профессор написал об этом камне целую книгу.

И вот, человек большого выдающегося ума, огромной разносторонней эрудиции, Клеменц не оставил после себя ничего крупного, и небольшие напечатанные его работы были слишком незначительны для того, что он мог дать науке. От естественно-исторических и экономических вопросов он постепенно перешел к огромной области истории культуры. Да, он был основателем и первым директором Петербургского этнографического музея, ездил по разным местам и собирал коллекции, и его идеи были положены основой этого музея, — но всего этого мало для большого Клеменца.

Он не был дилетантом, каких много в России, он всегда оставался на научной базе и критически проверенными научными данными обставлял свои положения. Он был исследователем, человеком большого размаха мысли, широких концепций, и, быть может, отчасти, эта широта его замыслов, открывавшая ему по мере углубления его научной работы все новые и новые перспективы, и помешала ему во-время опубликовать свои исследования.

Как-то в Петербурге мы провели долгий вечер в беседе о его научных планах. На мои настойчивые советы разработать и опубликовать сделанные им исследования, он отвечал, что уже подал в университет заявление о желании читать лекции в качестве приват-доцента по истории культуры, что он уже готовится к лекциям, что тогда он соберет воедино все то, над чем работал, и сразу опубликует свой труд. Он увлекательно рассказывал мне в тот вечер проблему великого движения азиатских орд, начиная Чингиз-ханом, говорил мне о постепенном поднятии и обезводнении пустыни Гоби, толкавших когда-то огромные людские толпы на выход и поиски новых мест для жилья. Рисовал, как складывались армии этих диких орд по существу из охотничьих племен разных способов охоты и как применялись эти способы и в войне на европейском фронте. Я не помню всех подробностей тогдашней беседы, но у меня остался в памяти широкий научный размах мысли Клеменца по истории культуры разных народов.

Он умер, не прочитавши ни одной лекции и не опубликовавши своих главных работ.

Сергей Васильевич Мартынов.

Главной причиной моей поездки в Минусинск было желание повидаться с моими ближайшими друзьями по Москве С. В. Мартыновым и В. С. Лебедевым [1]).

Я помню С. В. Мартынова юношей; он на два курса был моложе меня, с тонкой, как у барышни, талией, с узкими плечами, с светлыми, мягкими, вьющимися волосами, с голубыми глазами, он выглядел барчуком, холеным, в пеленках воспитанным [2]). Злые насмешницы — герьевские курситски — за его наружность дразнили его «Маргаритой».

А у этого человека, которого дразнили Маргаритой, была огромная воля и крепкая внутренняя дисциплина. Он рано, повидимому, еще до университета, бесповоротно, как все, что он делал, определил свою позицию в жизни и уже с первых курсов университета был сложившимся и законченным, каким и оставался всю жизнь. Он тщательно изучил революционные движения и поражал меня сведениями, в особенности об организации и системе действий итальянских карбонариев. И соответственно намеченному будущему устроил свою жизнь.

Так, как он, не жил ни один из знакомых мне студентов, хотя мои знакомые почти исключительно были из бедноты, жившей на стипендию или на уроки. Жил он в старом, гнилом, скверно пахнувшем доме, в сумрачной комнате, за которую платил, кажется, 7 рублей в месяц, с скудной мебелью, с кроватью, покрытой тощим, как войлок, матрацем, с разбитым, заклеенным бумагой окном. В кухмистерской, где мы обедали за 20, а иногда и за 15 копеек, он редко столовался, а обыкновенно вечером, когда возвращался из анатомического театра или из клиники, затоплял свою печку и варил в чугунке неизменную картошку, уверяя, что этого совершенно достаточно для человека, не занимающегося физическим трудом.

Он не проживал 25-рублевой стипендии, на которую жил, и охотно делился с товарищами. Как-то, когда я был на пятом курсе — я был уже женат — у меня было двое детей и мне пришлось довольно туго, так как из-за выпускных экзаменов надо было сократить количество уроков, на которые я жил всю университетскую жизнь, — С. В. предложил мне заложить у знакомого ростовщика его стипендию за год вперед и, повидимому, остался огорчен, что я отказался от его дружеской услуги.

Недостаточно было обрезать свои потребности до минимума, надо знать, на что идешь, что ждет тебя.

— Каждому, кто хочет вступить на революционный путь, нужно решить вопросы о смерти, — как-то неожиданно заговорил он со мной. —

[1]) Я уже писал, что мы пятеро: П. П. Викторов, Н. П. Кащенко, Лебедев, Мартынов и я, составляли кружок, стоявший в центре тогдашнего московского студенческого движения.

[2]) Он был из состоятельной дворянско-чиновничьей семьи. Его отец был управляющий казенной палатой в Ставрополе, старший брат был тогда уже военный генерал, сестра замужем за прославившимся в турецкую кампанию генералом Гейманом.

Многие думают, что это большая вещь, а ведь, в сущности, это так легко и просто. Видите, вот крюк. Привязать веревку, накинуть петлю — одна минута, и все кончено.

Был один случай, о котором рассказали мне в Минусинске ссыльные. Купались они в Абакане. Мартынова подхватило течение, он начал погружаться в воду, и, когда выныривал, говорил своим обычным голосом:

— Тону... — Голова опять погружалась в воду, и снова раздавался голос: — Тону... «Тону» говорилось так спокойно, обычным голосом, что сидевшие на берегу думали, что С. В. шутит, и только, когда голова стала реже появляться над водой и голос ослабел, бросились спасать и вытащили почти бесчувственного Мартынова.

Так и умер он без крика. В Петербурге с ним сделался удар, — была, кажется, эмболия мозга.

Гемиплегия довольно скоро прошла, С. В. поправился, но решил, что он конченный человек, и поселился в купленном женою его маленьком домике на южном берегу Крыма при деревне Кизильташ. Лечил татар, копался в небольшом винограднике, примыкавшем к дому, и изредка ездил ко мне в Ялту. Я был у него за неделю до его смерти. Он увидел меня из огорода, где копался в винограднике, и, медленно передвигаясь, с трудом поднялся в комнату. Ноги были как тумбы, немощное сердце отказывалось работать. На лечение он давно махнул рукой, мы разговаривали обо всем, кроме его болезни и скорой смерти. Он тонул в вечную глубину, но был все тот же спокойный, я бы сказал, ясный.

С. В. Мартынов был типичный революционер, но другого склада, чем экспансивный, восторженный Михалевич. Без жестов, без декламации — весь собранный в себе, без внешних проявлений. Он имел большое влияние на окружающих [1]), но не был пропагандистом, агитатором, не говорил речей и был скуп на слова. Он был человеком подвига, действия, решительных поступков, их он ждал, их искал.

Я помню один случай. Во время процесса 193-х наш комитет решил подать во время университетского акта 12 января — я не знаю как назвать — петицию-протест от учащейся молодежи против того, что творилось тогда в России, генерал-губернатору Долгорукову, всегда являвшемуся на университетский акт. Текст был выработан, и С. В. взялся подать его генерал-губернатору, но накануне, после долгого обсуждения, мы отменили по некоторым соображениям свое решение. Я рано пришел на акт и с удивлением заметил одиноко бродившего Мартынова, подчеркнуто корректно одетого — он был изящен в эту минуту. Карман его сюртука подозрительно оттопыривался, у меня явилось подозрение, и на мои настойчивые вопросы С. В. признался, что пришел подать бумагу за свой личный счет. И только когда я напустился на него, говоря, что он не имеет права,

---

[1]) Характерно отметить, что за те 2—3 года, которые он прожил в Кизильташе, он оставил по себе такую память среди татар, что они, в период разрухи, гражданской войны и всяких захватов, по своей инициативе охраняли его домик и виноградник и сдали вино из его виноградника приехавшему через год сыну Мартынова.

вопреки постановлению комитета, принимать единоличное решение, — он отказался от своего намерения.

Уже на пятом курсе он целиком вошел в революционную работу. Его комната — адрес обычной публике не сообщался — была центром, куда являлись жившие в Москве и приезжавшие члены Исполнительного комитета партии Народной воли. И здесь он устроился по-своему: нанял комнату в узком переулке, куда выходил задний фасад помещения обер-полицмейстера, очень близко от входа. И я думаю, что именно эта дерзость спасала посетителей от разгрома, — очевидно, жандармам не могло притти в голову, чтобы революционер сам полез в пасть львиную.

Там я познакомился в 1879 году с Александром Михайловым.

После окончания университета, когда С. В. сделался членом Исполнительного комитета партии Народной воли, он переехал с женой в Петербург, устроился в «приличной» квартире с должной обстановкой. Квартира его сделалась центром, куда собирались крупные народовольцы — Теллалов, у него арестован Михайлов.

Он был негнущийся, он был из цельного крепкого камня, без трещин и извилин, в нем было нечто от древнего рыцаря, что давал рыцарскую присягу и посвящал себя делу освобождения Иерусалима, был из того же материала, из которого были сделаны самые выдающиеся революционеры 70-х годов, и не его вина, что он не сложил свою голову так, как они.

Принадлежность С. В. к Исполнительному комитету не была установлена, и дело ограничилось высылкой его в административном порядке в Восточную Сибирь на 5 лет. По возвращении в Россию, он сделался гласным в Воронежском земстве, и за выступление на земском собрании по вопросу, поднятому тогда правительством, «об оскудении центра» был еще раз сослан в Архангельскую губернию.

Как и Клеменца, революция увела Мартынова от того места, которое он мог бы занять при нормальных условиях. Можно думать, что из него вышел бы незаурядный хирург. У него было настоящее призвание, он был предназначен быть хирургом. В этом смысле он рано определился. Несмотря на революционную деятельность, он был один из самых занимающихся студентов, великолепно знал анатомию и уже на третьем курсе по вечерам работал с нами, пятикурсниками, по оперативной хирургии. Работал так, как никто из нас. Когда можно было, он покупал у сторожей трупы и работал один по ночам, проделывая самые сложные хирургические операции. И когда он жил у меня в квартире в Енисейске, любимым отдыхом С. В. было перечитывание анатомии или хирургической литературы, за которой он не переставал следить.

По его инициативе и под его руководством была сделана доктором Кусковым крупная операция овариотомии — первая овариотомия, сделанная в Сибири — говорили мне. С. В. уговорил молодого врача Кускова, недавно кончившего и робевшего, произвести операцию над огромной кистой — он хотел, чтобы молодой врач приучился к хирургии. С. В. руково-

дил разрезом и всем ходом операции, и, несмотря на то, что за отсутствием приспособленной больницы операция была произведена в домашней мещанской обстановке, она блестяще удалась, и больная выздоровела. Кусков долго гордился первой операцией овариотомии в Сибири, но, как скромный человек, прибавлял — сделанной С. В. Мартыновым.

Василий Степанович Лебедев.

В. С. Лебедев был человеком другого уклада. Человек большого ума, широкой и разносторонней эрудиции, строгой логики, он обладал еще тем, что редко встречается у людей даже большого ума, — чувством меры, каким-то особым пониманием всей сложности житейских явлений и тем, что труднее всего дается — умением выбирать из многих путей, которые открывает жизнь, именно тот путь, какой в данной сложности событий и общественных явлений является наиболее достижимым, вернее всего ведущим к цели. Он был государственный ум.

Я помню его первое публичное выступление в Москве во время университетской сходки по поводу охотнорядского избиения студентов. Анатомический театр был занят тысячной толпой учащихся высших учебных заведений Москвы, — толпой, первый раз собравшейся в таком количестве, не выработавшей навыков, не имевшей опыта в прошлом. Я, как сейчас, помню, как с самой верхней скамьи раздался голос Лебедева. Это была не речь, он сказал несколько вступительных слов и прочитал в заключение вырезку из катковской передовицы, появившейся в тот день в «Московских ведомостях», где с торжеством приветствовалось выступление охотнорядцев, помню, оканчивавшейся чем-то вроде реплики: «Так ответил русский народ на петербургские безобразия». (Кажется, дело шло об оправдании Веры Засулич.) И это было лучше всякой речи, это было именно то, что требовалось для об'единения тысячной толпы в чувстве негодования и протеста. Следующим оратором выступил П. П. Викторов. Это была блестящая речь, но Викторов был увлечен и поднят настроением толпы и закончил речь призывом итти на площадь к генерал-губернатору. Я чувствовал, как толпа сразу сдвинулась, и уверен, что она сейчас же пошла бы туда, куда звал ее оратор, но в это время с верхней скамьи снова раздался голос Лебедева, и опять в коротких словах он точно и ясно показал публике, к чему нужно стремиться и чего можно и должно достичь. И это было так ясно, логично и непреложно убедительно, что прежнее настроение сразу схлынуло, и сходка приняла должное решение. Вызванному ректору Тихонравову пред'явили требование об освобождении арестованных товарищей, что и было исполнено, и тут же зафиксировано право сходок. И именно благодаря Лебедеву эта первая по своей многочисленности сходка, об'единившая студенчество всех высших учебных заведений Москвы, — своим настроением, своей дисциплиной и, главное, своим успехом имела большое значение для московской учащейся молодежи. Именно с этого времени университетские сходки полулегализовались, а впоследствии были и со-

всем легализованы, и одно время происходили под председательством Н. П. Кащенко.

Таков был всегда В. С. Лебедев и в нашем маленьком комитете. При возникавших между нами спорах нередко достаточно было двух-трех его замечаний, чтобы спорившие поняли существо дела и согласились на то, что предлагал В. С.

Как член Исполнительного комитета партии Народной воли, В. С. Лебедев редактировал партийный орган вместе с Львом Тихомировым, с которым он жил тогда. Под редакцией Лебедева и при ближайшем его сотрудничестве вышли в свет 4 выпуска партийного органа:

1) «Листок Народной воли» № 1 от 22 июля 1881 года. Перу В. С. принадлежит обширная передовая статья «Новое царствование», где он представлял картину состояния русского общества после события 1 марта и где, помню, первый разгадал физиономию нового царя, назвавши его «Сидором Карпычем».

2) «Народная воля», социально-революционное обозрение, № 6 от 23 октября 1881 года.

3) Следующий выпуск «Народной воли» № 7, от 23 декабря 1881 г., где В. С. принадлежит редакционная заметка «Единение власти с землей».

4) Соединенный номер 8—9 социально-революционного обозрения «Народная воля» от 5 февраля 1882 г., который в значительной части принадлежит перу В. С. Лебедева. Эта деятельность В. С. продолжалась только около года, в феврале 1882 г. он был арестован и, так как принадлежность к Исполнительному комитету не была установлена, сослан был административно в Восточную Сибирь на пять лет.

Повторяю, он был государственный ум, я бы сказал — центральный ум, который составляет ось всякой людской организованности. Такие люди мало известны широким слоям, но зато их высоко ценят работающие в данной организованности, близко знающие эту роль центрального ума.

И насколько мне известно, так его расценивали товарищи по санитарному бюро Московского губернского земства, в котором он по возвращении его из ссылки работал вплоть до тяжкого недуга, сведшего его в могилу, — с таким глубоким уважением и оценкой его ума и логики говорили мне о нем его товарищи по работе [1]).

Обоих — и Лебедева, и Мартынова — я уговорил переехать в Енисейск, где больше можно было найти работы, чем в Минусинске. Лебедева я устроил формально фельдшером, а по существу врачем — на прииски к знакомому золотопромышленнику Востротину [2]). Жена Мартынова в это время уехала с детьми в Воронеж — устраивать дела по имению. Софья

---

[1]) См. статью В. С. Лебедева по поводу оставления им земской службы: «Санитарная хроника Московского земства» № 4, 1917 г.

[2]) Лебедев был арестован на пятом курсе. Он и был один из серьезно занимавшихся студентов. Сдавать экзамен на врача ему пришлось 39 лет в Казани.

Александровна была из революционной семьи Перелешиных, и их имение взято было правительством под опеку. Мартынов прожил год у меня на квартире до моего от'езда и до возвращения его семьи.

Город.

Если и Уфа пахнула на меня по первому впечатлению давним, уже пережитым в центральной России, то от Енисейска на меня повеяло стародавним, временами Николая I, временами «Ревизора». Так же, как в Николаевские времена, когда официальным людям было запрещено носить бороды, много и неофициальных енисейских людей, — купцов и служащих, в особенности, кто был постарше, — брили бороды и носили только усы. Как во времена «Ревизора» больница была «Приказ общественного призрения», и доктор Антоневич, заведывавший ею, просил меня не посылать туда больных, потому что больница морилка, клоака, которую он пытался и был бессилен почистить. Не было земства, городское самоуправление было весьма упрощенное и мало чем проявляло себя в жизни. Был старый суд. Почта приходила редко, ни в Енисейске, ни в губернском Красноярске газеты не было.

Хранились редкие, вышедшие из употребления в коренной России слова, хранились старинные фамилии на «их», которых много было во времена Иоанна Грозного и которые я только изредка встречал на Урале: «Русских», «Савиных», «Черемных», «Молодых», «Больших». Сохранялись старинные народные русские песни, давно забытые в коренной России. И самые имена: не только не встречал я там Валерианов и Анатолиев, Тамар и Маргарит, но рядом с обычными, так сказать, крестьянскими именами сплошь и рядом встречались очень редкие, забытые уже в русском крестьянстве старинные имена, которые попадались мне только в мужских и женских монастырях.

Если Уфа оживала летом с первым пароходом, то Енисейск оживал только осенью и зимой. Нервом енисейской жизни были золотые приисках. Летом Енисейск пустел, и жизнь просыпалась только в сентябре, когда отходили из тайги золотопромышленные рабочие, служащие и хозяева.

Жизнь начиналась своеобразная, шумная и разгульная. Тех проявлений разгула рабочих, выносивших в былые времена много припрятанного золота, когда, по рассказам, рабочими покупались в магазинах куски шелковых материй и расстилались по улицам, по грязи, чтобы кутящий мог пройти к своему ночлегу, — уже не было, но кутеж в прибрежных кабаках и во всяких притонах шел днями и ночами, пока не пропивались заработанные деньги и запрятанное золотишко... Я еще видел, как рабочий нанимал всех извозчиков, какие оказывались на бирже на площади, садился на переднего и остальных заставлял ехать за собой и так раз'езжал по городу.

Оживал клуб, начинались любительские спектакли, устраивались маскарады, езда в гости, именины.

Общественная жизнь, случается, выливается в своеобразные, непредусмотренные формы. Повторяю, местных близких газет не было — роль прессы, своего рода стенной, вернее: спинной, газеты исполняли маскарады. К ним задолго готовились. На незамысловатых домино на спины наклеивались, написанные от руки, «внутренние известия». Исключительно обличительная литература. Об'явления, корреспонденции с приисков, где прозрачными словами говорилось, какую финансовую проделку устроил какой-то енисеец, что делается на приисках у другого, какой солониной кормит своих рабочих третий. За такими домино ходили толпы и читали вслух заметки и об'явления. Случалось, маски обступали какого-нибудь енисейского туза и забрасывали его каверзными, ехидными вопросами. Литераторами были служащие, а иногда и гимназисты старших классов. Особое значение имели в городе именины.

Игнатий Петрович Кытманов [1]), один из крупных енисейских золотопромышленников, празднует свои именины.

Кто-то в его семье заболел, и мне пришлось рано, в девять-десять часов утра, зайти к нему. Именины уже начались. Огромный, длинный стол был уставлен закусками, бутылками. В передней гудели, так называемые, венгерцы, каким-то образом очутившиеся в Енисейске. Игнатий Петрович выходит и одаривает. Потом является причт его приходской церкви, служит молебен с провозглашением многолетия, потом является другой причт — собора, приходят музыканты из клуба и играют что-то торжественное, потом поет церковный хор, — всех обходит и одаривает Игнатий Петрович. Приходят гости, беседуют у стола с винами и закусками и уходят и новые все идут и идут.

Именинник взял с меня слово, что я приеду обедать. Кто-кто не перебывал за день у именинника! Я думаю — «весь Енисейск», и не только «знать», но и служащие, кто постарше, и чиновничество, и какие-то таежные люди, не сбросившие с себя еще таежного облика. Был мелкий золотопромышленник, только три года назад служивший лакеем у Кытманова, и

---

[1]) Кытманов был характерной для Енисейска и для Сибири вообще фигурой. Крестьянин одной из деревень по Енисею, смолоду ездил за рыбой, был возчиком продуктов в тайгу на прииска, узнал там от приятелей, приисковых рабочих, места с «золотишком» и из маленького приискателя сделался одним из крупных енисейских золотопромышленников. Кытманов долго лечился у меня от тяжелой болезни, и у нас образовались добрые отношения.

Как-то я приехал к нему вечером, он был один в своем большом кабинете за письменным столом, заваленным историческими журналами.

— Неужели вы все это читаете? — спрашиваю.

— Читаю... что декабристов касается.

И тут рассказал мне свою жизнь. Как лет шестнадцати он познакомился с декабристами — две фамилии у меня остались в памяти: Фон-Визин и Якубович; как они учили и наставляли его, как он с ними ездил вниз по Енисею за рыбой... И чем больше рассказывал, тем больше оживлялся, и вдруг старик заплакал:

— Не могу, как вспомню... Люди были... Люди были...

Мне приходилось встречать довольно много сибиряков, знавших декабристов, и всегда в отзывах о них слышалось глубокое уважение, глубокая симпатия.

другой золотопромышленник, начавший карьеру на его же, кытмановских, приисках, — всех любезно принимает Игнатий Петрович.

Обедали в двух больших комнатах за длинными столами, уставленными бесчисленными пирогами, огромными нельмами. Долго обедали, а потом был ужин, а между обедом и ужином опять закуска и опять, конечно, выпивка. Расставляются столы для карт. Я ушел после обеда, но от домашних Кытманова слышал, что ужин был такой же многолюдный, как обед, и что после ужина, когда хозяин ушел уже спать, гости остались играть в карты, прикладываясь к неоскудевающему столу с напитками, и разошлись только перед утром.

И долго потом по городу слышалось: на именинах у Игнатия Петровича сказывали...

Оттуда исходили известия о финансовых делах, всякие новости. На именины с'езжались из уезда, случалось из Красноярска. Проехать триста с чем-то верст поздравить именинника считалось простым делом для настоящего сибиряка, — и приятеля поздравишь, и всех увидишь, и сразу все узнаешь насчет дел. Тогда получались губернские новости и иркутские, и петербургские.

Именины захватывали широкие круги енисейского населения. Единственной, насколько мне известно, книгой, изданной в Енисейске со дня основания его, был «Список именинников и именинниц города Енисейска», изрядной величины книжка, долго хранившаяся у меня, куда занесены были сотни енисейских жителей — и купцы, и золотопромышленники, и приказчики, и всякие служащие.

А 17 сентября (Веры, Надежды, Любови и Софьи) и 30 января (трех святителей) все дела в городе останавливались, и весь город был на ногах. Так как приходилось бывать не у одного именинника, то по взаимному соглашению Василии, Иваны и Григории распределяли время: завтрак у одного Ивана, обед у Василия, в промежутках посещение других Иванов и Григориев, а ужин и ночь до утра у другого Василия.

Владимирцы.

В Енисейске было мало врачей. Кроме казенных, окружного, сельского и городового врачей, мало занимавшихся практикой, был только заведывавший больницей доктор Антоневич, поляк, бывший ссыльный по восстанию 1863 года, да на зиму выезжал из тайги приисковый врач доктор Самойло, бывший каторжанин, осужденный по тому же восстанию, и до приезда доктора Кускова городская практика лежала, главным образом, на мне и товарище, административно-ссыльном Мондшейне, высланном с пятого курса и практиковавшем, как врач — дельный и знающий врач.

Скоро я познакомился с купеческим и золотопромышленным миром, с приказчиками и служащими. И здесь, как в Уфе, я встретился с земляками владимирцами, игравшими в Сибири еще бо̀льшую роль, чем в Уфе. Если в золотопромышленности больше работали местные люди, то сибирская

торговля была, главным образом, в руках владимирцев. И не только в Енисейске и Красноярске, но, как мне передавали, и в Томске.

Можно сказать, что владимирцы не только в Уфе и в Сибири, но и вообще в России представляли в былые времена яркое и оригинальное явление. Люди, не вчера родившиеся, вероятно, помнят тип владимирского офени, молодого владимирца с огромным тюком на спине с аршином в руках, переходившего со своим товаром из деревни в деревню. Это был сметливый ловкий человек с неотразимым для деревенских дам красноречием, вынимавший из своего тюка-лавочки все то, что удовлетворяло деревенские, в особенности женские нужды, где рядом с ситцами, яркими платками и полушалками, иголками, нитками, лентами и бусами был и «Бова-Королевич», и «Английский милорд», и «Гуак-Непреоборимая верность».

Офеню можно было встретить не только в центральной России, но и на Украине, и на Дону, и в Крыму, и на Кавказе, в Уфе и Сибири. Ловкий человек изучал местные условия, до тонкости узнавал вкусы и потребности местных людей и нередко после нескольких путешествий оседал там, где было ему любо, и постепенно становился основателем уже крупного коммерческого дела. И стягивал к себе других владимирцев. Помню, в 1877 году в Турецкую кампанию я разговорился в Тифлисе в крупном магазине на Головинском проспекте с хозяином магазина. Он оказался владимирцем, бывшим офеней, и тут же рассказал мне, что он не один на Кавказе и что владимирцы торгуют не так чтобы худо, несмотря на конкуренцию армян.

В Красноярске и в Енисейске владимирцев было много. И не только в городах. Между Красноярском и Енисейском и по главному Сибирскому тракту были огромные села вроде Казачьего и Рыбного, игравшие роль городов и обслуживающиеся, главным образом, владимирцами.

Была в Красноярске очень крупная фирма двух братьев Гадаловых — отец их был тоже выходец из Владимирской губернии, — раскинувшая свои операции по всей Енисейской губернии и за пределы ее. В городах и селах были у них лавки и склады, в которых торговали приказчики-владимирцы. Гадаловым же принадлежало пассажирское пароходство между Красноярском, Енисейском и Минусинском, и также пароходная администрация, капитаны и машинисты были, главным образом, владимирцы. Приказчики и доверенные постепенно уходили и открывали свое дело, а на их место посылались новые люди из, повидимому, неистощимого запаса подходящих владимирских людей.

Случайно мне пришлось наблюдать, как подбирался этот штат служащих. По возвращении из Сибири в Нижнем-Новгороде мне пришлось во время ярмарки жить в одной из ярмарочных гостиниц. В том же коридоре, недалеко от меня, жил и один из братьев Гадаловых, приехавший на ярмарку за товарами и, как скоро оказалось, за людьми.

Как-то утром в коридоре послышался большой шум. Широкий коридор был полон крестьянами и подростками приблизительно по 8—12 лет. И взрослые, и дети явились в парадном виде, в чистых поддевках, в блестевших сапогах-бутылками, с густо намасленными коровьим маслом и аккурат-

ным прямым пробором расчесанными волосами. Родители-владимирцы привели своих сыновей, чтобы отдать их на службу Гадаловым. И я видел, как вышел в халате не совсем отоспавшийся Гадалов и начал осматривать детей. Было очевидно, и так мне рассказывал потом официант, что все явившиеся были из одной округи, если не из одной волости, из той, из которой вышли и сами Гадаловы. Отцы наперебой доказывали переходившему от группы к группе Гадалову их деревенскую связанность, родство и свойство с Гадаловыми. Слышалось:

— Тетенька ваша... Еще родитель ваш... Как же, кума мне приходится...

Гадалов слушал и разглядывал ребятишек. Мальчонки были шустрые, с живыми глазками. Сколько было отобрано детей, я не знаю, но слышал потом, что целый транспорт этих детей прямо с ярмарки был отправлен под надзором гадаловского приказчика в Красноярск. И вот из детей этих родственников, свойственников, кумовьев, однодеревенцев, по прохождении обычного курса «мальчиками» при лавке или при конторе, формировался штат служащих в многочисленных гадаловских предприятиях, — и приказчиков, и счетоводов, и капитанов, и машинистов.

И эти владимирские дети в большинстве случаев уже навсегда порывали связь со своей Владимирской губернией и становились сибиряками. Мне пришлось лечить двух братьев-владимирцев, и у меня образовалось с ними прочное знакомство. Оба они также мальчиками 10-11 лет попали в Сибирь со своим отцом, бывшим офеней. Один из братьев был управляющим золотыми приисками, другой служил капитаном на пароходе, плававшем по летам в низовья Енисея за рыбой и пушниной. У обоих ничего уже не осталось от владимирского облика. Оба были по енисейской моде бритые, носили только усы, говорили сибирским говором, и манеры были сибирские, и вкусы, и быт, и порядок жизни. Оба женаты были на сибирячках, оба стали сибиряками и сибирскими патриотами. Они помнили еще свои места, знали, что там остались их родственники, дядья, тетки, но когда я спрашивал — неужели их никогда не тянет в свою Владимирскую губернию посмотреть родное село, они равнодушно отвечали:

— А что мы там забыли? Чего смотреть?

И всегда оканчивали фразой, которую часто приходилось слышать от сибиряков:

— Сибирь-то у вас, а не у нас.

Во власти природы.

Восточная Сибирь ярче, колоритнее, меньше похожа на Европейскую Россию, чем Западная. Она вся еще под властью природы, она вся еще в периоде борьбы человека с природой, когда не человек властвует над природой, а природа над ним.

И город Енисейск. С трех сторон тайга, начинающаяся сейчас же за городом, глухая, непроходимая, — ни полей кругом, ни слободок — а с дру-

гой стороны — могучий, глубокий, в четыре версты шириной, в крутых берегах Енисей, по которому океанский пароход из Англии плыл около двух тысяч верст без перегрузки, пока не причалил к енисейскому бульвару. А между ними город, сжатый тайгой и рекой. И медведи заходили не только в Верхнюю Деревню, — три медведя при мне благополучно прошлись по улицам Енисейска и так же благополучно ушли в свою тайгу.

Я проехал добрых три тысячи верст по Ангаре и Енисею, триста верст сделал верхом по тайге, когда ездил на прииска, столько же проехал верхом и в таратайке по Абаканской степи [1]), и везде поражали меня огромность и безлюдность сибирской земли. Безграничная тайга, безлюдная степь, огромные суровые реки, медведи, стадами выходящие в людские поселения... Люди жмутся к проходному, к проезжему месту, к реке, к тракту и словно боятся податься вглубь, врезаться в тайгу, уйти от насиженного, обжитого места.

И сибирские слова точно определяют это взаимоотношение человека и природы. Мне редко приходилось слышать русские слова: «кончился», «умер» — говорили: «пропал», «потерялся»...

— Знаете, Иван-то Степанович пропал! — говорит мне совершенно культурный человек и тут же поясняет, что Иван Степанович пропал в собственной спальне в одночасье, после хорошего ужина.

Как-то в Верхней Деревне пришел сосед крестьянин поделиться горем — конь потерялся у меня. Спрашиваю: — в тайге? Оказалось, потерялся конь у него же в хлеву:

— Раздуло пузо, как гора, и потерялся.

Не пропадают, не теряются в борьбе с суровой природой только люди сильные, бесстрашные, с крепкими мускулами, с крепкой волей.

Я видел силачей в Сибири. Мне показывали человека, перекидывавшего двухпудовую гирю через сарай, я видел человека, боровшегося в обнимку с медведем в тайге и сломившего медведя, знал двух могучих стариков, бывших скотогонов, о подвигах которых ходили в городе легендарные рассказы.

И Сибирь не была исхожена дедами и прадедами, нужно было самим прокладывать пути. Сибирь полна была тайн, неисследованных мест, нужно

[1]) Месяца полтора я прожил с больным моим пациентом в палатке на берегу озера Шира. Тогда оно было пустынное и дикое. Кругом не было жилья, и только высились высокие камни древних могильников, и я видел, как неслось по степи стадо в несколько тысяч полудиких лошадей, от которых земля дрожала и шум несся по степи. Кроме нас, было еще две-три палатки приезжих больных и шалаш Ивана Ивановича, местного инородца, кормившего нас неизменной бараниной. Озеро было широко известно в Сибири, в особенности вываренная из воды его соль, которой лечились от заболеваний печени и желудочно кишечного тракта; но врачами было не исследовано, и, повидимому, я был первым врачем, пожившим на нем. Красноярские врачи тогда заинтересовались моей поездкой и просили меня сделать доклад о лечебном значении озера. Тогда там лечились ваннами, купаньями ревматики, больные невралгией, подагрики и страдавшие желудочно-кишечными расстройствами.

было самим исследовать, нужно было проявлять огромную энергию и широкую инициативу.

Так и было. Я уже рассказывал о погибшей в Подкаменной Тунгузке экспедиции. Другой енисеец решил найти водный соединительный путь между бассейном Лены и Енисея и отправился один-одинешенек, спустился по Лене, в лодочке поднялся по какому-то из северных притоков Лены, пробрался оттуда в приток Нижней Тунгузки. У него перевернулась лодка и утонуло ружье, которым он добывал себе пищу, питался сырой рыбой и птицей и как-то все-таки добрался до человеческого жилья и вернулся по Енисею в Енисейск.

Знакомый енисеец, сын богатого золотопромышленника, студент Парижского университета, только что женившись на енисейке, которую я знал еще гимназисткой, отправился в Лондон, нанял там корабль, нагрузил его товарами и поехал со своей 18-летней женой через Карское море и приехал на этом корабле к своему дому на енисейском бульваре. И жена его только смеялась, когда я спрашивал, не страшно ли было при встрече со льдами.

Много лет спустя, когда я уже жил в Ялте, ко мне явился енисеец, уже пожилой человек, и напомнил мне о нашей короткой встрече в Енисейске. Он — служащий на приисках и заехал в Ялту, как он сказал мне, «по спопутности», по дороге в Австралию. Узнал он, что в Австралии с большим успехом применяются в золотопромышленности драги — тогда новая вещь. Кроме енисейского языка он не знал никакого другого и благополучно добрался до Австралии, работал там на приисках, изучил дело и, как мне потом рассказывали, вернулся домой и завел там драги.

В Енисейске не было музыки. После музыкальной Уфы бросалось в глаза молчание улицы, отсутствие музыки в домах. Встречались рояли в нескольких домах, но мне казалось, что они были больше красивой мебелью и открывались только изредка, когда приходил заезжий человек, чиновник из России, ссыльный. В двух-трех домах были старинные гусли, уже основательно забытые в России, и я с удовольствием заезжал изредка к священнику, хорошо игравшему на гуслях.

Редко приходилось слышать пение. И если пели, то все старинные русские песни, полузабытые в России. У меня бывали две сибирячки-гимназистки, с хорошими голосами, любительницы пения, и пели мне старинные русские песни, и когда я попросил их спеть ихнюю сибирскую песню, они запели очень редкую старинную русскую песню, которую я, знавший много народных песен, слышал только раз от моей бабушки, которая прожила до девяноста с лишком лет. Гимназистки очень огорчились и даже обиделись, когда я сказал, что и эта песня не ихняя, а все же русская. Были подлинно сибирские песни — сильные, суровые, волнующие, но только песни, вышедшие из каторги, из тюрьмы, сложенные бродягами, и других песен, своих Сибирь тогда еще не сложила.

Не только музыки и пения, — не было еще тяги к красоте, к искусству, к художественности. Не было еще даже желания украсить свою жизнь,

свое жилище. Как-то голо было даже в богатых домах, не было картин, красивых вещей и тех красивых пустяков, которые составляют неизбежно принадлежность среднего обывательского дома в России. И не было воспоминаний в сибирских домах — тех, что встают от дедушкиной кровати, от бабушкиных вышивок, старых зеркал, которые, кажется, потемнели от множества лиц, смотревших в них. Казалось, люди только что выстроили жилье, только что переехали в него, только что начинают обживаться и не успели еще создать уюта обжитого места. Не поднялась еще тогда художественная волна в сибирских душах, не потянуло их к искусству, к красоте.

Реки еще не из'ездили, тайгу не исходили, медведя не выгнали. Некогда было, недосуг.

По-другому настроена была душа сибиряков. Они не жертвовали на монастыри и на украшения храмов, мало думали о мертвых и не приукрашены были их кладбища. Они мало заботились о больницах, о богадельнях, о детских приютах. Им некогда было думать и заботиться о мертвых, о пропавших и потерянных, об отсталых и немощных. Некогда, недосуг. Живая жизнь строго и повелительно звала к себе, и в эту сторону — к строительству своей сибирской жизни — были направлены умы и сердца культурных сибиряков. Они приветствовали всякие начинания в этом направлении — давали деньги на училища и библиотеки, на всякие курсы, на музеи, на сибирский университет, бывший дотоле мечтой сибиряков, на помощь сибирскому студенчеству, мужскому и женскому, в Москве и Петербурге — на все, что отвечало устройству сибирской жизни, в особенности в области образования.

И тот же золотопромышленник Кытманов, при мне сердито отпихивавший пристававших к нему нищих, выстроил гимназию, стоившую ему — говорили мне — двести тысяч, отправил учиться в Академию художеств енисейского мещанина, показавшегося ему талантливым, и во время учения содержал оставшихся в Енисейске жену и двух детей мещанина и давал деньги на всякие просветительные дела. А сын его тотчас по окончании университета занялся созданием в Енисейске естественно-исторического музея, а дочь уехала в Швейцарию учиться, а другая дочь поехала с мужем на упомянутом корабле из Лондона в Енисейск налаживать — таков был план мужа — постоянное сообщение Енисейска с Лондоном.

Нет лирики, нет мелодии в сибирской жизни. Тайга прекрасна, но красота ее строгая, суровая. Не прилетал в нее соловей, нет там птичьего щебетанья, нет весеннего зеленого шума. Голые до вершин стволы кедров, лиственниц и пихт тянутся рядами, как колонны в старом готическом храме. И тихо там, как в храме, где не началась еще служба, и только пустынные, глухие крики дикого голубя, да однотонная, однозвучная молитва кукушки нарушают великое молчание. А когда заговорит тайга, закачаются вершины деревьев, там нет мелодии, там нет Шопена и Чайковского — там величественный и строгий Бах.

Сибиряки.

Я любил рассматривать альбомы в семьях моих пациентов, переселявшихся в Енисейск из других частей Сибири, — приказчиков, золотопромышленных служащих, местных чиновников, сибирских уроженцев. И нередко не нужно было спрашивать, откуда происходила семья — так много было якутских черт лиц в альбомах людей, живших в Якутии, и монголо-бурятских — у выходцев из Забайкалья. И при расспросах оказывалось: мать, бабушка — якутка, бурятка, киргизка или татарка из Западной Сибири.

И в самом Енисейске. Я знал в общем биографии знакомых мне коренных енисейцев, считая таковыми — их было не очень много — тех, чьи отцы родились в Сибири, — редко можно было встретить между ними чисто русский — великорусский тип [1]). И при расспросах оказывалась примесь, иногда значительная, инородческой крови — в Енисейске большей частью остяцкой и тунгусской крови.

Как-то на вечере у моего пациента, где собрались мелкие золотопромышленники и приисковые служащие, мой собеседник, как и я не игравший в ландскнехт, чем заняты были все гости, рассказывал мне, кто из присутствующих откуда вышел и какое у него родство, — и у меня невольно вырвалось:

— Выходит, что вы один здесь настоящий русский.

Мой собеседник с правильными с точки зрения русского чертами лица, с светлыми волосами. Повидимому, он не совсем понял мое восклицание и спокойно ответил:

— Да, отец у меня российский, только мать бурятка...

Так по всей Сибири. На севере и юге, востоке и западе ее со времен Ивана Грозного шло смешение русской крови с теми многочисленными и разнородными национальностями, какие застали русские люди в Сибири. Бесконечно вливались волны вольных и невольных переселенцев из всех мест многоязычной и разноплеменной России, и все это сталкивалось и перемешивалось в общую кучу, — и русские, и кавказцы, жители прибалтийских губерний, и татары, поляки и башкиры, евреи и украинцы.

При этом столкновении и смешении шла великая нивелировка, — стирались взаимно острые углы, — национальные, религиозные. В Сибири я как-то не встречал крепко религиозных людей и совсем не слыхал религиозных споров и распрей. Совершенно не чувствовалось тогда антисемитизма в Сибири, в частности в Енисейске, где было много евреев. Постепенно создавалась особая атмосфера Сибири, складывались новые обычаи,

---

[1]) В Енисейске я знал только одну семью Калашниковых чисто русского типа, редкую ремью, которая помнила своих давних предков, как-то сохранившую характерный великорусский облик, у которой хранилась еще бумага времен Ивана Грозного о разрешении Ивашке Калашникову с братьями торговать в Сибири.

нравы, вкусы, верования, обычное право, костюмы, манеры питания, быт, язык [1]).

Все это пришлое население быстро — во втором, а иногда и в первом поколении — осибирячивалось и утрачивало национальные черты. Мне приходилось наблюдать, как сравнительно быстро осибирячивались поляки, украинцы, немцы, евреи, но особенно поразительно быстро великороссы. Я думаю, великороссы — единственный в мире народ, который так способен ассимилировать и ассимилироваться — в особенности ассимилироваться, вплоть до забытия русского языка у русских, плотно осевших в Остзейском крае, до полной ассимиляции, как у короленковского Макара [2]).

Сибирь переживала — в несколько другом масштабе — тот же период, который пережила Европейская Россия, когда население Киевской области массами кинулось на север, заселило Суздальскую область, когда из-за слияния с местными инородцами образовалась та «смешица», как говорят о себе кое-где сибиряки, из которой сложилось великорусское племя центральных и северных губерний. Так же, как тогда, брачными и внебрачными отношениями русские новоселы смешивались с сибирскими инородцами, шел тот же процесс ассимилирования и ассимиляции, взаимной диффузии, обмена верованиями, манерами быта, бытом. Русские, когда болели, звали сибирских шаманов, а тунгусы и остяки, выходя из тайги в русское село, шли в церковь ставить свечку Николе, кажется, единственному русскому богу, которого они признавали. Так же по-новому складывался быт, изменялся русский облик, русские слова входили в русскую речь и иначе выговаривались слова [3]).

И так же изменяется антропологический тип сибирского русского населения. Еще рано говорить об общем физическом сибирском типе. Разно выглядят русские на Ангаре и Енисее, на Оби и на Лене, в Забайкальи и на Алтае, слишком пестро и многообразно смешение русских с различными народностями Сибири, но есть одна общая черта — более или менее значительное уклонение от типа коренной России.

Но если рано говорить об общем для всей Сибири физическом типе, то духовный облик сибиряка сколько-нибудь культурных слоев успел уже сложиться определенно и ярко.

---

[1]) Исследователи Сибири устанавливают, что в Березовском краю и в Забайкалье приблизительно треть слов разговорного русского языка состоит из местных инородческих слов. Путешественник Врангель писал, что он не мог принять участия в разговоре за обедом «высшего общества в Якутске», так как русские все говорили по-якутски. Ядринцев отмечает, что в некоторых местах вкусы, понятия о красоте резко изменились. Белокурые русские не нравятся, а нравятся «карымы» — помесь, «смешица». Я не люблю «маганого» — пришлого настоящего русского, — я люблю «карыма», — говорит сибирская девушка.

[2]) Известный рассказ В. Г. Короленко: «Сон Макара».

[3]) Как-то я рассказал о своих наблюдениях В. О. Ключевскому, он очень заинтересовался и при другой встрече, через несколько лет, говорил, что продолжает интересоваться Сибирью, и приводил на лекциях мои соображения.

Сибиряк уже, менее сложен, чем русский, но он цельнее, структурнее, в нем мало русской тоски, русской мечты, русского раздумья и русского сердоболья — ему в равной мере чужды и Гамлет, и Дон-Кихот, но он знает, чего хочет, и он жилистый, крепкий и умеет хотеть и может мочь. В нем мало тяги к художественности, к красоте, к украшению жизни, но у него огромная тяга к знанию, к практическому делу, к строительству своей сибирской жизни. Ему чужды Онегины и Обломовы и всякие Гамлеты Щигровского уезда, — ему ближе однотонный Базаров, устремленный Инсаров. Среди разноплеменных разноверных людей он не знает, не чувствует разделительных граней, — религиозных, национальных; он безгранный, вненациональный, он сибиряк, он только областник. Он не по-русски — реже и менее усердно молится, не по-русски ругается[1]), и о пришедших из-за Урала говорит: «он российский».

Сибирь не знала дворянства, задававшего тон русской жизни. Слово «барин» редко звучало в Сибири и прилагалось не очень почтительно — только к чиновному начальству. Сибиряк был всегда глубоко демократичен и не очень верноподданный. Сыновья людей, преступивших русский закон, потомки беглых людей, бежавших от барина, от чиновника, от консистории и от синода, от царской власти, потомки вольных смелых людей, уходивших от склоки, связанности, от скудости русской жизни искать долю в жизни в беспредельной Сибири, — сибиряки никогда не чувствовали нежности к русскому правительству и не благоговели, не трепетали, как раньше русские, перед царской властью.

Этот новый, отличный от русского, облик сибиряка резко бросался в глаза всякому, кто мог наблюдать вблизи сибирскую жизнь. В былые времена сибирская учащаяся молодежь резко выделялась из масс русского студенчества своим физическим и духовным обликом, манерами, мимикой лица, жестами, говором и еще одним: для русского студенчества вся Россия была своим местом и не особенно тянулись люди устраиваться в своем родном месте, — для сибирской учащейся молодежи своим местом в те времена была только Сибирь и туда в это свое родное место в большинстве возвращалась она по окончании курса. Это была миссия, долг, осознанное областничество.

Сибирь — не окраина, Сибирь давно перестала быть и колонией. Она давно осознала себя отдельным, обособленным коллективом. Были глупы разговоры «Московских ведомостей» о сибирском сепаратизме, но областничество было уже всеобщим сознанием Сибири. И всегдашним требованием от центральной власти было признание этого областничества, своих специальных нужд и, прежде всего, права самим устраивать свою жизнь.

Уже образовалось, вылилось в определенную форму сибирское лицо, яркое, характерное. Трудно учесть пределы и характер будущей эволюции

[1]) Через Урал почему-то не перешагнули подлые русские ругательства, похабные слова. И даже недавний обитатель этапа быстро переставал употреблять их и переходил к единственному сибирскому ругательству: «язвите», «пятнайте». По крайней мере в те времена я не слыхал других ругательств.

Сибири, — придет время, покорит сибиряк свою ощетинившуюся, бунтующую природу, придет время, будет у него досуг, проснется в нем художественность, тяга к красоте, даст она своих больших поэтов и художников, но, нужно думать, основные черты сибирского лица останутся те же. Явится новая великая Россия, и эта новая Россия, быть может, явится в некоторых отношениях дополнением и поправкой к старой коренной России.

Старец Федор Кузьмич.

Сорок лет тому назад легенда об умершем в Томске таинственном старце Федоре Кузьмиче была еще жива в Сибири. Мне случалось встречать людей, знавших старца еще до переселения его в Томск, но кроме рассказов о паломничестве к нему множества лиц да глухого упоминания о книгах на иностранном языке, будто бы бывших у старца, я ничего интересного не слыхал.

В Енисейске мне пришлось лечить одну пациентку, оказавшуюся дочерью того купца в Томске, у которого жил в последние годы и где умер Федор Кузьмич. Она была тогда подростком—ей исполнилось четырнадцать лет, когда умер старец, и, повидимому, была близка к старцу. По ее рассказам, он только ее одну допускал в свою комнату для уборки. Она подарила мне снимок с известного портрета Кузьмича и на обороте воспроизвела знаки, написанные от руки на заглавном листе библии на иностранном языке, которую особенно берег старец. Четыре знака были вроде измененных букв. К сожалению, моя тетрадка с краткими записями о Сибири и с резюме рассказа моей пациентки вместе со снимком пропали в один из обысков у меня. По просьбе Л. Н. Толстого я перерыл весь свой архив, но снимков не нашел.

Моя пациентка рассказывала, как шли к старцу люди за советами и утешениями. Говорила, что он мало заботился о себе, был неприхотлив на пищу и ни на что не жаловался, и только была у него одна слабость — не любил грубого белья и всегда радовался и не скрывал своей радости, когда приносили ему тонкое белье. Говорила, что как-то при ней проезжали через Томск из Петербурга какие-то важные господа, которые посетили старца, долго не уходили от него, она послушала-было у двери, но ничего не поняла — разговаривали не по-русски.

И еще рассказывала, что перед смертью старца приезжал к нему тогдашний томский архиерей, — долго пробыл у него и вышел весь в слезах. Архиерей, по ее словам, был уверен, что Федор Кузьмич был император Александр I и что будто бы даже по его распоряжению на могильном кресте были написаны инициалы императора под короной, которые потом, по распоряжению власти, были стерты. Нечего и говорить, что и отец моей пациентки, и окружающие были непоколебимо уверены, что старец был Александр I.

Кто он был, — некому сказать. Несомненно, что это был не обычный бродяга типа «Иванов непомнящих», но дальше фигура его осталась, вероятно, и останется навсегда, загадкой, перед которой много людей останавливалось и которую никто не мог разгадать.

ЗА РУБЕЖОМ

По шахтам и заводам Пенсильвании.

Александр Храмов.

1. В царстве угля.

Поездка из Филадельфии в район «твердого угля» (антрацита) продолжается около шести часов. Медленно вьется поезд среди холмов, покрытых хвойным лесом. В изношенных и полуразвалившихся вагонах пассажиров мало. Пыхтит и отдувается клубами черного дыма паровоз допотопной конструкции. Уж город остался далеко позади. Исчезли за горизонтом последние небоскребы и трубы бесконечных филадельфийских заводов, а вместе с ними как-будто провалилась сквозь землю и вся показная американская культура. Еще полчаса тому назад — собвеи, воздушные дороги, кишащие деловой и праздной толпой улицы, море электрического света, кричащие рекламы, бесконечные вереницы автомобилей, а сейчас — тишина, покрытые лесом холмы, лоскутки зеленеющих полей — глубокая, вся во сне и покое, провинция. Мы часто прорезываем селения. Широкие, немощеные улицы, покосившиеся на-бок жилища, резвящиеся в клубах пыли детишки и бегающие, ошалелые от жары и безделья, собаки. Совсем походит на нашу русскую или польскую провинцию...

Появляется первая шахта. Мы в'езжаем в угольное царство. По обеим сторонам поезда начинают заслонять горизонт огромные насыпи темно-бурого камня. Показываются вышки, в которых перемывается и сортируется каменный уголь. На боковых путях длинные ленты наполненных углем вагонов. Вот и вторая шахта, вот третья. Скоро надоедает считать. До Шенандоу наша качалка (трясет она немилосердно) об'езжает не менее тридцати шахт. Вокруг каждой шахты миллионы тонн наваленного камня. На гребнях этих гор копошатся маленькие фигурки. Они освобождают вагонетки от груза и катят их снова в «чистилище». Рядом — высокие насыпи дробленного и тщательно рассортированного угля.

Зелени в этой местности мало. Преобладающая краска — черная. Уголь черный, камень черный, леса окрашены в коричневато-черный цвет, лица людей черны, даже ручейки, которые в огромном количестве текут с гор и шахт, окрашены в какой-то буровато-темный цвет...

Наша качалка приближается к сердцу угольного района — Шенандоу. Станционное здание, серое и невзрачное, как и сам городок, прилегает

к огромной шахте и со всех четырех сторон упирается в горы наваленного камня. В широчайшем железнодорожном парке тысячи наполненных углем вагонов. Воздух прорезывают беспрерывные свистки маневрирующих паровозов.

От станции в город ведет широкая, ухабистая дорога. Часть города, где живут наши партийные товарищи, расположена на склоне горы. Здесь поселились шахтеры, кто победнее. По обеим сторонам узких, грязных и немощеных улиц приклеены друг к другу шахтерские «особняки». «Особняки» эти, до смешного маленькие, одноэтажные, сзади придерживаются сваями. В воздухе зловоние, кругом грязь и море нечистот. Ни следа зелени.

У этих домов возятся в клубах пыли группы оборванных и измазанных детей. Родителям не до них. Отцы днем под землей, вечером в салуне [1]. Матери стряпают, стирают, работают по хозяйству, кормят грудных младенцев. Подрастающее поколение живет своей, совершенно обособленной жизнью: из школы в уличную грязь, по воскресеньям в церковь. Капиталистическая школа отравляет их ум, церковь приучает к смирению, улица разрушает организм. В этих условиях вырастают они «настоящими американцами», чуждающимися и часто презирающими своих родителей.

Смертность среди шахтерских детей рекордная. Погибает свыше 60%. С самого рождения дети живут в грязи, лишениях и недоедании. Особенно часто умирают они от туберкулеза. Распространена в этих местах и болезнь, которую местные доктора определить никак не могут. Ложится вдруг здоровый ребенок в кровать, покряхтит, поноет, а через два-три дня и сгорает. Жены шахтеров об'ясняют ее по-своему: жизнь проклятая, вот что...

Командуют населением, управляют и устанавливают порядки, как и в других шахтерских поселках, угольные бароны. Им принадлежит земля, на которой расположился городок, подавляющее большинство шахтерских «особняков», электричество, водопровод и газ. На их жаловании армия попов всех религий, судьи, полиция, почтовые чиновники и городское самоуправление. Мэр [2] Шенандоу, хотя формально «выбирается» голосами всего населения, но, по существу, является лишь покорным слугой, выполняющим волю могущественных угольных магнатов.

Известно, что в Соединенных штатах установлен «прогибишен» [3]. Но Шенандоу «прогибишена» не признает. В салунах муншайна [4] хоть отбавляй. «Пей, сколько карман и кредит позволяет», — поучает жирный, «пекущийся» о благе народа, десятипудовый мэр, — «но по улицам не безобразничай». С прегромадной дубинкой разгуливает он вечерами по улицам и всякого, кто не в меру затянул «качака», энергично посылает домой отсыпаться.

---

[1] Салун — кабак.

[2] Мэр — городской голова.

[3] Прогибишен — запрещение продажи спиртных напитков.

[4] Муншайн — самогон, точный перевод — сияние луны.

Не менее любопытно обстоит в Шенандоу и насчет разврата. В Соединенных штатах буржуазный кодекс морали не допускает открытой, бросающейся в глаза проституции. Но проституток в Шенандоу так же много, как «муншайна» и церквей. Точнее говоря, в самом городе публичных домов нет, — попы протестуют, но его окрестности ими кишмя кишат. Как получат шахтеры двухнедельную получку, — начинается паломничество по всем дорогам, ведущим из Шенандоу в ближайшие фермы. Там самогона и проституток хватит на всю страну. Гуляют шахтеры субботний вечер, все воскресенье, а в понедельник на заре тяжелой походкой бредут домой. В голове угар, в карманах пусто, впереди две недели тяжелой и опасной работы в шахтах.

Проституция и самогон, как нельзя лучше, помогают местной буржуазии держать шахтеров в повиновении и равнодушии к политической и общественной жизни. Пьющий шахтер редко посещает собрания своего профсоюза, с тупым равнодушием относится к вопиющим безобразиям власть-имущих, смирно идет на поводу продажных юнионных вожаков. С особым успехом работают салуны и «фермы проституции» в дни избирательных кампаний. Каждый гражданин, выразивший желание голосовать за кандидатов республиканской или демократической партий, получает вонючую сигару и «гуд-тайм» [1]) на ферме или в салуне. Этими институтами капиталистической агитации не брезгует и бюрократическая машина председателя профсоюза шахтеров — Льюиса, расходующая десятки тысяч долларов на приобретение необходимых голосов в дни юнионных выборов.

На ряду с проституцией и самогоном в шахтерских районах не менее видную роль, как средство «духовного воздействия», играет местная церковь.

Влияние духовенства на жизнь и быт шахтера не поддается описанию. Почти нет никакой возможности устроиться в этих местах, чтобы не быть приписанным к одному из приходов. Не окажись в квартире религиозных картин, соседки вконец загрызут хозяйку. Не окрести кто-либо младенца, — всю жизнь будут тыкать на него пальцами взрослые, избивать и насмехаться сверстники-ребята. Многим неверующим шахтерам приходится вывешивать «святые» картинки, посещать церковь и жертвовать на «святые» цели, чтобы попы и религиозные фанатики оставили в покое. В маленьком шахтерском поселке вблизи Карбондейла на три тысячи жителей приходится 19 церквей. В праздники и в будни, по утрам и по вечерам воздух оглашается непрерывным гулом грохочущих колоколов. Звонят здесь с исступлением, звонят так, чтобы «отзвонить» крамольные мысли в головах рабов своих.

В таких условиях шахтерам-коммунистам жить невыносимо трудно. Порою приходится выносить настоящие войны не только с посторонними, но и со своими женами. В одном доме партиец взялся за уничтожение религиозных картин. Жена, религиозная словачка, побежала к попу, поп

[1]) Гуд-тайм — веселое времяпрепровождение.

к мэру, мэр к полиции, полиция пришла на дом, пригрозила выселением из городка и лишением работы — пришлось подчиниться. В другом доме беспартийный, но считающий себя коммунистом, шахтер с гордостью рассказывал: сначала пробовал-было увещевать жену рассуждениями, рассуждения стал подкреплять кулаками, кулаки — гостинцами. Мало-по-малу жена стала сдаваться. Религиозные картинки препроводила в подвал и бережно прикрыла рогожками. Хоть в бога и продолжает верить, но церковь посещать перестала. У третьего, партийца, религиозная война с женой и тещей завершилась совсем по-соломоновски. На одной из стенок гостиной жена понавесила святых картинок, на другой, противоположной, муж-партиец прикрепил портреты Ленина, Маркса и гарцующего, на вороном коне, Буденного. «Враждующие стороны» таким уговором остались весьма довольны. И бога не обидели, и коммунистов уважили. Семейным раздорам пришел конец, и в доме установился долгожданный покой.

Но не всюду шахтерская масса Пенсильвании так темна и первобытна. Есть места, где, под влиянием пропаганды американских коммунистов, а еще больше великой Октябрьской революции, сильно поднялся уровень классовой сознательности. В таких местах агитация попов приноравливается, соответствующим образом, к местным условиям. В Соединенных штатах развелось много либеральных и независимых религиозных сект. Их руководители произносят революционные проповеди и даже порою записываются в радикальные организации. В одном из шахтерских городков штата Вест-Вирджиния меня познакомили с «батей», стоящим во главе местного отдела так называемой «пролетарской партии».

В Канаде и в Соединенных штатах имеются и русские «живые» и «полуживые» церкви. «Живоцерковники» любят рассуждать наподобие того русского крестьянина, у которого в углу висела, освещаемая лампадным светом, икона, а под иконой украшенный вышитым полотенцем портрет Ленина.

— К иконе привык, — пояснял он любопытствующим, — от отцов и дедов она. А от товарища Ленина тоже грех отказаться. Уж очень много сделал он для нас, бедняков-крестьян.

Одна из крупнейших «живых» церквей среди русского населения в Северной Америке находится в Балтиморе (штат Меридан). Об'единяет она до 200 прихожан. Содержит нечто вроде церковно-приходской школы, устраивает предприятия и пикники, на которых из-под полы продается «муншайн». Продажу самогона живоцерковники оправдывают тем, что доход от него идет, мол, на содержание церкви и школы.

В дни похорон Ленина «живоцерковный» поп отслужил пышную панихиду и повесил в церкви его портрет. При расколе социалистической партии Америки на правое и левое крыло библиотека, принадлежавшая местному русскому социалистическому отделу и насчитывавшая несколько сот книг, случайно попала к живоцерковникам. Смешал поп и церковный староста социалистические и коммунистические книги с богословскими и либерально выдает всякому для прочтения что кому по вкусу.

Эта тактика помогает балтиморскому попу слыть среди своих прихожан «справедливым» человеком и крепко держаться на насиженном месте.

2. Вилькесс-Бар и Скрентон.

Железнодорожное сообщение между бесчисленными городками угольного царства налажено из рук вон плохо. Даже между такими важными центрами, как Шенандоу и Вилькесс-Бар, прямого сообщения нет. Раза два-три в сутки из Шенандоу отправляются поезда в Эйзелтон, в Эйзелтоне пересаживаются в электрический трамвай, идущий в Вилькесс-Бар и Скрентон.

Поздка до Эйзелтона тянется утомительно долго. Поезд останавливается на каждом полустанке, ссаживает одного-двух пассажиров и вяло плетется дальше. Протяжный гудок паровоза напоминает, наконец, что мы у Эйзелтона. Показываются жилые дома, грязные, немощеные улицы, одноэтажное здание железнодорожной станции. Идем к центру города, садимся в электрический трамвай и двигаемся дальше.

Трамвай развивает бешеную скорость. Снова по обеим сторонам вагона показываются шахты, снова угольные вышки, снова железнодорожные под'езды с бесконечным количеством наполненных углем вагонов.

В этом районе земля перерыта настолько, что что ни неделя, то новый обвал почвы. Однажды трамвай, направлявшийся из Вилькесс-Бара в Эйзелтон, едва избежал катастрофы. Впереди него, в нескольких саженях, неожиданно разверзлась почва. Если бы не зоркий глаз и присутствие духа вагоновожатого, пассажирам пришлось бы стать «шахтерами поневоле»...

Трамвай берет крутой под'ем. Огибаем сотую шахту, и неожиданно перед нами вырастает в долине город Вилькесс-Бар.

Вилькесс-Бар и, находящийся неподалеку от него, Скрентон являются крупнейшими каменноугольными центрами северо-восточной части одного из богатейших штатов Америки — Пенсильвании. Города эти сравнительно молодые и насчитывают по 70—80 тысяч жителей. В Европе города с таким населением считаются значительными. Они имеют широкие улицы, красивые здания, благоустроенные парки. У большинства из них своя история. Не то в молодых еще Соединенных штатах. Во многих местах, особенно вблизи крупных промышленных предприятий, города воздвигаются за ночь и растут так быстро, что даже американской технике не угнаться за их ростом.

Подавляющее большинство жителей Вилькесс-Бара и Скрентона состоит из шахтеров, служащих угольных компаний и мелкой буржуазии, живущей торговлей углем и обслуживанием шахтерского населения. Особенно грязен Вилькесс-Бар. Удобств, которыми так отличаются города средних и западных штатов, тут почти не существует.

Почва под обоими городами изрыта шахтами вдоль и поперек. Правда, пенсильванские законы обязывают владельцев шахт, расположенных в

районе городов и поселений, заливать места, уже использованные, смесью камня, песка и воды, но с этим разумным требованием угольные бароны считаются мало. Вот почему в этих городах так часто происходят обвалы почвы, несущие за собою крупные разрушения и смерть. Особенно часто случаются шахтные обвалы в Скрентоне.

Когда над Вилькесс-Баром спускаются сумерки, любопытно смотреть на горизонт, вечно отражающий мощное пламя. Несколько лет тому назад в окрестностях города загорелась шахта. Эта шахта горит и поныне. Лучшие американские инженеры пытались побороть огненную стихию. Пускали в нее огнетушительные составы, сооружали искусственные преграды, но море огня бушует со все бо̀льшей и бо̀льшей силой. Порой, от высокой температуры и накаления поверхность дает значительные трещины и образуются своеобразные вулканы. Огненные языки бушующего пламени лижут раскаленный воздух, окрашивают облака в пурпурно-красный цвет.

В Скрентоне расположена главная контора первого района профсоюза шахтеров. Председателем этого района состоит однорукий итальянец Капеллини, потерявший руку в шахтенной катастрофе. Несколько лет тому назад Капеллини слыл заклятым врагом гомперсизма. Прогрессивные шахтеры поставили его во главе района. Но, захватив власть, он предательски изменил прогрессистам и об'единился с реакционным и продажным главой шахтеров — Льюисом. С владельцами копей Капеллини в самых задушевных отношениях. Посещает их, принимает у себя дома. При относительно скромном жаловании он успел построить себе роскошный особняк, приобрести пятитысячную машину. Он окружил себя верными ад'ютантами и с рядовыми шахтерами совершенно не считается.

Еще до всеобщей забастовки этот район считался одним из наиболее дезорганизованных. Шахтеры посещают юнионные собрания весьма неаккуратно, редко уплачивают свои членские взносы. Из 16 000 шахтеров скрентоновского района не уплатило своих взносов в 1925 году до 12 000 человек. В дни забастовки пособия получали лишь те, кому благоволила бюрократическая машина. Радикальные шахтеры исключаются из юниона, несмотря на частые протесты рядового состава. Многие шахтеры опустили руки. Многие покидают профсоюз и переходят в неюнионные шахты. Особенно обозлены рядовики системой взяток, широко применяемой как шахтенной администрацией, так и профсоюзными бюрократами.

Чтобы получить шахтерские бумаги, дающие право работать забойщиком, необходимо уплатить не менее ста долларов «кому следует». Если хочешь достать удобное место для работы, чтобы угля было побольше, да камня поменьше, — плати «кому следует». Чтобы получить забастовочное пособие, — плати «кому следует». Угольным баронам необходимо нарушить юнионные регулирования, — платят «кому следует». Куда не повернись, — приходится платить, подкупать, угощать... Удивительно ли, что после провала последней забастовки даже самые отсталые шахтерские элементы стали подымать свой голос против царящего произвола. Поддерживаемое американ-

скими коммунистами, так называемое прогрессивное шахтерское движение делает за последнее время большие успехи.

Не уступает профсоюзной реакции полицейский режим, установленный в этих местах угольным бароном и ку-клукс-кланом. В не многих местах Соединенных штатов приходится рабочей (коммунистической) партии Америки преодолевать столько препятствий и самодурств со стороны капиталистов и их прихвостней, как здесь. Радикальные газеты задерживаются на почте по нескольку дней, адреса подписчиков этих газет попадают в полицию; по приказу мэра города владельцы зал отказываются сдавать помещения радикальным организациям; ежевоскресно попы в своих проповедях мечут громы и молнии против «красных»; всякий, обвиненный в прогрессизме, немилосердно преследуется угольными баронами, служащей ее интересам городской администрацией и продажной профсоюзной бюрократией.

Года два тому назад коммунистам Вилькесс-Бара удалось снять вместительный гараж под массовый митинг памяти Ленина. Со всех окружающих шахт стеклись к помещению тысячи шахтеров. Но митинг провести не удалось. Нагрянул отряд полиции, а с ней местный отряд Американского легиона в полном боевом вооружении, ку-клукс-кланцы, наемные хулиганы; окружили гараж, всех собравшихся пропустили через двойной строй легионеров, державших штыки на перевес, причем каждого заставляли снимать шапку перед американским флагом и целовать его; сопротивлявшихся били прикладами, издевались над ними, силой срывали шапки, рвали одежду. «Герои» Американского легиона (многие из них даже и не нюхали пороха войны), имея перед собою безоружную массу шахтеров, чувствовали себя доблестными спасителями отечества и американской «демократии»...

Моя лекция в Вилькесс-Баре тоже не обошлась без скандала. Местные черносотенцы и на этот раз решили сорвать выступление большевика. Пришли сами, привели с собой отряд полиции и сыщиков. Полицейский капитан грозил арестовать лектора, если он в течение двадцати минут не окончит лекции и не покинет пределов города. Ку-клукс-кланцы все время перебивали, задавали провокационные вопросы. Большинство собравшихся, опасаясь ареста, покинуло лекцию задолго до ее окончания.

Тяжело скрентоновским шахтерам под землей, тяжело и душно им и на земле.

3. Среди русских шахтеров.

Что рассказывал мне вилькессбарский шахтер.

В Скрентоне живет несколько русских шахтеров-коммунистов. К ним и повез меня после вилькессбарской лекции один из местных русских товарищей.

Бесшумно мчалась машина по главным улицам маленьких шахтерских селений. Было не больше 11 часов вечера, но все уже спало крепчайшим

сном. В давящей тьме зловеще вырисовывались кресты и купола костелов, да вдали, освещенные слабыми отблесками луны, выделялись мрачные силуэты шахтенных вышек.

Всматриваясь в надвигающуюся тьму, мой спутник привычной рукой управлял рулем и, видимо, был рад случаю рассказать о себе и о местной жизни.

Как и большинство русских эмигрантов в Соединенных штатах, он по происхождению украинец. Рассказывали его родителям «умные» люди в деревне, что в «Америце золото лопатами сгребають». Посудили семейным сходом, порядили, продали корову и отправили сына за океан искать счастья, денег заработать и от солдатчины избавиться.

Поручили молодого, неопытного парня знакомому агенту. Агент перевез его тайком через границу, ободрал до нитки и скрылся. После долгих злоключений попал он в Америку голодным и ободранным. Что делать, куда итти, где искать работы? И на этот раз пришлось обратиться к помощи агента. Нагрузил агент товарные вагоны такими же зелеными новичками, как и он, и отвез кого на лесную рубку, кого на постройку железных дорог и мостов, кого работать в «майны» [1]). Так и стал мой сосед американским шахтером. Вместо золота начал сгребать он каменный уголь. А золото пока сгребают другие.

В первую же неделю земляка, с которым он работал, задавил насмерть обвалившийся камень. Опасаясь такой же участи, мой собеседник бросил шахту и отправился «зайцем» к дядьке в Детройт. Дядька послал его работать к Форду. Поработал он день и, как ошпаренный, бросился на улицу. Слишком тяжелой и напряженной, даже по сравнению с шахтой, показалась ему работа по системе Форда. Вообще побывавшие в шахтах на фабрику идут неохотно. В шахте и работать опасно, и условия работы тяжелые, но нет зато надсмотрщиков, подгоняющих на каждом шагу. В шахте как будто сам себе хозяин. Работаешь сдельно — делай что хочешь. Не то у Форда! Там, чтобы чихнуть, нужно просить «босса» [2]) поставить на твое место заместителя. «У Форда, — глубокомысленно покачал он головой, — сама работа рабочего подгоняет», и с чувством заключил: «Чтоб она сказылась».

Твердо решил наш земляк возвратиться в шахты. С тех пор и живет беспрерывно здесь. Мало-по-малу к шахтенной жизни привык, обзавелся семьей, ни на какую физическую работу не променяет. На последнем месте работает уже четвертый год. Знает боссов и многих контракторов [3]). Даже с крысами свыкся.

— Шахтер, — пояснил он мне, — крысу ценит и любит. Крыса в шахте — животное полезное. Если показывается где-либо газ или начинает не в меру просачиваться вода, крысы подымают визг и бегут в па-

[1]) Майна — шахта.

[2]) Босс — надсмотрщик, хозяин.

[3]) Контрактор — подрядчик.

нике. Значит, и шахтеру нужно не медлить и как можно скорее выбираться на воздух. Крысы в шахте в большинстве — ручные. Во время обеда подбегают к шахтерам, и те охотно бросают им остатки еды. Крысу в шахте убить запрещается. Если поймают, оштрафуют, а в некоторых шахтах даже лишат работы.

Много занимательного рассказывал мой спутник и об обвалах. Его обвалило два раза. В первый раз, когда взрывал пласт угля. Фитиль оказался коротким, не успел отбежать. Во второй раз провалился сам собой потолок. Огромный камень ударил одним концом по стенке вагонетки, другим — по его плечу. Без сознания свалился он под вагонетку. Навалило на нее свыше двадцати тонн угля и камня. Хорошо, что железо выдержало. Товарищ по работе стал звать на помощь. Прибежали соседи, начали откапывать. Час, другой, третий... Устали. Один и говорит:

— Пойдем, ребята, с ним дело, кажется, кончено. Позовем главного «босса».

— А я пришел в себя, — с улыбкой вспоминает рассказчик, — и, что есть силы, кричу: жив еще, откапывайте!

Снова принялись шахтеры за работу и откопали. Полежал я в больнице несколько месяцев и выписался. Пришел обратно на работу, а теперь жду. Говорят же люди, что бог троицу любит...

Замолк, закурил папиросу, а потом добавил:

— А вот с моим соседом вышло куда похуже. Жил он в Америке лет двенадцать. Был он непьющий, денег не мотал и скопил тяжелым шахтерским трудом две тысченки долларов. А там в России революция началась. Решил он вернуться к себе на родину. Купил шифскарту, отправил вещи в Нью-Иорк, а сам остался на день подработать на прощальное угощение товарищам.

Спустился он в шахту. Во время обеденного перерыва уселся с товарищами на куче взорванного им угля и, волнуясь, стал рассказывать, с каким нетерпением ждет он увидеть родные места, освобожденный от царского гнета народ, стариков-родителей, подросших деток... И вдруг сорвался сверху камень и убил его наповал... Так и не пришлось шахтеру этому возвратиться на родину, не пришлось нам, его товарищам, позавидовать его от'езду.

А вот, какую презабавную историю рассказал мне мой спутник и о русских белогвардейцах, которых американская буржуазия вывезла из Константинополя и Парижа:

— Понаехало к нам в Скрентоновский район до чорта белогвардейцев. Большинство из них врангелевские офицеры и казаки. Среди них два полковника царской службы и земский начальник. Как спустили их в шахты, так от непривычки чуть-было с ума не сошли. Запили запоем, до сего дня продолжают. Утром в шахты, с шахты в салун, с салуна спать, а на следующее утро снова спускаются в землю. И к нам в шахту прислали белогвардейцев. Познакомился с одним из них. Видно, шишка не

простая, дворянская. Дали «его благородию» мула, вагонеток и назначили быть «драйвером» [1]).

Вижу, тяжело приходится барину, настоящая для него выходит каторга. Даже жалко стало. Помогаю, чем могу, показываю что делать, предостерегаю, как лучше охранить себя.

Как-то забиваю заряд, слышу — кричат мне:

— Эй, Джан [2]), скорее сюды, твоего френда [3]) забило.

Испугался я, бегу, как угорелый. Прибег к нему, а он стоит бледный, из штанов кровь на «шусы» [4]) льется. Придерживает руками ногу и кричит:

— Сволочи проклятые! Вагонетка о вагонетку стукнулась. С два фунта мяса оторвало. Ох, батюшки! Ох, матушки! Ни за какие деньги работать здесь больше не стану. Хоть с голоду подохну.

Вывел я его на верх, перевязал ему рану, и пошел он себе домой. С тех пор не видать в наших местах белогвардейца.

И, крепко затянувшись папиросой, весело закончил:

— Узнал, наконец, «его благородие», откудова большевики рождаются.

Шахтер Черепков.

С шахтером Черепковым познакомился я в Шенандоу. Хозяин, его два «бордера» [5]) и я сидели за столом и с аппетитом пожирали гору «поркчапсов» [6]). Во время ужина дверь избы распахнулась, и в комнату вошел здоровый, плечистый шахтер. Шутливо толкнув хозяина в грудь, он хотел что-то сказать, но, заметив незнакомого человека, смутился и сел в углу.

— Это товарищ Черепков, — представил мне его хозяин дома, — познакомьтесь: двоюродный брат известного в царской России генерала Черепкова. Слыхали про такого?

Бордеры громко загоготали. Я посмотрел на Черепкова. Лицо его, желтовато-землистое, выражало нечто вроде смущенной улыбки. Глаза светились странными огоньками.

— Такой же белорус и квачня, как и мы, — весело заметил один из бордеров, — из наших, крестьянских.

Было очевидно, что отношение к Черепкову со стороны присутствующих — особенное.

Я внимательно следил за ним. Его лицо выражало различные эмоции. Немного спустя, суетливо заерзав на стуле, он поборол свое первое смущение и, несколько осмелев, обратился ко мне с вопросом:

---

1) Драйвер — погонщик, кучер.
2) Джан — Иван.
3) Френд — друг.
4) Шусы — ботички.
5) Бордер — столовник.
6) Порк-чапс — свиная котлета.

— Ну, чего они хочут с меня? Ведь был же в России такой генерал Черепков. И моя фамилия Черепков. Вот, значит, мы с ним и сродственники.

— Скажу я вам интересное, — пустил «мину» один из бордеров, — задумал наш Черепков жениться на царевой дочке. Вот что!

«Мина» попала в цель. Черепков не заставил себя долго ждать и начал распространяться на любимую тему:

— Эх, товарищ, и жизнь-то у нас проклятущая! Все под землей, да под землей. Никогда солнца не увидишь. Отупел совсем. Как приехал я в эту проклятую Америку, так все работа, да работа. Отдыху никакого. И повадила же меня нечистая приехать сюды. Остался бы в России, — в солдаты пошел, в полковники выслужился, а там...

— ... и на царевой дочке женился... — подхватил хозяин.

— ... на Татьяне Романовой, — добавил бордер.

Черепков привык, чтобы над ним подтрунивали. В другой вечер на это подтрунивание не обратил бы внимания. Но присутствие гостя из Нью-Иорка заставило его отгрызнуться.

— Вы, как есть шахтеры, так шахтерами и подохнете, — сердито проговорил он, — а я в Нью-Иорке, в парке, на Седьмой улице [1]) сиживал часто, многих умных людей слышал. Мангетен, Корона, Бруклин [2]) как свои пять пальцев знаю. Поездили бы вы, как и я, в подземках и надземках, так с испугу в штаны бы н . . . . . и.

— Вы — член Рабочей партии? — осведомился я у него.

— Как же не быть, какой же по-вашему, как не рабочей. Я в шахте работаю, среди рабочих, вот и рабочей я партии.

Затем подумал и добавил:

— Это вы насчет коммунистов? Нет, — махнул он рукой, — я коммунии не признаю. Жить нужно не коммуниями, а партизанами.

Черепкову не нужно было продолжать. Очевидно, посещения нью-иоркского парка на Седьмой улице не прошли для него даром. Там достаточно нафаршировали его вольношатающиеся проповедники «ист-сайдовского» [3]) «анархизма».

О многом говорил и делился думами со мной Черепков. И чем больше высказывал он свои «убеждения», тем жалостливее казался этот шахтер с желтовато-землистым лицом и странно бегающими глазами. Передо мною сидела одна из типичнейших жертв капиталистического строя, несчастная соломка, надломившаяся в кошмарных условиях шахтерской работы.

Изо дня в день роясь в недрах земли, обогащая трудом своим паразитов, живущих их кровью и потом, Черепковы, не созревшие еще до понимания классовой борьбы, проводя свое свободное время в мечтах о том, как хорошо было бы жить «партизанами», жениться на распрекрас-

---

[1]) Парк на Седьмой улице — парк в нижней части Нью-Иорка, где ежевечерно собираются русские рабочие.

[2]) Мангетен, Корона, Бруклин — районы Нью-Иорка.

[3]) Ист-Сайд — нижняя часть города.

ной царевне, носить блестящие эполеты полковника и, самое главное, жрать всю жизнь, жрать сколько влезет — до отвала.

Черепков — это характерный образец русско-американского «анархиста». Его печатным органом является издающаяся в Чикаго газетка «Рассвет». В массе русских эмигрантов, переселившихся в Америку еще в царские времена, «Черепковы» встречаются довольно часто.

На бытовые темы.

Остановившись на день в Шенандоу, решил навестить знакомого шахтера. Его жена длинно рассказывает мне на украинско-польско-русско-английском жаргоне, что на прошлой неделе местная компания вывесила об'явление о прекращении работ на неопределенное время. Должно быть, угольные бароны имеют достаточные запасы, а потому устроили слейк [1], чтобы еще больше сбить заработную плату. От нечего делать муж пошел с товарищами «воковать» [2] по главной улице поселка.

Сажусь в «гостиной» и жду. Мебель, предназначенная для «украшения», состоит из старенького дивана, накрытого вышитой скатертью, поломанного столика и двух старомодных стульев.

На стене висит большая фотография. Из засиженной мухами рамы выглядывает внушительная фигура усатого шахтера. Левой рукой он опирается о спинку стула. Правую ногу выставил вперед. На лице выражение застывшей серьезности.

Хозяйка замечает, что я со вниманием рассматриваю портрет, и поясняет:

— Это мой первый «чоловик». Забило его в шахте, — так засыпало, что насилу откопали.

Затем приносит из спальни семейный альбом и показывает фотографию похорон. На ней открытый гроб с покойником, местный батюшка в полном облачении и несколько плачущих баб и угрюмых шахтеров.

— С тех пор, как умер покойник, тяжело приходлиось мне с четырьмя малолетками, — тяжело вздыхает она. — Не с чего было жить. Совсем пропадала. Спасибо Джану [3], что женился на вдове, детей моих принял...

И радостная улыбка скользит по ее изможденному, рано состарившемуся лицу.

Потом ее муж говорил мне:

— Больше детей не хочу и иметь не буду. Хватило бы средств да сил и этих в люди вывести. На свое стадо, пожалуй, не хватит.

* * *

В одном из прилегающих к Питтсбургу шахтерских поселков, у помещения, где должна состояться моя лекция, останавливается уютный,

---

[1] Слейк — замедление производства.

[2] Воковать — гулять.

[3] Джан — Иван.

двухместный автомобиль. У руля сидит нарядно одетая женщина лет тридцати. Рядом с ней вихрастый, чисто одетый шахтер. На коленях у него маленькая девочка.

Стоящий рядом партиец говорит мне:

— Присмотритесь к сидящим в автомобиле, а потом поглядите на шахтера, который идет на противоположной стороне и держит за руку белокурую девицу. Прелюбопытнейшая история, скажу я вам, — после лекции узнаете. Только бы не забыть.

После лекции он не забывает про свое обещание и рассказывает:

— Получилось с этой женщиной и теми двумя шахтерами совсем наподобие трехугольника. Такое хитросплетение, что сам чорт не распутает. Только о них у нас и говорят теперь.

«Тот, кто шел на противоположной стороне — ее муж, а тот, кто сидел рядом — их «бордер». Живет она теперь с «бордером». В этом, конечно, удивительного мало, у нас такое дело на каждом шагу случается. Только у них это выходит совсем не так, как у других. Живут они вместе, одну квартиру снимают. «Бордер» спит с женой, а муж — в детской.

— Почему же они не разведутся? — удивляюсь я.

— Да как вам сказать? Уж очень сильно муж детей своих любит. Недели три тому назад пришел он ко мне в коридор (работаем мы с ним в одной шахте), сел на кучу угля, опустил низко голову, плачет как малый.

«— Замучился, — говорит, — вконец. В такой паутине запутался, что никак не распутаю. Ты, ведь знаешь, что́ у меня дома делается. Сел я вчера после работы подле жены, на кухне, а Джоу рядышком бреется. Что ж, говорю им, не видите, что поселок-то весь над нами смеется, бабы при встречах в лицо фыркают. Вот, — говорю, — вам деньги, хватит на них две шифскарты купить, уезжайте себе с коммуной в Советскую Россию, только детей мне оставьте.

«— Нет, — отвечает жена, — без детей умру, ни за что не расстанусь с ними. Отпусти их со мной — уедем».

«Подумал я и говорю:

«— Ладно, уже если выходит так, бери себе младшую, а мне оставь старшую».

«— И на это не пойду, — плачет жена, — хоть зарежь, а родных детей не покину».

«— Что же делать? Пойти в суд за разводом, американские адвокаты с рабочего человека все сбережения высосут, а там еще судья детей за женой оставит. Себя и жену застрелить, — куда детям деваться, с голоду помрут. Умолял я Джана оставить дом, уехать из городка, да тот только ругается, угрожает, кричит, что истратил на нее тысячу долларов; крепко любит ее, дьявол! Удрать с детьми куда-либо, — знаешь, как нашему бедному брату приходится: целый день в шахте, без родной матери малым детям не жизнь, а каторга. Оставить детей жене и Джану и уехать — тоже сил не хватает: от тоски по детям умру, — кроме них у меня в жизни радостного ничего не было и нету.

«Делится он своим горем, а из глаз слеза за слезой катятся.

«— Посоветуй, товарищ, что делать, — просится он, — совсем запутался, никак выхода не найду.

* * *

Один из беспартийных шахтеров, присутствовавший на моей лекции, зашел в дом, где я остановился, расспросить, как лучше и безопаснее отправить посылку своей семье в деревню.

Трясущейся рукой вынимает из-за пазухи фотографию жены и мальчика лет шести-семи.

— Вот, — показывает он, — жена моя с сыном.

— Вы сколько лет в Америке?

— Двенадцать.

— А ребенку сколько?

— Недавно семь минуло.

— Значит сын-то не ваш?

— То-есть, как бы вам сказать? Мой и не мой. От моей жены да чужого отца. Прижила от заезжего красноармейца.

— А вы как к этому отнеслись? — любопытствую.

— Да как уж там! Ничего не поделаешь. Баба молодая, в соку. По телеграфу детей ведь я ей не дам. Не она виновна, что муж в Америке двенадцать лет пропадает. Раньше было-скрывала от меня ребенка, а потом не выдержала и написала, что сына имеет и что не по совести ей получать от меня денежную помощь. Прочел я это письмо трижды, посердился, поматюкался, чтоб полегчало, а потом на сердце и отлегло... Махнул я рукой и написал ей: сына усыновляю и буду посылать ежемесячно десятью долларами больше. Пусть на эти деньги байстручка учит и выращивает честным человеком. Только, когда вернусь, чтоб сознательным коммунистом отрастила.

* * *

В сопровождении секретаря местного отдела партии обхожу дома русских шахтеров и собираю подписку на партийную газету.

Заходим во двор низкого, одноэтажного дома. На лай потревоженных собак показывается маленькая, обрюзглая женщина. Оглядывает нас подозрительно с ног до головы и на ломаном английском языке спрашивает, чего хотим.

Мой спутник отвечает, что пришли к ее мужу. Но его еще нет, не вернулся с работы.

Стоим у калитки и ждем. Скоро из-за угла показывается невзрачная фигурка хозяина дома. Здороваемся и заходим в кухню.

На полу играет ребенок. Его лицо и руки невыразимо грязны. В углу на длинной скамейке вяжет чулок старуха — мать хозяйки. Темная

комната, ее обстановка и обитатели производят самое удручающее впечатление.

Хозяйка ставит на стол миску с какой-то бурдой. В миске плавают жирные куски мяса. Хозяин, весь черный после работы, садится за стол и принимается за пищу.

Ребенок подползает к отцу и начинает хныкать. Отец выбирает из миски кусок мяса, отрывает руками часть и бросает ребенку. Ребенок садится на пол и уплетает мясо с аппетитом голодного волка. Слезы и сопли капают в рот, мешаются с пищей.

Предлагаю подписаться на газету. Об'ясняю ему, как важно рабочему быть ежедневно в курсе событий, читать политические статьи и рабочие корреспонденции. Хозяин смотрит в сторону и, видимо, придумывает причину отказа.

Вынимаю из портфеля толстую книгу и показываю ему:

— Это, — говорю, — «Мать и дитя» Жука. Она учит, как ухаживать за детьми, и что нужно делать, чтобы жена была здоровой. Каждый, подписавшийся на год, получает ее в подарок.

Хозяин берет у меня из рук книгу и случайно раскрывает страницу, где напечатана фотография женского полового органа. Это приводит его в восторг. Он громко смеется, с полминуты думает, а затем спрашивает:

— Сколько на год?

Называю цену.

— Ладно, — решительно заявляет он, — подпишусь, только книгу эту мне сейчас оставьте.

— Мэри [1]), — обращается он к усевшейся рядом со своей матерью жене, — принеси деньги.

Жена смотрит на мать, мать на дочь, на лицах у них подобие улыбки.

— Они у меня унгарки [2]), — оправдывается он, — слабо меня понимают... Принеси деньги, — более решительным голосом требует он.

Жена снова смотрит на мать, поводит плечами и тихим голосом отвечает:

— Не имеем.

— Как так, не имеем? — сердится хозяин, — я же принес тебе в этот вторник получку. Куда, стерва, девала?

— Не имеем, — повторяет она, улыбаясь той же улыбкой. — Не имею.

Хозяин несколько смущен. Ему неловко. Выходит, что он у себя дома не хозяин, что жена и теща могут безнаказанно стыдить его перед чужими людьми, да еще приезжими из Нью-Иорка.

Мало-по-малу он приходит в ярость. Матерно ругаясь, отплевываясь и угрожая, он подступает к женщинам, широко размахивая кулаками.

---

[1]) Мэри — Мария.

[2]) Унгарки — венгерки.

Женщины сидят спокойно. Они, видимо, привыкли к подобным сценам. На лицах у них спокойная, несколько хитрая, несколько насмешливая улыбка. Их маленькие, заплывшие жиром глаза смотрят в сторону. Руки сложили крестом, губы крепко сжали. Тесно прижались друг к другу.

Испуганный ребенок перестает есть и начинает отчаянно реветь. Мой сосед толкает меня в бок. Чувствуем, что необходимо унять разошедшегося земляка, а то еще соседи сбегутся.

Подходим к нему и успокаиваем:

— Ты, земляк, подпишись, а деньги вышлешь позже. Мы ведь тебе доверяем...

Хозяин рад, что дело приняло такой оборот. Он продиктовывает свой адрес, и мы прощаемся.

На улице мы жадно глотаем струю свежего воздуха. Мой спутник, вздыхая и покачивая головой, рассказывает:

— Совсем опустился мужик. Приехал он сюда из захудалой, запрятавшейся в болотах, минской деревушки. В своей жизни города никогда и не видел. С тех пор, как приехал в Америку и привезли его агенты в этот поселок, сидит он здесь безвыездно и все работает на неюнионной шахте.

«Бордеровался» он раньше у этих унгарок. Молодая от него ребенка прижила. Хотел сбежать, да поймали и привели к судье. Судья накричал, посадил на несколько суток за решетку, насильно женил и велел кормить семью. С тех пор и живут все вместе. Он жену не понимает, она — его. С горя парень запил. Жена к судье, судья штрафует, сажает за решетку. За последние два года раз двадцать в тюрьме отсиживался. Пробовал бежать. Только не везет ему, всегда ловят и приводят домой. Теперь он к своей доле привык. Опустился, ничем не интересуется. И удирать-то у него пропала охота. Раньше с женой, что оставил на родине, переписывался, деньги посылал, а теперь, как женили по принуждению, перестал. Стыдится, да и о чем писать-то?

«Погибает земляк, вконец погибает. Да что уж поделаешь! В наших местах такими путями не один из русских рабочих эмигрантов пропадает.

Среди пенсильванских бородачей сектантов.

Из царской России в Америку эмигрировало много религиозных сект. Духоборы, руководимые Петром Веригиным, поселились в Канаде, молокане — в Калифорнии, отдельные секты — по различным местам Северной и Средней Америки. В Пенсильвании, главным образом, живут старообрядцы. Особенно много их в промышленном центре этого штата — Ири.

Обосновались старообрядцы в этих местах замкнутой колонией, насчитывающей более 300 семейств. Одеваются они по-своему, едят по-своему, женятся только на своих, по-английски ни слова.

Местные белоруссы и украинцы величают их кацапами. Высокие, плечистые, лоснящиеся, багровые носы картошкой, волосы, стриженные в скобку. Особенно выделяются они своими бородами. Без бороды взрослого старообрядца в церковь не пустят. Снять бороду — величайший грех!

Процесс американизации их совершенно не коснулся. Свою самобытность староверы сохранили полностью. При каждом удобном случае с гордостью напоминают о своем великорусском происхождении. К белоруссам и украинцам относятся свысока.

В центре староверской колонии расположилась пузатая церковь, такая же битюговая и коренастая, как и сами староверы. Окружена эта церковь тремя-четырьмя салунами, торгующими весьма бойко.

Особенно славятся старообрядцы своим умением выпить. Пьют они так, как никто в Америке. В каждом староверском доме свой самогонный аппарат. Пьют все — мужчины и женщины. Пьют не только по праздникам, но и в будни. Пьют дома и в церкви. Начиная батей и кончая последним старообрядцем, перед каждым — увесистая фляга. Чем больше выпивают, тем дружнее и усерднее возносят хвалу господу богу.

Своего пристрастия к алкоголю старообрядцы не только не скрывают, но и оправдывают доводами, почерпнутыми из евангелия: «Ведь и Иисус Христос превращал воду в вино. И Исус причащался вином». Выходит, что и верным сынам его не грех изготовлять вино из аппаратов самогонных и вволю «причащаться» им.

Как же смотрят на «нарушение прогбиишена» американские власти? Местные власти старообрядцев за пьянство не преследуют. Даже довольны этим. Старообрядцы хоть и пьют, но и работают за двоих. Большинство из них — грузчики. Многие устроились чернорабочими на заводах и постройках. Старовер у американского капиталиста на хорошем счету. Хозяин старовером не нахвалится, ставит всегда в пример другим. Старовер — скотинка покорная. Бог учит смирению, учит смирению и поп. Царство земное — не для бедных людей. Бедным бог и поп обещают царство небесное. А в царство небесное могут попасть не бунтари, а покорные. Бунтари жарятся вечно в аду. И трудятся эти забитые люди в поте лица своего, и, возвратившись с работы, пускают через самогонные трубы заработанные каторжным трудом получки.

С молодыми американцами у старообрядцев настоящая война. Не привыкла американская молодежь видеть длинные, холодные бороды. Порою задремлет в обеденный час старовер, перенесется мыслями в лучшие края, а как откроет глаза — ужас, кусок бороды отрезали проклятые. Сердится старовер, краснеет от злости, шлет на головы озорников все известные ему проклятия, но остальной бороды не сбривает, — бог не велит — и продолжает ходить с полуобрезанной.

К новой России относятся они резко отрицательно. В большевиках видят демонов, антихристов, хулителей бога. Особенно агитирует против СССР и американского рабочего движения старообрядский попище. Встре-

тив местного большевика, отплевывается и переходит на противоположную сторону.

Все же жизнь и время берут свое. За последние годы лед ненависти и недоверия к СССР стал трескаться. Во многом помогают сближению с послереволюционной Россией письма с родины, говорящие о быстром восстановлении промышленности, о растущем благополучии деревни, о веротерпимости советского правительства.

Среди этих старообрядцев образовалась уже крепко спаянная группа, защищающая СССР и внимательно читающая советские газеты и литературу. Приходит она и на лекции большевиков. Сядет в углу и, молча, с любопытством прислушивается к новым, неслыханным доселе речам.

С одним из этой группы пробовал я поговорить по душам.

Парень оказался не глупый, пытливый, интересующийся постановкой в СССР агрономического дела. Я старался уговорить его вступить в партию, бросить церковь, отбросить в сторону традиции и предрассудки.

— Нельзя, — упрямо качал он головой, — колония заест, жене и детям жить не даст.

И лишь среди молодых староверов, выросших уже в американской среде, мало-по-малу отдаляющихся от религии и быта родителей, можно встретить стойких борцов за рабочее дело.

Представили мне двух стройных, красивых юношей. Дети одного из почитаемых в своей среде старообрядцев. Сознательные комсомольцы, деятельно работающие в Лиге молодых рабочих. Получили среднее американское образование. Свободно владеют русским и английским языками. Когда говорят о коммунизме и СССР, глаза загораются воодушевлением.

Эти комсомольцы — первые результаты того мощного влияния, которое Великая Октябрьская революция начинает оказывать на десятки тысяч русских сектантов, проживающих в Северной и Средней Америке. С каждым годом религиозный фанатизм все более уступает место изучению современной России. Чем сильнее и заметнее процесс восстановления экономической и культурной жизни на родине, тем решительнее меняют старообрядцы свое отношение к стране, которая по вине царской власти, в прошлом, была им мачехой, тем лучше становится их отношение к большевикам, строителям новой Рабоче-крестьянской республики. Особенные надежды подает староверческая молодежь. От религиозного дурмана она совершает медленный, но верный путь к ленинизму. От веры в «царство небесное» она переходит к борьбе за «царство земное».

4. В царстве Карнеджи и Шваба.

Ни один из крупных американских городов не производит такого мощного впечатления сплошной фабрики, как столица западной Пенсильвании — Питтсбург. Бесконечное количество уходящих ввысь заводских труб, громадные фабричные корпуса, низко ползущие над городом облака

густого черного дыма, строящиеся и отстроенные небоскребы давят своей громадой и серостью красок.

С раннего утра до поздней ночи над городом несутся протяжные фабричные гудки. Воздух наполнен гарью и копотью. Этим воздухом жители Питтсбурга дышат на фабрике и дома, работая и отдыхая. Вернее, дышит трудовое население, ибо фабриканты, банкиры, владельцы крупных городских предприятий, верхушка заводской администрации, люди хорошо оплачиваемых профессий живут за городом, в особняках, тонущих в зелени садов и оранжерей.

В Питтсбурге и его окрестностях развиты индустрии: железопрокатная и сталелитейная. В самом городе и вокруг него: Мак-Кизраке, Дюкене, Мак-Киспорте, Карнеджи, Брадеке и Омстиде расположены громадные заводы, принадлежащие королям железа и стали Карнеджи и Швабу. Много в этих местах заводов электрических принадлежностей и алюминиевых фабрик могущественного треста братьев Меллонов.

В подавляющем большинстве работают здесь эмигранты и негры. В Омстиде, в дни знаменитой сталелитейной забастовки, которой руководил один из лидеров американских коммунистов т. Фостер, принимало участие до пятидесяти различных национальностей. Среди иностранцев чаще всего попадаются поляки, мексиканцы, итальянцы, много и русских белоруссов и украинцев.

Заработок иностранцев колеблется от 42 до 60 сентов в час. Американцы работают, как квалифицированные рабочие, занимают места надсмотрщиков, машинистов, канцелярских писак, заводской администрации и инженеров. Среди инженерского персонала много иностранцев. В институте Карнеджи устроилось несколько десятков русских ученых, занимающих там ответственные места.

Рабочие в питтсбургском районе не об'единены в профсоюзы. Слишком могущественны местные капиталисты, чтобы можно было организовать рабочую массу. Многочисленные попытки в этом направлении оканчивались до сих пор неудачами. Компаниям принадлежит бóльшая часть земли и домов, газ, телефон, электричество, водопровод. В их распоряжении городская администрация, полиция, штатный и федеральный суд. Произвол царствует полнейший. Штатные страховые законы почти ничем не обеспечивают рабочих. Городские и фабричные больницы все время переполнены. Ежедневно сотнями калечатся люди и, лишившись трудоспособности, погибают от голода и лишений.

Интересная деталь: чернорабочие, работающие 10 часов в сутки, получают 45 сентов в час. Работающие 8 часов в сутки — 50 сентов в час. Выходит, что за 8 часов работы чернорабочий зарабатывает 4 доллара, а за десять часов работы— всего 4½ доллара. И никто не смеет пикнуть, никто не смеет слова сказать! Большевиков тут преследуют с остервенением. Заподозренных в большевизме заносят на черную доску, и в этом районе они работы больше не получат.

Русские эмигранты в питтсбургском районе живут, как и по всей Америке, замкнутыми колониями, в иностранных районах. Процесс аме-

риканизации коснулся их слабо. По самым скромным подсчетам белоруссов и украинцев в западной части Пенсильвании более 20 000. Работают, как и остальные, по-каторжному. Работают для Карнеджи, Шваба, Меллона, Гери и других американских миллиардеров. Миллиардные барыши этих индустриальных тузов обильно орошены потом и кровью тысяч рабов из Белоруссии и Украины, приехавших сюда искать счастья и спасения от царского гнета. Сталелитейный трест, руководимый Чарльзом Швабом, в 1926 году, продал своей продукции на 828 000 000 долларов, «Дженерал моторс корпорейшен» в том же году на 1 000 000 000 долларов. Ежегодно эти и другие компании распределяют между акционерами сотни миллионов долларов барыша. Но что получают рабочие, кроме жалких 45 — 50 сентов в час? На этот вопрос более подробный ответ могут дать переполненные до краев фабричные и городские больницы; десятки тысяч калек, у которых искры раскаленного железа выжгли глаза, обезобразили лица, тяжелые бруски железа поотбивали ноги, искалечили руки, подорвали внутренности.

В самом Питтсбурге рабочая масса кое-как живет, с грехом пополам. Семейные обзавелись отдельными домиками. Холостые «бордеруют» в одиночку и группами. Но в прилегающих к Питтсбургу местах условия жизни совершенно невыносимые. У хозяйки по 10—15 квартирантов. Маленькая куриная избушка утопает в грязи. Комнатки — клетушки. Воздух спертый. Света нет. Даже днем приходится зажигать керосиновые лампы. Когда работы много, работают на три смены. Одну неделю с шести часов утра, другую с трех часов пополудни, третью с одиннадцати часов ночи.

С заводов приходят еле живые. Моются, наполняют свои желудки супом и мясом, ставят на стол ядовитый самогон, рассаживаются, и начинается азартная игра в карты. Не играющие и не пьющие ложатся на койки и спят, остальные наряжаются и отправляются в гости.

Особенно широко развита в этом районе проституция. Несмотря на государственный запрет, в Питтсбурге имеется обширный проституционный район, содержимый лидерами республиканской и демократической партий. Полиция участвует в прибылях, а посему не только не чинит препятствий, но и бережливо охраняет эти предприятия. В еще бóльших размерах развита проституция в прилегающих к Питтсбургу городках. Венерические болезни распространены чрезвычайно, правительственный или городской врачебный контроль над проститутками совершенно отсутствует.

В общем, жизнь рабочих в этих местах серая, беспросветная, совсем как в тюрьме. Люди отупели, опустились, не проявляют никакого интереса к книге и газете, лениво отмахиваются от политической и общественной жизни. Изо дня в день тянут свою тяжелую, монотонную лямку и покорно гнут шеи перед сильными мира сего.

Совсем как у Горького в «На дне» тысячи людей живут в «компанейских» бараках.

На открытом месте выстроены длинные ряды серых зданий. Заходишь внутрь. Сквозь густой, табачный дым вырисовываются вереницы

грязных полатей. По две в ширину и по две в высоту. На некоторых из них лежат полураздетые люди. Перекинули ногу на ногу, глаза устремили в потолок. Тянут протяжные, заунывные песни. Среди разнообразнейших национальных напевов ухо легко улавливает «Марусю», «Мой костер в тумане светит», «Солнце всходит и заходит»... Сквозь маленькие, загрязненные окна виднеются громадные корпуса сталелитейного завода. Длинные трубы уходят ввысь. Плывут по проволочным канатам к доменным печам, наполненные рудой, вагонетки. Стекла отражают зарево плавящейся руды. Здесь ночью так же светло, как и днем.

В этих условиях, под шум проходящих поездов, режущих воздух свистков и фабричных гудков, живут обитатели бараков по 5—6 месяцев в году. Компания платит им 4½ доллара в день. За харчи и спанье они платят компании по одному доллару двадцать пять сентов. Припасают за зиму, если не проиграют в карты или не пропьют, несколько десятков долларов, а весной, когда земля покроется травой и на деревьях распустятся почки, отправляются на фермы, на лесную рубку, на постройки железных дорог и мостов, а кто и «гобовать» [1]) в Калифорнию и Флориду.

В этих условиях, под бдительным надзором полиции, под слежкой сотен тысяч хозяйских детективов, при постоянных преследованиях со стороны заводской администрации и «стопроцентных» американцев, тяжело приходится работать местным коммунистам.

Все они люди бывалые, отважные, не страшащиеся расчета, выселения или тюрьмы. На крупных заводах организованы и организуются сейчас фабрично-заводские ячейки. Эти ячейки издают свои фабричные листки, распространяют литературу, изо дня в день ведут коммунистическую пропаганду...

Забавную историю рассказывал мне товарищ в одном из городков питтсбургского района. История эта как нельзя лучше иллюстрирует отвагу и находчивость местных коммунистов.

Получилось распоряжение из Чикаго:

— Готовьте помещение, мобилизуйте силы, высылаем для демонстрации советскую фильму «Седьмой год советской власти».

Что ж, картина так картина. Пошли наши товарищи за разрешением в полицию. Уплатили сколько следует и кому следует, поручились, что кроме работы фордзонов на русских полях показывать ничего не будем, и разрешение «вытянули».

Осталось подумать о хорошей рекламе. «Реквизировали» на день у одного симпатизирующего старенький «форд», прикрепили к нему две упирающихся друг о друга доски, наклеили на них рекламные плакаты и послали безработного товарища раз'езжать по городу.

Едет он, едет. С улицы сворачивает в улицу, — вдруг слышит, откуда-то несутся звуки оркестра. От'ехал в сторону и ждет. Скоро из боковой аллеи показались конные полицейские, за конными — пешие, за пе-

---

[1]) Гобо — американский тип бродяги.

шими — толстый капельмейстер с булавой в руке, за капельмейстером — свистуны и барабанщики, за барабанщиками — оркестр, а за оркестром — несколько сот одетых в турецкие костюмы из красного бархата важных буржуев. Бархат их расшит золотом, в шляпы понатыканы павлиньи перья, лакированные сапоги бутылками...

Растерялся-было товарищ, а потом надоумил: должно быть, местные масоны устроили парад.

И решил наш «рекламщик» использовать буржуев так, чтобы они пролетарскому делу послужили. Обождал, пока шествие стало подходить к концу, повернул «форда» и поплелся в хвосте как ни в чем не бывало.

Стоят американцы на тротуарах, смотрят с удивлением на шествие. Идет во главе большевистской рекламы несколько сот человек в ярко-красном, оркестр играет марш, полицейские останавливают движение. Смотрят американцы с удивлением и, должно быть, думают про себя:

«Ишь сколько проклятых большевиков набралось в нашем богоспасаемом городе! Еще, помилуй бог, как бы революции какой-нибудь не случилось...»

Долго так ехал позади масонов находчивый товарищ. Сообразили, наконец, полицейские в чем дело и прогнали на боковую улицу.

Все же реклама оказалась отличной. С помощью местных буржуев большевистская картина стала настолько популярной, что смотреть ее собрался переполненный до краев зал. Особенно много было в публике американцев....

А вот и другая история, не менее интересная и так же ярко характеризующая местных партийных работников. Услышал я ее из уст товарища- чеха, работающего в Мак-Киспорте:

— Поступил я на один из заводов электрических принадлежностей. Работает на нем несколько десятков тысяч человек. Раз, возвращаясь с работы, заметил я в руках рабочих летучки. Попросил соседа показать. Оказалось, реклама самой компании, убеждающая покупать последние электрические изобретения.

«Иду я домой и думаю: а хорошо это было бы, чтобы рабочие заместо хозяйских нашу литературу читали. И пришла мне в голову мысль положить у главного входа на компанейскую свою, коммунистическую.

«На следующий день закончил работу на несколько минут раньше, подкрался к главному выходу и поверх хозяйских положил кучу своих. Вышел на двор, а внутри все так и переворачивает. Что-то будет.

«Работы кончились. Вывалили на улицу рабочие, в руках держат коммунистические летучки, внимательно читают...

«Администрация завода переполошилась. Поставили у столика с рекламной литературой специального сторожа.

«Недели через две захотелось мне повторить то же самое. Уловил момент, когда сторожа не было, подкрался к столику и снова на компанейские положил свои.

«Через два дня зовут меня в канцелярию. Ну, — думаю, — на лучшую работу пошлют, — видно, работа моя понравилась «боссам». Пошел я. Вышел ко мне в приемную сам главный «суперинтендент» [1]); внимательно осмотрел меня с ног до головы и этаким ласковым-преласковым голоском говорит:

«— Вот, Джек, твоя получка и ступай себе на все четыре стороны. Чтобы тебя в нашем городе через два часа не стало. Нам «гад-дем» [2]) большевиков здесь не надо.

«Стал по правую сторону от меня один полицейский, по левую — другой, сзади — третий, впереди — четвертый, вывели меня за ворота, дали как следует на прощание, и пошел я искать другого места...

---

[1]) Суперинтендент — управляющий.

[2]) Гад-дем — проклятый.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

У архангельских краеведов.

Родион Акульшин.

И здесь неприятное соседство: рядом с Институтом промышленных изысканий и обществом краеведения — лавка Центроспирта. Возле лавки, как неизбежность, — шатающиеся фигуры. Но о них забываешь, их не замечаешь после того, как побываешь внутри лаборатории, где Вениамин Иванович Лебедев занят кропотливыми экспериментами с синевой лесоматериалов, где за перегородкой Андрей Андреевич Евдокимов, пионер русской кооперации, неустанный труженик, незаменимый трибун и бескорыстный вдохновитель молодежи, пишет очередную пламенную статью о строительстве новой жизни. Внешность этого человека как будто суровая и неприступная, но скажите вы одно только слово о том, что на благо родины хотите работать и смотрите, каким огнем запылали его молодые глаза, каким светом озарилось морщинистое лицо. А вот уже и не заметно морщин.

Потому что непоколебимо знает Андрей Андреевич Евдокимов, что все пережитое нами в недавние годы, все еще не изжитое — трудности и недохватки, все это временное, все это лишь должно разжечь в нас любовь к работе, потому что безмерно богата наша республика и счастье исключительно в наших руках.

И грустно, что человек исключительного размаха, бьющей ключом энергии, философ, экономист, поэт и кооператор, заброшен жизнью на крайний север и о нем, может быть, не знают те, кому следовало бы знать, кому следовало бы призадуматься над всесторонним использованием незаурядных талантов. Конечно, нужны толкачи и на окраинах наших малолюдных, но печально, что, беспомощные материально, не могут они осуществить того, что не дает им покоя ни днем, ни ночью, что можно бы осуществить при некотором внимании Москвы.

У Андрея Андреевича есть основание многое ждать от севера, потому что Андрей Андреевич исколесил всю Россию вдоль и поперек, начав свою работу с книгоношества по селам и деревням, по ярмаркам, монастырям и фабричным районам.

У человека, знающего всю Россию, есть данные для сравнения экономики, промышленности и природных условий различных районов.

Проработав очень много до революции и в первые ее годы по организации на юге высших крестьянских школ, в настоящее время Андрей Андреевич занят проведением в жизнь идеи внутренней колонизации края — богатого, обширного, но перенаселенного по берегам рек и совершенно безлюдного в нескольких шагах от околиц прибрежных селений.

В печати и на лекциях в рабочих аудиториях севера Андрей Андреевич выступает с призывом итти в леса.

— В нашем крае мы стоим под знаком элементарной колонизации, т. е. «расселения». Нам необходимо расселиться, выбиться из полос скученности, заселить новые дорожные пути, проникнуть в отрезанные лесные массивы... Для всей этой передвижки нужны, конечно, материальные средства, нужны новые технические познания, но, вместе с тем, нужна инициатива, подвижность и отсутствие рабства перед «конфоркой» (комфортом)... Призывы «итти в леса» рассматриваются, как некое чудачество. Но такой призыв может вырасти в общественный лозунг. Ибо одностороннее использование наших лесов есть наиболее слабое место нашей экономики... В наши леса надо нести механику и химию современности. Однако носители этих научных познаний по старой традиции охотнее скучают в канцеляриях и чертежных, нежели вырываются на лоно природы... Для нашего крайнего севера нужны характеры, окрыленные в особом местном уклоне... Закаленность к стихиям, суровая преданность морю и лесу, уменье мириться с климатом и расстояниями, все это может быть возведено в своеобразную доблесть северянина-колонизатора.

В глухих углах севера, в деревнях, еще не слышавших агитатора за расселение (Андрей Андреевич не сидит на месте: зимой и летом путешествует он по многоверстным бездорожьям, организуя молочные артели, налаживая терпентинный промысел, читая лекции по кооперации и т. д.), в глухих деревнях крестьяне жалуются, что жить им очень трудно, и собираются они переселиться в Сибирь, или еще куда-нибудь, где жизнь немного полегче.

Андрей Андреевич говорит всем этим ищущим и мятущимся:

— Счастье возле вас, неподалеку от вашей хижины, и нет никакой надобности пускаться в разорительные дальние поездки.

Мне пришлось увидеть разные хозяйства колонистов на берегу Ледовитого океана. Некоторые семьи живут там более двадцати лет. Океан — их кормилец, источник благосостояния. Отношения океана ко всем одинаковы, так же, как и отношения солнца к людям.

Есть колонисты, хозяйство которых радует изобилием, и есть такие хозяйства, на которые не хочется глядеть. А переселились люди в одно время и были одинаковы своей материальной мощью. В тех краях нет леса, а зимние морозы доходят до пятидесяти градусов. Нерадивые предпочитают скорее замерзнуть, чем заблаговременно в летнюю пору собрать бревна, выбрасываемые на берег океаном. Нерадивые не подумают заранее сделать запас соли, и то ничтожное количество рыбы, которое с грехом пополам им удается наловить, портится и выбрасывается туда же, где было поймано.

Так что не всегда достаточно одного только переселения для того, чтоб в рот посыпались сладкие куски.

Но все же, как правило, про северянина нельзя сказать, что он от дела лытает, северянин в массе — примерный трудолюбец, и если жалуется на трудности, значит, эти трудности — не вымысел, а действительно существуют и действительно изнуряют. Да взять хотя бы жителей верхнего течения реки Пинеги. Полгода, начиная со второй половины зимы, они заняты лесным промыслом. Рубят деревья, подвозят к мелким речкам. Весной готовят плоты и из реки в реку гонят их до Северной Двины. Приблизительно к Петрову дню работы с лесом кончаются. Заработает крестьянин за полугодие восемьдесят рублей — и это все. И почти вся эта сумма уходит на хлеб, потому что своего хлеба хватает месяца на два, а иногда и совсем его не бывает. В прошлом году, например, хлеба не вызрели, в этом году яровые погибли от засухи.

Полгода крестьянин работает для хлеба семье, другие полгода уходят на добычу корма скоту.

После Петрова дня начинаются покосы, и почти все трудоспособное население выезжает на сенокосные расчистки за пятьдесят, сто и больше верст. Как только устанавливается санный путь, сено перевозится к жилью.

Разносолов у северянина не приходилось наблюдать. Даже в престольные праздники, весьма чтимые на севере, за столом не бывает мяса. Черный хлеб, ржаной или житный, соленая треска или тресковые головы и молоко.

Хорошо живут только вблизи Архангельска, потому что отсюда легче сбывать товар (мясо, молочные продукты), а предметы потребления здесь значительно дешевле. Цены на муку в деревенских кооперативах не одинаковы. Начиная от Архангельска они постепенно растут в направлении к верховьям Пинеги. Четырехсотверстное расстояние удорожает пуд хлеба иногда на целый полтинник и больше. А при выплате крестьянам заработанных денег разница в цене на продукты совершенно не берется во внимание.

Хлебный вопрос в северных деревнях самый острый, и тем досаднее перебои в заготовках продовольствия местными кооперативами.

Один раз мне пришлось ехать на лодке вместе с двумя крестьянами, плывшими в город Пинегу за шестьдесят верст для того, чтобы купить там по три пуда хлеба. В ближайшем кооперативе муки не оказалось, а из-за этого людям в период сенокоса за шестью пудами пришлось плыть шестьдесят верст по течению и столько же на воде в утлом осиновом стружке.

Нет, не напрасны жалобы северян на трудную жизнь, и тем уместнее пропаганда идеи внутренней колонизации Андреем Андреевичем. Но, конечно, для претворения этой идеи в жизнь нужны средства, нужна государственная помощь.

Там, где приходилось проезжать (на расстоянии нескольких сот верст от Архангельска), имя Андрея Андреевича озаряет лицо собеседника приятным удивлением:

— Вы знаете его?

Это имя для всех — синоним того, что будет через несколько десятков лет. Тогда-то уж, несомненно, обратят внимание на север, и республика наша будет несравненно богаче, и те идеи, к осуществлению которых приходится теперь энергично звать массы (иногда без всякого результата), тогда будут самым обычным явлением, ну, как спортивные кружки, например, или красные уголки в наше время.

А их много, насущных идей, волнующих Андрея Андреевича. Молочная кооперация, маслоделие, сыроварение. Эта отрасль хозяйства прочно прививается в селениях по реке Пинеге.

Признали маслоделие, признали технику, признали вику, датские нормы.

В Пиремени все сохи заменили плугами местного изделия. В Шеймогорах занялись мелиоративными работами, ищут возможностей применить подрывной способ к выворачиванию двадцативершковых пней.

Север обширен и богат своими природными данными. Но и богатство, если только оно расточается, ничем не пополняясь, в конце концов может иссякнуть. Мы, русские, очень часто живем задним умом и спохватываемся об упущениях слишком поздно.

Об истощении северных богатств говорить пока не приходится, но нужно во-время сделать предупреждение о страшной опасности в случае небрежного отношения к природе.

И тут раздается голос этого своеобразного человека:

«Никто не оставит костра не залитым вблизи деревни, но сделает это в глухом, первозданном лесу и даст причину пожарищу на десятки верст. Никто не зарежет овцу, от которой ожидается приплод, но можно убить зверя в период плодоношения. Никто не использует только что вылупившихся цыплят, но можно выловить рыбу размером в четверть вершка, можно убить песцового щенка, и т. д. и т. д.

Такое отношение к дикой природе укоренилось с незапамятных времен. В настоящее время такое отношение стало невыносимым для самого населения и для всего государства. Ибо при целесообразном использовании дикой природы, при расчетливом и хозяйственном к ней отношении каждая десятина дикой земли, тундры и даже болота давала бы нам постоянный и немалый доход. Не истреблять зверя, птицу, рыбу в диких местах, а заселять зверем, птицей и рыбой дикие места — вот что должен делать хозяйствующий человек. И когда он подойдет к природе, как разумный, расчетливый хозяин, то он будет не истощать ее, а обогащать, и это обогащение дикой природы очень скоро увеличит доходность от нее для населения.

В основу этого нового отношения к дикой природе должно быть положено полное и всестороннее знание ее. А, следовательно, выработку этого нового отношения к дикой природе надо начинать с ее изучения.

Если мы признали пользу и значение науки для сельского хозяйства, для промышленности, для ремесл, то мы должны признать, что без науки нельзя использовать и «дикую природу».

Мы должны досконально знать, как живут дикие звери и птицы и рыбы в каждом лесном участке, в каждом значительном озере, в горах и на бо-

лотах, чем они питаются, хватает ли им корму, чем они болеют, отчего успешнее размножаются, отчего пропадают.

Мы должны знать, какие растения растут в наших лесах, какие из них могут быть использованы.

Мы должны знать полезные минералы, встречающиеся в нашей местности, для того, чтобы в случае надобности их использовать.

Мы должны знать прибрежные морские воды, следить за их жизнью, изучать подходы рыбы, ее породу, возрастный состав стай и пр.

Мы должны знать наши болота, в которых есть полезные ископаемые: торфы, сапропелиты, и которые можно населять зверками и птицами.

Все эти знания нам необходимы, чтобы вести расчетливое планомерное хозяйство в дикой природе, чтобы научиться разводить рыбу, выращивать диких зверей в неволе, добывать из недр полезные ископаемые, оберегать леса от вредителей и т. д.

Нам сейчас нужно как можно быстрее изучать дикую природу, ибо мы слишком долго проявляли безрасчетливое к ней отношение.

В то же время нам нужно, чтобы к изучению подошло само промысловое население, ибо это население должно научиться тем самым по-новому хозяйничать в дикой природе.

Население северных окраин имеет в данное время самое близкое общение с дикой природой. Промысловцы: лесорубы, охотники, рыболовы постоянно общаются с дикой природой, и у них имеется немало ценных познаний о своих районах. Но эти познания остаются без накопления для науки, без обработки в научную форму.

Старые опытные охотники могут многое интересное рассказать о жизни и повадках местного зверья, но все эти сведения исчезают вместе с краткой жизнью отдельного человека. Наука тем и сильна, что она накапливает опыт многих поколений наблюдателей природы и жизни. Следовательно, если мы желаем создать местное охотоведение, местное познание дикой природы, мы должны установить тесную связь между наукой и местным промысловым населением».

Зачастую краеведы все свое внимание сосредоточивают на фольклоре, на заботах об отыскании вариантов давно известных былин, песен, свадебных причетов. Северян интересуют больше богатства северной природы. Архангельские краеведы заняты, главным образом, мыслью об организации новых промыслов, способных укрепить экономику края. Достаточно просмотреть список их изданий, чтобы убедиться в этом.

— Лесохимические промыслы на севере.

— Рыбный промысел Печоры.

— Гипсовые залежи Архангельской губернии и их использование.

— Новое в смолокурении.

— Техника северных промыслов.

— Охотничье хозяйство Архангельской губернии.

— Промыслы Мезенского побережья.

И много других, перечислять которые нет надобности. Всего на складе краеведов имеется до ста пятидесяти названий различных трудов по северу. Из них не могу не упомянуть о брошюре Вениамина Ивановича Лебедева:

— Синева пиломатериалов и меры борьбы с нею.

«На наших лесопильных заводах под синевой разумеется вообще изменение цветовой окраски древесины, начиная от сине-серого до более темных, даже черных цветов».

Рассадниками синевы являются особые грибки, хорошо развивающиеся при температуре в 20—25°. «Большое значение для роста грибков имеет присутствие в древесине определенного количества влажности и воздуха».

В. И. Лебедевым в лаборатории Института промышленных изысканий собрано около двадцати сортов различных грибков. Грибки живут в стеклянных колбочках, получая необходимое для себя питание.

Чтобы с врагом бороться, надо знать его натуру, его привычки, его внешность, его вредоносность.

В. И. Лебедеву помогают несколько лаборантов из крестьянской молодежи — местных и присланных из центра. Работа ведется серьезная, и все это из-за каких-то, казалось бы, ничтожных грибков.

«Однако пораженный грибками лес принимается иностранными покупателями со скидкою в 25%.

По данным, опубликованным одним американским журналом, выясняется, что снижение цен на засиневший материал достигает огромной цифры. Так из опросной анкеты, заполненной восьмью большими американскими лесопильными заводами в 1921 году, усматривается, что при реализации товара в количестве 1 748 000 000 фут., благодаря синеве, стоимость этих досок была снижена на восемьсот сорок семь тысяч долларов.

По данным «Северолеса», убыток, вызванный снижением цены на засиневший товар в 1923 г., выразился в сумме полутора миллионов рублей.

Столь огромный убыток, вызываемый синевой, заставляет мировую лесопромышленность добиваться разрешения задачи борьбы с синевой, которая признается неотложной и настоятельной».

Значит, не зря сидят лаборанты Лебедева за микроскопами, не зря Архангельский губисполком отпускает средства Институту промышленных изысканий.

В Архангельске более двадцати лесопильных заводов. Лес — главная статья нашего экспорта, и нам не по карману терпеть миллионные убытки из-за микроскопических грибков, обесценивающих лесоматериалы.

Наряду с исследованиями по синеве Институт занят большой работой по усовершенствованию одной отрасли промышленности, обещающей в будущем дать громадные доходы краю и поднять благосостояние крестьян.

Отрасль эта — добыча терпентина.

Терпентин — жидкость, выступающая на обнаженных местах соснового ствола, затвердевающая на воздухе и называемая тогда серой. Из серы вырабатывается канифоль и скипидар.

Я позволю себе еще раз, в связи с терпентином, сделать несколько выписок из книги А. А. Евдокимова «Лесохимические промыслы на севере»:

«На крайнем севере деревня угнетена суровым климатом и еще более угнетена она своеобразным малоземельем, так мало гармонирующим с огромными заболоченными пустырями, безлюдными лесами и тундрами».

«На севере создалось оригинальное малоземелье — аграрное перенаселение небольших оазисов культурной обрабатываемой площади (пашни) и сенокосов, разбросанных в безлюдной пустыне лесов и болот севера.

В северной области приходится на 100 душ сельского населения 34,6 десятин посева, тогда как в Дании 126 десятин.

Если бы мы подняли урожайность северной пашни даже до германского уровня, то и тогда не довели бы благосостояние нашего северного земледельца до уровня немецкого крестьянина» (проф. Д. И. Деляров).

«Из такого положения экономики северной деревни вытекает важнейшая проблема северного края — расширение сельскохозяйственной базы путем внутренней колонизации.

В условиях севера крестьянскую колонизацию вообще приходится рассматривать, как выдвижение в необжитые места сельскохозяйственно-промысловых комбинатов.

Для целей внутренней колонизации лесохимические промыслы являются необходимым подступом.

Добывание живого терпентина может стать первой работой колонистов, пока они еще не освоили сельскохозяйственную площадь полностью.

И чем больше современных технических навыков принесет крестьянин на новое место, тем легче ему освоиться в первые, наиболее трудные годы».

Прямой задачей Института промышленных изысканий является поднятие техники терпентинного промысла — постановка различных опытов для получения наибольшего количества продукта, отыскивание подходящих участков леса для подсочки сосны.

Подсочка состоит в частичном обнажении ствола сосны, причем это нисколько не отзывается на жизни и качествах дерева, давая в то же время большой доход живицей, вытекающей из надрезов.

Один из тезисов Андрея Андреевича гласит, что:

«Многолетний опыт организации лесохимических промыслов на севере вполне доказательно показывает тот путь, которым должна пойти организация их. Этот путь — кооперативное об'единение кустарей».

А кооперативная организация представляется ему в следующем виде:

«Предположим, что в том или ином районе мы имеем налицо все благоприятные условия для ведения северного подсочного хозяйства. Составляется товарищество из 20—30—40 семей для ведения подсочного хозяйства.

Государство отпускает участок леса в таком размере, чтобы данный наличный состав товарищества мог его переработать в течение десяти лет.

Повидимому, участок леса, полученный от государства, придется поделить на делянки соответственно силам и желаниям входящих в товарищество членов семей.

Делянка, отведенная крестьянской семье, является как бы в некотором ограниченном пользовании самой семьи. Эта делянка в то же время и часть общего товарищеского участка.

Мы предполагаем, что при развитии подсочного хозяйства специалист-инструктор будет давать правила использования каждой делянки, точно так же, как контроль-ассистент в молочном хозяйстве устанавливает нормы кормления.

К дереву строевому, шпальному, дровяному надо, очевидно, применить разные способы подсочки.

Подсочка будет применяться двух-, пяти- и семилетняя, в зависимости от насаждения и разных типов деревьев. Подсочка вельская даст труженику серу и немецкая подсочка — живицу. Эти полупродукты потребуют переработочного завода, который будет принадлежать или товариществу подсочников, или группе таких товариществ, или союзу этих товариществ.

Здесь устанавливаются те же взаимоотношения, что и в крестьянском промышленном маслоделии. Сера и живица — это как бы молоко, носимое на завод; канифоль и скипидар — то же, что масло и сыр, выпускаемые маслодельным заводом».

Евдокимов и Лебедев — два столпа северного краеведения, два столпа, которыми держится Институт промышленных изысканий; два незаменимых лектора на кооперативных курсах. От окончивших курсы и посланных на работу в далекое захолустье приходилось слышать, что:

«Когда читают лекцию Андрей Андреевич Евдокимов или Вениамин Иванович Лебедев — аудитория переполнена, не хватает мест для сидения, не хочется тогда, чтоб лекция кончалась, душу охватывает желание работать, веришь тогда в славное будущее нашей республики».

Но, обладая талантами вселять бодрость духа в окружающих, Евдокимов и Лебедев все же во многом отличны один от другого, и главное их отличие заключается в следующем:

Если по отношению к Андрею Андреевичу в центре отнесутся с недоверием, если на его проекты ответят улыбкой, если на просьбу выдать денег для важного дела, пробурчат себе под нос:

— Подумаем, —

Андрей Андреевич, плюнув, скажет:

— Ну, и чорт с вами, обойдемся и сами.

Вениамин Иванович, добравшись до центра и проникнув в кабинет главков, не так скоро выбежит на улицу, пускай и его встречают неприветливо. Вениамин Иванович, в противоположность горячему Андрею Андреевичу, терпелив безмерно. Он рассуждает:

— Ничего, попотею, но без результата, с пустыми руками, не уйду, до тех пор пока меня не выставят силой.

Вениамин Иванович настойчив и плоды его настойчивости север понемногу начинает пожинать: работа архангельских краеведов признана насущно-необходимой, и признание это вылилось не в резолютивную форму, как

часто бывает, а в финансирование, пока, правда, не столь щедрое, но обещающее в будущем достигнуть громадной цифры.

Андрей Андреевич, потерпевший крушение в московских кабинетах, вот уже несколько лет не показывается в столице, предпочитая работать, не имея дела с верхами.

Вениамин Иванович наведывается в Москву не менее двух раз в год и с каждым разом все с бо́льшим успехом.

А в его квартире, в Архангельске, вы увидите на стенах множество портретов собак, нарисованных рукою хозяина-химика, ботаника, зоолога, художника, охотника и рыбовода. И вот его рассказ о жизни семги, услышанный мною на берегу Двины, в Кегострове, тихой, безлунной и беззвездной, но светлой, как день, северной ночью.

Мы приехали на моторной лодке к Сергею Федоровичу Иевлеву — секретарю краеведческого общества.

Вениамин Иванович пел северные песни. Андрей Андреевич рассказывал о том, как ему и его сослуживцам в свое время приходилось петь целыми вечерами за каравай хлеба или кусок ветчины. Потом пили чай и ели семгу, а когда, возвращаясь из гостей, шли к лодке и хотелось пить после соленого, Вениамин Иванович рассказал о рыбьей жизни, о жизни той рыбы, которую мы ели, и рассказ этот показался мне пригодным, как тема для большого романа, в котором действующими лицами должны быть люди и рыбы. Но рыбам должно быть отдано предпочтение.

Королевский лосось Северной Америки, невский лосось, архангельская семга и амурская кета — все это разновидности одной и той же породы и образ жизни у всех одинаков.

Семга живет в море, но в море ее не ловят. Снасти рыбаков не проникают в глубины, приютившие недолговечную жилицу. Родина семги — пресные воды, тихая, прозрачная заводь реки, с чистым песчаным дном.

Вот семге стукнуло семь лет. В этом возрасте она должна произвести потомство, чтобы потом умереть. И в мае месяце она плывет на свою родину, в ту самую заводь, где появилась икринкой, как ласточки и грачи летят весною в те самые гнезда, где родились и провели свое детство.

Трудно плыть против течения, пороги и водопады могут повстречаться на пути. Тогда семга, сгибаясь кольцом и подпрыгивая высоко вверх, перескакивает через преграду. Охотники знают о предбрачном путешествии рыбы и, снабдив себя запасом зарядов, ждут в тех местах, где без прыжка путешественницам обойтись невозможно.

Кончен путь, найдено тихое пристанище. Вода прозрачна, заметно движение каждой песчинки на дне.

Время свадебных игр — время появления брачного наряда. Чешуя постепенно темнеет, на нижней губе вырастает крючок, у самцов такой большой, что им поневоле приходится оставаться с открытым ртом, потому что рот не закрывается.

Рыбаки торопятся поймать семгу вскоре по ее прибытии из моря, пока еще крючок не вырос и чешуя из серебристо-светлой не превратилась в более темную.

Семга на родине. Но здесь она не прикасается к пище в течение всего лета и осени, до самого икрометания, которое происходит не раньше октября. К этому времени она страшно худеет, становится тонкой. Чешуя врастает в кожу, кожа воспаляется. Это уже не семга, а лох, и мясо у такой рыбы не красное, а бледно-розовое.

Но вот, наконец, наступает момент нереста.

Семга (самка и самец) плывет как бы на брачное ложе — нерестилище. Выкопав крючком ямку на чистом песке, самка становится против течения и начинает метать икру, — ту самую, огненно-оранжевую, которую вы покупаете в гастрономических магазинах. Одновременно с нерестом самец выпускает молоки. Хариусы целыми стаями шныряют поблизости, приготовившись к уничтожению чужого семени.

А потом семга слабеет окончательно, слабеет так, что не может плыть и еле держится в воде. Течением ее сносит в море, и там она попадает в пасти белуг и других хищных рыб. Если же удается спастись, то море восстанавливает потерянные силы, и семга может вернуться на свою родину еще раз. Но это бывает очень редко, только как исключение. Из десяти тысяч икринок оплодотворяется не больше восьми сот. К весне из икринок вылупляются мальки, также в большом количестве погибающие. К августу они вырастают в длину до вершка. До трех лет живут в пресной воде без всякого роста, оставаясь все время с палец величиною. После трех лет скатываются в море и там очень быстро, в три-четыре года, вырастают до пуда весом.

Сколько же взрослых рыб получается из десяти тысяч икринок? Очень мало, не больше двадцати штук. И эти двадцать, также как их родители, в период половой зрелости поплывут на свою родину, и, прожив там лето, скатятся в море легкой добычей хищникам.

По Карачаю.

Дмитрий Стонов.

1.

...Город остался позади. Низкорослые кавказские лошади, точно предчувствуя дальний путь, замедлили шаги. Ровные места начали суживаться, уменьшаться, исчезать. Горы, окружавшие город декоративным валом, возникали одна за другой, поверхность их была выжжена горячим ноябрьским солнцем и сильно напоминала увеличенную до неимоверных размеров географическую карту. По вершинам карабкались миниатюрные стада, фигуры пастухов, закутанные в остроплечие бурки, были неподвижны. Взбитая копытами лошадей, сухая как мука, темно-рыжая от заходящего солнца пыль неотступно шла за нами.

Наступали сумерки.

Будуян, верный наш спутник, преобразился. На молодцеватую свою фигуру он набросил бурку, — она прикрыла лошадь от шеи до хвоста, — выпрямился на седле, глаза его стали острее и зорче, он точно навсегда расстался с бесконечными своими песенками и русскими прибаутками, так комично звучавшими в его устах.

Поздним вечером мы приехали в аул Терезе.

Терезе по-карачаевски — окно. Окно в мир, в новую жизнь.

До революции аула этого не было, обширная и плодородная его земля принадлежала какому-то кавказскому князю. После того, как князь был удален, карачаевцы вышли из ущелий и построили здесь свое поистине новое жилье. В 1923 году горцы жили еще в шалашах, канцелярия исполкома находилась под буркой. Бандитствующие остатки белых особенно ненавидели этот подвижной исполком, они часто, темными ночами, налетали на переселенцев, бесчинствовали, грабили, убивали. Теперь в Терезе — 457 дворов, две каменные, крытые железом, школы, учреждения, кооператив. На том самом месте, где под буркой находился первый исполком, где делили землю и утверждали новый мир, жители Терезе к десятой годовщине Октября соорудили памятник Владимиру Ленину.

Ночь. Канун революционного праздника, Октябрьского десятилетия. Аул спит, только карачаевские кудлатые псы, преданные сторожа бесчисленных стад, встревожены. Несколько сот ездоков спустились с гор. Через три

дня начнется праздник, ездоки расстались со своими стадами, чтобы принять участие в торжествах. Часть прибывших останется в Терезе, другая же — бо́льшая — проделает еще верхами сто верст, поедет на всенародное торжество. Карачай лишь недавно получил автономию, он не имел своего центра, как не имел своих городов. В срочном порядке был выстроен город — шахар, названный именем товарища Микояна — Микоян-шахар. На открытие города и тянутся карачаевцы со всех аулов и кошей.

Привал. Кровавое пятно костра алеет на просторной площади, над ним тянется дымок, переливается нагретый воздух. Становится все холоднее. Лошади звякают удилами, вкусно и звонко перетирают сено крепкими зубами. Вдали, в горах, проснулся орел, разбрасывает в ночном воздухе дикие, встревоженные вопли. Ночная тишина, шелестящий треск костра настраивают на мечтательный лад. Но сидеть неподвижно слишком холодно. Горцы встают и отправляются к памятнику. Лошади, как собаки, следуют за своими хозяевами.

Памятник — гранитный обелиск, покрытый иероглифами. Такие, надо полагать, колонны ставились у египтян при входе в храмы и гробницы. Обелиск наводит на мысль о прошедшем пути. Здесь не мало зрителей, которые — буквально — своею грудью, своими саблями, кинжалами и пистолетами отстаивали каждую пядь этой земли.

Тем временем веселый Канамат затеял у костра танцы. О карачаевских танцах я расскажу ниже: в них помимо музыки и зрителей, которые в такт хлопают в ладони, участвуют двое — мужчина и женщина. Женщины, музыканты уехали, они, по всей вероятности, были уже в новом городе. Но Канамату хотелось танцовать, его распирало от желания — веселить и веселиться, и вот он решил заменить собой троих — танцовщицу, танцора и музыканта. Тут только я по-настоящему понял значение и смысл слов — рассыпаться в порошок. Стоящие кругом карачаевцы ободряли Канамата, хлопали в ладони, притаптывали ногами. Он же старался сверх мер. То, подражая отсутствующему инструменту, он губами тоненько выводил однообразную песенку, повторяя ее после каждого десятого тона, то, пыжась, «изображал» мужчину, молодецки расчищал дорогу воображаемой женщине, то вдруг исчезал мужчина, его «заменяла» женщина. Танец не ладился. Тогда Канамат одновременно начал делать работу троих — «играть» и отплясывать мужскую и женскую партию. Холодной ночью бедному Канамату было жарко, он разоблачался, пот струился по загорелому его лицу...

На черном густом небе яснее проступила золотая сыпь звезд. Из вместительных бурок горцы устраивали ночное ложе.

Надо отдохнуть. До рассвета осталось несколько часов. На рассвете продолжаем путь.

2.

Мне не спалось, я сбросил бурку и поднялся. Здоровый храп горцев, как треск кузнечиков в августовском хлебном поле, стоял кругом. Грустно вздыхали лошади, переминались с ноги на ногу. В седом пепле умирал огонь

костра. Лучились холодные звезды, как бы отставали от неба, приближались к земле.

Я оглянулся. Далекие кубики домов попрежнему лежали в густой чернильной темноте. Лишь один огонек сквозь воображаемое окно пялил на свет свой красный керосиновый глазок.

Я пошел на свет.

Огонек вырастал. От него падал длинный, длинный треугольничек, ложился на серую, свежую стену. Из темноты возник деревянный переплет окна. Я узнал здание Терезинской школы. Почему здесь не спят в такой поздний час?

Я подошел к окну и постучал.

По светлому треугольнику передвинулась тень. К окну припала лохматая голова. Человек тщетно старался разглядеть меня. Наконец, я услышал его голос:

— Это ты, Таукан?

В просторном классе пахло известкой, краской, на полу валялись неубранные завитушки сосновых стружек. На столе стояла лампа, лежали большие листы бумаги. За столом сидело трое — мужчина, голову которого я видел в окне, и две женщины. Они работали.

— Селям алейкум!

Минуту они молчали, уставшими, покрасневшими от ночной работы глазами разглядывали меня. Потом все вместе на русском языке ответили:

— Здравствуйте!

— Добрый вам вечер!

— Не вечер, ночь, — заметила молодая женщина, не поднимая глаз, губы ее улыбнулись.

— Я думал — Таукан, ночной сторож кооператива, пришел погреться.. на огонек, — сказал мужчина. — Только у нас тоже холодно, да.

Все трое — просвещенцы. Муж и жена — из Черниговской губернии, девушка — из Даурия, Забайкальской области. Пастухи-кочевники, впервые за все недолгое время своего исторического существования получившие право на постоянное жилье, хотят приобщиться к знанию, научиться читать и писать. И вот люди украинских степей и чуть ли не Манчжурии пришли им помогать в этом.

Каюсь — ненужный, неуместный вопрос сорвался у меня:

— А вам здесь не скучно?

Ответили просто:

— Чего ж скучать? Нам скучать некогда. Вот видите — приходится работать и ночью. Ведь мы здесь — пока — единственные грамотные люди; значит, надо не только детей учить, но и взрослым помогать, об'яснять все. Благодаря нашей агитации некоторые даже поверили, что больному следует ехать в город лечиться, а не бежать от людей, уходить в горы — умирать, отдавать душу Аллаху.

— Вначале мы и сговориться-то не умели. Они не понимают по-русски, мы — по-карачаевски. А изучить карачаевский язык можно было только по

наслышке — до последних лет книг не было, ничего не было. Теперь благодать. Дети говорят и пишут по-русски, мы говорим по-карачаевски. Раньше знаками об'яснялись.

— Это верно, теперь благодать. Здесь, извольте знать, невест, девушек увозят, крадут, то-есть умыкают, да. Вот я и начал им доказывать, об'яснять, нехорошо, дескать, красть, тем более — нехорошо людей красть. И калым — противная штука. Девушка — не лошадь и не корова, стыдно ее покупать. Стоят, слушают, в затылках чешут, парни глазами в землю уперлись, — как будто действует. Доказывал я им, доказывал, несколько недель об одном и том же говорил, да... А потом девушки и женщины пришли к жене моей, кричат — пусть перестанет твой муж болтать, не то мы, женщины, вас выгоним вон...

— Позвольте... как же это?

— Очень просто. За нас — говорят — калым платят, нас похищают, значит — мы что-нибудь да стоим. Какая же девушкам цена, если их даром будут отдавать?

— А вам не скучно?

— Помилуйте, как можно скучать? Здесь, ведь, центр: в кооперативе пшеничный хлеб и сахар можно достать, московские газеты на десятый день получаем. Жила я в Балкарии — там, действительно, немного того... Почту раз в месяц из Нальчика доставят и то — от случая к случаю. А пока письмо до Нальчика доползет, десятки дней пройдут. Поздравляют с наступающим новым годом, а ты письмо на пасху получишь. Смешно, правда? Продукты тоже из Нальчика доставляют, запасайся на целый месяц. Я там с одним учителем жила. Его школа — наверху, в горах, моя — внизу. У меня жара, а он, уходя, шубу надевает — морозище в горах, метели. Поднимается два часа к себе. Снег залепляет глаза. Оступится — полетит головой в пропасть, верная смерть. В Балкарии, действительно, труднее немного было, но скучать — нет, там тоже не приходилось скучать.

Она замолчала, улыбнулась своим воспоминаниям и опять взялась за работу. Она рисовала плакат к октябрьским торжествам. Справа на белом фоне была красная надпись на русском и карачаевском языках — что было, слева — что будет. Под надписями рисунки. Было — умыканье, вражда племен, одинокая смерть в горах, полуголодное существование, неграмотность, невежество. Будет — обоюдо-добровольный брак, братство племен, больницы, сытая жизнь, библиотеки, школы, читальни.

— У вас здесь — прошедшее и будущее. Какова действительность, настоящее?

Девушка выпрямилась и опять отложила работу.

— Все не так быстро делается, как бы хотелось. Видите — школа, мальчики учатся. А в этом году к нам уже попала одна девочка, родители добровольно отдали ее в школу. Пройдет год-два, терезцы убедятся, что ничего плохого с девочкой здесь не сделали — другие тоже дочерей своих отдадут в школу. Так вот двигаемся вперед. Ничего, жаловаться не приходится...

3.

Дорога идет узким ущельем. Ущелье забито холодными облаками. Пора бы притти утру, солнцу, жаре. Но рассвет давно наступил за узкой нашей дорогой, там встало солнце и жжет попрежнему. Ущелья не знают рассвета, здесь — царство контрастов. Солнце поднялось к горным вершинам и неожиданно простерлось над нами. Горячие лучи обрушились, пронзили облака. И облака заметно начали таять. Они стали белыми и ощутимыми, как густой самоварный дым. Они отдираются от гор и ватными хлопьями висят в воздухе. Их, кажется, можно взять в руки, они будут таять, исчезать на ладони, как снег в июльской жаре.

Горы меняются. Гладкая их поверхность напоминает блестящую шкуру тигра. Местами шкура сдвинута, скомкана капризной рукой природы, на этих местах выступает камень. Камни все больше, все чаще заменяют тонкую шкуру с пожелтевшей растительностью, они вытесняют живое. И вот наступает царство камня. Здесь в свое время особенно буйствовала стихия. Она ломала и расшвыривала камни, раскалывала их на громадные куски, с небесных вершин сталкивала горы, они, сломив каменную шею, летели в пропасть, загромождали пути. Сердито пенясь и брызгая, спешат по каменным глыбам тонкие, как кисть руки, быстрые речонки. Чем больше каменное нагромождение мешает им продвигаться вперед, тем яростнее их бег.

Человек, попавший в эти места, немеет от удивления. Но так как долго удивляться человеку не дано, он, вспомнив, что век его краток, а горный хаос существует тысячелетия и будет еще существовать не меньшее количество лет — спешит увековечить свое имя на одной из глыб. Много громад исписано такими сувенирами.

Вдали высится холодный, блестящий и спокойный Эльборус, он натянул на величественные свои плечи белую бурку. Солнце освещает со всех сторон ледяную громаду, она кажется чуть голубой, как сахарная голова. В синем дыму, справа лежит долина. Из общей массы полевой бинокль выхватывает две-три черных землянки и медленно-двигающихся мошек — овец. Будуян, который, во что бы то ни стало, хочет удивить меня пышностью новой своей столицы, презрительно морщит длинный и красный нос и круто поворачивает налево. Перефразировав Виктора Гюго, который об одном из своих героев говорит: «Что касается вина, то он пил воду», о Будуяне можно сказать так: из всех словесных доводов он признает только действие. Поэтому, не говоря ни слова, я сворачиваю направо. Будуян останавливает свою лошадь и кричит мне вслед, что дорога в долину непроходима. Не оборачиваясь, я продолжаю путь. Тогда он кричит, что там ничего интересного нет, обычный кош, на который не стоит обращать внимание. Я еду дальше. Убедившись, что воля моя крепка, он молча следует за мной.

4.

Первыми встречают нас карачаевские псы. Они громадны, как доги, и страшны и лохматы, как гоголевские черти. Рыча и захлебываясь, они не-

сутся к нам; издали видно, как под шкурой играют здоровые их мускулы. Они бросаются к ногам лошадей, комьями летят вверх. Лошади беспокойно храпят, беспокойно перебирают ногами, становятся на дыбы. В глазах Будуяна я читаю немой упрек: я, мол, говорил, что ничего хорошего мы здесь не увидим.

На пороге черной, продымленной хижины показывается молодая женщина. Верхняя ее одежда пропитана салом, копотью, грязью, в дырах сверкают бронзовые пятна обнаженного тела. Она изящна, ее тонкая, как горло кавказского кувшина, талия стянута серебряным поясом, на обнаженных плечах кусками лежат спутанные волосы, цвета вороньего крыла. Молодая женщина козырьком приставляет лодочку-ладонь к глазам, видит чужих мужчин и с диким, первобытным воплем исчезает в темном провале хижины. Ее сменяет старик в черкеске и в портках из сыромятной кожи. Библейски-спокойно он смотрит на нас; затем спокойствие сменяется удивлением. Годами, видно, его кош не посещал посторонний люд.

Наконец, он выходит из оцепенения, отгоняет собак, низко кланяется гостям и широким жестом приглашает нас посетить его жилье.

Входим. Темнота и дым слепят глаза, они с трудом, постепенно привыкают к мреющему свету хижины. Здесь нет окон, кош освещает огонь очага. На жердях висят туши баранины. Вечный огонь очага вялит мясо, баранину здесь не варят, не жарят — едят в сыром виде. Над очагом два кола вбиты в землю. Колья соединены наверху, связаны цепью. Цепь свисает, спускается к огню. К цепи приделан крючок. На крючке висит котел, в нем кипятят молоко.

В темном углу тихо, как голубь, урчит молодая женщина — та самая, которая с воплем удрала от нас. К ее урчанью никто не прислушивается. Здоровые парни, старики, женщины и дети окружили нас, каждое наше движение удивляет, поражает их. Я достаю папиросу и закуриваю. Они смотрят с неописуемым восторгом — да, да, эта белая круглая штучка в губах гостя дымится, горит, сверкает! Я предлагаю им закурить. Лихой парень, решившись, махнув на все рукой, берет две папиросы и сразу засовывает их в рот. Ого, одна папироса хороша, две — еще лучше!

Тем временем молодая женщина начинает урчать все громче. Лохмотьями она закрыла все свое тело, только глаза блестят и виден круглый красный рот. Наконец, она начинает кричать, звуки громоздятся в ее горле, им там тесно, целыми пачками они вылетают оттуда. Сейчас все догадываются в чем дело. Месяцев десять тому назад муж похитил ее в ауле и привез сюда. В течение года ни один глаз чужого мужчины не может, не должен ее видеть. Вот она и вспомнила, что год еще не кончился и звуками умоляет мужа — увести ее. Парень, который жарко раскурил две папиросы, отделяется от нас, набрасывает платок на голову жены, закрывает ее, она поднимается и стрелой летит вон.

Глаз привыкает к темноте. Что это так ярко блестит в том углу? Карачаевцы улыбаются: наконец-то я заметил гордость, красу дома! Торжественно меня ведут к блестящему предмету. Сейчас наступила моя оче-

редь удивляться. Сомнений нет: блестящий предмет, новый бог коша — сепаратор.

Сепаратор в коше, где папироса вызывает удивление, где живут столетние старики, которые в жизни не видели и уж, конечно, не ели пшеничного и ржаного хлеба! Пчелиный убаюкивающий гул машины у очага, где только что женщина, похищенная десять месяцев тому назад, с воплем прятала от нас свое лицо! Об этом здесь тоже могут рассказать легенду, новую легенду о советских агрономах, специалистах по молочному делу и вообще — о советских работниках, которые, как врачи оспу, прививают бродячим пастухам привычки к более усовершенствованной жизни. Сепаратор в коше — это стиль нашей эпохи. Что еще может так красноречиво доказать, что десять лет революции прошли не даром?

Стоим у сепаратора до тех пор, пока добрые старухи не вспоминают, что мы — гости, а они — гостеприимные наши хозяева. Быстро мелькая чувяками, добрые старухи начинают носиться по кошу. Они хлопают себя по узким бедрам, сталкиваются, вскрикивают и разлетаются в разные стороны. Вот одна из них схватила эмалевый таз. Она держит его в руках, как баядерка держит бубны, она держит его дольше, чем следует, она хочет обратить наше внимание на эту замечательную вещь. Я киваю головой и, по мере своих способностей, удивляюсь. Это радует старуху, она бережно устанавливает таз на бараньи шкуры. Другая старуха опрокидывает в таз котел с горячим молоком. Третья приносит кружок кукурузного хлеба. Кукурузу мелют тут же, в коше — обухом по камню. Неудивительно, что хлеб плотен, как дерево, и как дерево — его трудно раскусить, в нем попадаются целые зерна кукурузы, они вступают в спор с зубами и очень часто выходят победителями. Приносят ложки, бурдюк с айраном, который здесь носит весьма нечленораздельное название — бшлактабха. Сейчас не время для еды, но вот из дальних стран приехали гости, их нужно угостить, и вся семья усаживается вокруг миски и быстро начинает действовать ложками. Старики зорко следят — как бы не обидели гостей, старики часто нас подгоняют — ешьте и пейте, дорогие гости, пожалуйста — не отставайте.

Едят старательно, только семилетний парнишка капризничает, не ест. Мать, женщина лет двадцати пяти, уговаривает его, но он не хочет ее слушать, он кричит хрипловатым баском и размахивает руками, как мужик, которого надули на базаре. Наконец, он сердито швыряет в сторону деревянную ложку, продолжая бурчать, подходит к матери, деловито расстегивает ее рубашку, достает оттуда изящные, почти девичьи груди и, крепко сжав их руками, начинает сосать...

Обед окончен. Мы собираемся в дорогу. Вместе с нами едет один из стариков. Слух об открытии нового города дошел и до коша. Старик выбирает двух тучных баранов. Он возьмет их с собой. Так поступают все, едущие на открытие Микоян-шахара.

Старухи встают и снова, как при встрече, кланяются нам в пояс. Мы готовы к от'езду. В кош вбегает карачаевец. Он возбужден и, горячо жести-

кулируя руками, начинает о чем-то рассказывать. Как бы для иллюстрации рассказа, он вытаскивает из ножен обагренный кровью, длинный как меч, кинжал. Рассказ его краток. В горах он встретил кабана, врага кукурузных полей. Конечно, он убил дикую свинью. Но, убив кабана, он вспомнил, что у его жены, карачаевки, уже имеются штаны. Что же делать с кабаном? Есть его нельзя, продать — тоже нельзя: деньги, вырученные от продажи кабана, можно истратить только на покупку штанов для жены. А у жены имеются штаны! Что же прикажете делать с кабаном?

Старики озадачены. Вот так случай, удивительный случай! Они наматывают пряди бород на пальцы, морщат лоб и думают. В самом деле — что делать с кабаном?

Наконец, один из стариков хлопает себя ладонью по лбу.

— Ты оставил его в горах? — спрашивает он пришедшего.

— Да, я оставил его в горах.

— Вот и хорошо. Пусть он там лежит в горах, пусть его медведи и волки едят!

Старики облегченно вздыхают и с завистью смотрят на говорившего. Он чертовски находчив, этот старичок, всегда он так — просто и умно ответит на любой, самый заковыристый, вопрос!

Пришедший бараньей шапкой вытирает пот со лба. Сейчас только он может успокоиться. Мир не без умных людей.

5.

Снова бесконечный, утомительный путь по гибельным тропам, снова, как верный страж, с высоты своего величия обозревает область Эльборус. Несмотря на дневную жару, кажется, что от сияющей, величественной горы веет холодом. В каменном крошеве дорога идет все круче. Лошади умело, задними ногами, тормозят ход. Им нужно помочь, часто приходится слезать и за поводья осторожно вести их вверх и вниз. С шумом текут ручьи. Пробуешь воду. Она пенится, пузырится, кисловата на вкус. В Карачае немало углекислых, щелочно-соленых, хлористых, нарзанных и других источников, которые ждут своих исследователей.

Все чаще попадаются карачаевцы, мелькают перед глазами черные бурки, все они едут верхами, впереди себя гонят баранов, коров, волов.

— В Микоян-шахар?

— Микоян-шахар, Микоян-шахар! — кричат они радостно.

Предстоящее видение заметно волнует ездоков. По всем ущельям, по всем дорогам едут карачаевцы в новую свою столицу. Несколько дней тому назад по этим же дорогам прошли арбы — это женщины ехали в шахар. Подобным, видно, образом древняя Иудея тянулась по пустыне к обетованной своей земле.

Меняется ландшафт, но глаз устал от виденного доселе и слабо воспринимает новые красоты. Каменный хаос, нагромождение еще продолжается, но высоты уже отвоеваны лесом. Низкорослый дуб покрывает

горы. Листья сожжены солнцем, но они крепко держатся на ветках, лес поэтому кажется кофейным, кудрявым, как бухарский барашек. Впереди еще много перевалов, бессонные холодные ночи, рассказы и легенды у костров, отдаленный вой шакалов. И как завершение — пир народа, сказка, претворенная в действительность, прекрасное утверждение новой жизни, утверждение непоколебимой воли к преображению, к воскрешению — новый город, новая столица, карачаевский город в горах...

6.

И вот — пройден тяжкий путь. Последний перевал. Расширяются, увеличиваются ровные места. С шумом, рокотом, в белоснежных кружевах пены спешно гонит свои синие воды Кубань-река. Она узка, как дорожка, здесь, близко где-то, берет она свое началю. Вместе с синими, стеклянными струями Эльборус насыщает ее неутолимой, хмельной энергией, каждая капелька играет, брызжет, лопается от радостного, творческого напора. Горы расступаются, но — расступившись — еще больше увеличиваются в своем размере. Лошади бегут быстро, точно не сзади осталась более чем стоверстная, трудно-проходимая дорога. Путь извилист, капризен, как ни стараемся, как ни напрягаем зрение, ни поднимаемся на стременах — последний сюрприз, город в долине, тщательно задрапирован горными стенами. К шуму Кубани присоединяется иной, новый рокот. Он нарастает постепенно, закономерно, как гул «недовольной толпы» за кулисами хорошего театра. Он не похож на шум воды, в нем нет сухости стекла и металла, он весь живой и трепетный, не хочет слиться с треском Кубани. Мы даем шпоры лошадям. Из сотен глоток ездоков вырывается ответный крик. Пройден путь. Эгей! Где вы там — жены и дети, мужчины, успевшие прибыть до нас? Эгей! откликнитесь! Но голоса наши тают, остаются без ответа, они не услышаны невидимой толпой. А между тем все яростней, все полнокровней ее крик. Сейчас уже не слыхать Кубань-реку, кажется — вода, испугавшись бо̀льшей силы, в страхе онемела. Из общей массы вырываются отдельные голоса, они расцвечивают рев, еще больше интригуют, томят. Дорога извилиста, она будто понимает, что миссия ее закончена и—понимая это—с упрямством оттягивает последний момент бытия, испытывает крепость наших нервов. И когда, отчаявшись, перестаешь ждать, притворяешься, что находящиеся в долине вовсе тебя не интересуют, толпа вдруг вырастает перед глазами.

Арбы, повозки, лошади, овцы, коровы, волы, женщины в ярчайших полотнах, мужчины в черкесках, дети — все спуталось, смешалось, все каждым своим движением, ревом и криком дает знать, что он — здесь. Кажется — кто-то громадный и властный, как стихия, несколько суток потрудился, сбрасывал в долину, к берегу реки живой материал всей этой области. Кажется — в этом людском месиве даже в течение года не найдешь нужного, знакомого, родного человека. Но в воздухе щелкают, плывут на одном месте красные полотнища — знамена аулов, каждая куча живого

этого материала держится около своего знамени. И опять мысль ищет древнюю аналогию. Нашествие племен. Становище. Пир народов. Колена иудейского народа.

Чем ближе приближаешься к живому морю, тем все яснее и рельефнее вырисовывается стихийный коллективный порядок этого нашествия аулов. Вмиг прибывшие сортируются, вливаются в аульные свои группы. Аульные группы успели здесь обосноваться. Они выделили организаторов, кратковременных хозяев. И хозяева распоряжаются. Пригнанный для кормежки скот поступил в их ведение. Откуда-то появились громадные, на несколько сот человек, котлы. Ораву нужно накормить. Повара взялись за дело. Всю работу выполняют мужчины; женщины в пестрых нарядах, в праздничных бешметах, обшитых узорчатыми позументами, в бархатных, напоминающих турецкую феску, шапочках и сафьяновых сапожках отдыхают от повседневных трудов. Налитым, обреченным баранам задирают головы, длинные кинжалы пронзают их внутренности. Дымят костры. Дымятся мясные туши. Сверкают в воздухе топоры, грузно вонзаются в баранье мясо. Галдят дети. Они, как мешки, висят на плечах матерей. Женщины перебирают клавиши своих гармоний. В Карачае играют на гармониях, и играют исключительно, женщины. Завтра народный праздник, торжество, открытие нового города, единственного карачаевского города. И женщины готовятся к празднику.

Готовятся к празднику и мужчины. Завтра — народное торжество. А какое торжество устраивают без скачек? И мужчины выводят лошадей. Они бережно держат их за узды. Они любовно проводят руками по расчесанным гривам, они, кажется, шепчут лошадям на ухо свои тайны. От лошади зависит все — опозорить или возвеличить своего хозяина. Лошадь не подвела, не подводила в непролазных ущельях и скользких горах — неужто она подведет на празднестве?

Дымят костры. Гул и шум стоит над становищем. Вдали, в сумерках, угадываются очертания нового города. Приехавшие еще не были там. Завтра они войдут, вольются, покорят новый город. И город чувствует себя осажденным, он затаился и ждет своих покорителей, хозяев своих.

7.

Новый город!

Нашлись разведчики, перебежчики, люди с повышенным любопытством, они не хотели ждать утра. Сумерками они пошли в Микоян-шахар. Я присоединился к ним.

О новых городах, вернее кварталах, воздвигнутых на немецкие деньги во Франции, на том самом месте, где в 1914—1917 годах позорило себя человечество, уничтожало себе подобных и разрушало ценности, я много читал. В этих новых, заграничных местах я еще не был. Не знаю, не представляю, какое впечатление они производят.

Но новый город, трудовой центр в горах, созданный помощью союзных рабоче-крестьянских республик, производит ошеломляющее впечатление.

Новый город! Не вновь построенный дом, около которого напоминанием о старом, древнем, притулилось ветхое здание, не новый квартал, выросший на костях старого, где уже жили, думали, делали свои дела истлевшие в земле предшественники наши. Новый город в дикой, живописной долине, над которой — до этого — витали орлы, по которой рыскали шакалы, бегали кабаны и совы пели — кричали по ночам однообразные свои страшные и вещие песни.

Новый город! Кварталы и этажи из гранита и мрамора. Строевой этот материал лежит тут же, в обступивших город горах. Тысячелетиями он ждал умелых человеческих рук, чтобы выстроиться в розовые и белые ряды. Не все еще сделано, многие здания в лесах, но то, что создано человеческим гением — грандиозно. Хвала труду, новому, освобожденному, действующему умело, в свою пользу, труду!

Сотни ног подняли к небу густую пыль. В пыли застывает, сумерничает город. Скоро наступит вечер, темная сила ночи проглотит новый город, спрячет в темных своих тканях... Нет! Как неожиданная, радостная встреча в Микоян-шахаре вспыхивает холодный, яркий свет электричества. На высочайшей горе загорается алая, как кровь, пятиконечная советская звезда. Ее видно будет за десятки верст. Ее увидят коши и аулы, для которых керосиновая коптилка — несбыточная мечта. Пройдет год, два, умелая рука скует шумные воды Теберды и Кубани, творящая чудеса электрическая проволока потянется через горы к аулам и кошам.

Как свежо, как непосредственно карачаевцы воспринимают все то, что окружает их здесь! В одном из зданий шахара пыхтит нефтяной двигатель, чугунный бог, чародей. И толпа бросается к двигателю. У толпы горят глаза, она обходит двигатель, рассматривает его со всех сторон. Наконец-то нужный зверь пойман, посажен на место, наконец-то его заставили работать! И карачаевцы нагибаются, приседают на корточки, поднимаются на цыпочки. Глаза горят непередаваемым огнем, они стараются как можно лучше вглядеться, запомнить, запомнить. Я ясно представляю себе, как потом, после торжества, возвратясь в свои глухие, гиблые места посетители Микоян-шахара соберут слушателей. Слушатели сядут в круг, и головы их закружатся от новых неслыханных легенд. Засыпая тревожным сном, им будет мерещиться чугунный чародей и красная звезда на высокой горе. Вспыхнет ли, загорится ли она в воображении так же ярко, как вспыхнула, загорелась здесь?..

8.

Это должно быть неверно, что в Москве скомканы дни в туманном морозном воздухе, точно на одном месте, стоят снежинки и уж извозчичьи бубенцы хрустят на Страстной площади. По первому снегу, голубому под синим вечерним небом, деловито, поскрипывая, прошли неуклюжие, ссохшиеся за лето валенки... Здесь горячее солнце, чистое, без пятнышка, небо, жаркая, неуемная пыль. С раннего утра она поднята тысячами копыт, тысячами ног мужчин, женщин и детей. Людской поток потянулся к городу.

Впереди, на сытых, отдохнувших лошадях, мужчины. Овечьи папахи молодецки заломлены, глаза горят и сверкают, в них воскрес, ожил огонь предков, огонь диких и свободолюбивых бунтарей. Нестерпимое желание карачаевцев — увидеть свой центр, новый свой город — передается лошадям. Они возбужденно бьют копытами, возбужденно храпят, пляшут. Но ход в город пока что закрыт, арка заткана красными лентами. Человеческий приток приливает к арке. И когда напор достигает высшей точки, председатель Карачаевской автономной республики тов. Курджиев кинжалом разрубает ленту. Город открыт!

Невероятное, необычайное происходит тогда с людьми, с лошадьми. С криком, шумом и храпом они срываются с места. Земля дрожит под их ногами, густая завеса поднимается над землей. Наконец-то желание находит исход! За аркой лежит невиданный город. Тысячи глаз хотят его увидеть. Каждый хочет его увидеть раньше своего соседа. И лошади от напряжения покрылись пеной, люди моментально осунулись. Горе тому, кто сейчас отстанет, споткнется — он будет смят надвигающимся потоком.

Проходит час, другой, в арку с неизменной надписью «Добро пожаловать!» все еще льется толпа. Как бочка с сельдями город переполняется человеческим материалом, человеческий материал распирает город, кажется — вот треснут каменные обручи, толпа вновь рассыплется по области. Над шахаром покрывало из пыли, над шахаром шум, гам, крик и рев.

Город открыт!

9.

В просторной комнате, за обедом, товарищ Курджиев, бывший карачаевский народный учитель, избранный председателем областного исполнительного комитета, рассказывал прибывшим на открытие города чужестранным гостям о родном своем Карачае. Он раскладывал таблицы, листы с цифрами, изыскания советских инженеров, за сухим этим материалом возникал призрак старой, косной и загадочной Руси. Как могло случиться, что край, хранящий в своих недрах медь и уголь, серебро и цинк, мышьяк и каолин, известняк, мрамор, асбест, селитру, железный купорос, барит, кобальт; край, в котором бьют минеральные источники, горы и равнины которого покрыты тучными травами, хвойным и лиственным лесом, — как могло случиться, что край этот бедствовал, нищенствовал, влачил, поистине, жалкое существование? Я не говорю о пользе «дикарей», загнанных в ущелье, — думали ли былые правители о своей пользе?

Прилежный, длительный труд — изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие — должен исправить старую, вековую ошибку, преобразить Карачай. Сделано еще слишком мало, — но то, что сделано, огромно. И как бы для иллюстрации слов тов. Курджиева пять досужих молодцов вносят в комнату огромный, величиной в три жернова, сыр. Они кладут сыр на стол, и стол трещит под его тяжестью. Сыр ровен и гладок, внутренность его жирна и желта, в круглых дырах застывают янтарные,

тяжелые слезы. Сыр этот — продукция первых в области советских сыроварен, он должен обогатить край, он должен вытеснить никуда не годную и никем не покупаемую первобытную карачаевскую кислятину, которую, очевидно только в насмешку, называют «сыром».

В Карачае каждое нововведение, каждый новый инструмент, машина творит революцию. Ее творят сепаратор и сыроварни, плуг и больница, электричество и школа. Но, главным образом, революцию здесь делает воля, добрая воля, стремление к лучшей жизни. Ее, воли этой, здесь в избытке.

За окном грохнула подмывающая к подскакиванию, залихватская музыка, она заглушила слова. Молодой народ веселился в новом городе, звуки звали, тянули на улицу. Первыми не выдержали досужие молодцы, принесшие сыр. Точно по команде руки их оторвались от огромного с'едобного жернова. В следующее мгновение ладонь потянулась к ладони, хлопки, звучные как выстрелы из детских пистолетов, заполнили комнату. Затем досужие молодцы потянулись к двери. В этот момент они мне показались железными марионетками, которых притянул к себе невидимый магнит. Я не видел движения ног, а между тем молодцов все больше относило к двери. Потом они один за другим исчезли. Мы пошли за ними.

10.

На возвышении стоят женщины. Бархатные рясы удлиняют и без того длинные и изящные их фигуры. На голове, на самой ее макушке, сидит шапочка, — диву даешься, как она, маленькая, как блинок, крепко держится, не падает с головы. В руках у женщин гармонии. Женщины разламывают гармонии надвое, как астраханский грузчик ломает на коленях спелый арбуз. Громадные, кузнечные меха обхватывают женщин косо, как исполинские удавы. Гармонии ревут дико и многоголосо. Десятки звуков вырываются из каждой гармонии, а инструментов этих — много. Мотив? Как ни старайся — уловить его ты не в состоянии. Что-то огромное, бравурное, мощное, напряженное и упругое, как флаг на ветру. Может быть, определенного мотива нет, звуки рождаются тут же, музыканты извлекают их из творчески настроенной, возбужденной толпы. Двумя правильными кругами стоит она вокруг музыкантов — круг мужчин и, через небольшой интервал, круг женщин. Несколько минут толпа прислушивается к звукам, улавливает их мощный темп. Она чуть нагибается вперед и, когда такт пойман, точно по команде, выпрямляется. Сейчас все живут единым темпом, каждое движение присутствующих определено музыкой. В такт музыке, рельефно разбивая их на ровные куски, присутствующие начинают хлопать в ладони, от этого мотив становится еще отчетливее. Р-раз! р-раз! р-раз! р-раз!

Круг огромен, сотни глаз устремились на ровное место. Где танцоры? И, точно в ответ на вопрос, в массе рождается выполнитель ее воли. Молодой карачаевец появляется в огромном кругу. Каждый его шаг отмечен музыкой. Ноги едва касаются земли, в огромных рукавах черкески рук не видно, они, как крылья хищной огромной птицы, ритмично поднимаются и

опускаются. Топоча и играя молодым телом, он раскланивается, каждым своим движением призывает спутницу, женщину, которая разделит его танец. Где она, избранная? Ее тотчас же стихийно выделяет второй круг — женский. Гордо, величественно, как пава, она появляется и не подходит — нет! — плывет к молодому карачаевцу. Ее движения ленивы, кажется — она чувствует свое превосходство, неизмеримую свою власть над танцующим. И танцующий понимает это. Больше — он безропотно, с благоговением подчиняется положению вещей. Игра-танец начинается. Парень об'езжает девушку со всех сторон, как петух — курицу, в прелестной этой игре он готов быть ее рабом, ее вещью. В каждом его движении — покорность, в каждом его движении — желание ей угодить, в каждом его движении — беспрекословное подчинение. Чего еще нужно этой величественной павушке, жительнице гор? Может быть, она все же снизойдет, смилостивится?

Но девушка все так же плывет, губы ее крепко сложены, глаза прищурены и глядят мимо ее раба, сквозь танцора. Нет, нет, он не удостоился, с него пот льет уже градом, и напрасно, совсем напрасно он рукой касается ручки кинжала. Он ее не удивит, он не покорит ее.

Тогда на смену ему, неудачнику, тотчас же исчезнувшему, выходит другой, более опытный и решительный. Ладони лежат на тонкой его талии, голова поднята. Он тоже верный рыцарь, но унижаться — нет, унижаться он не намерен. И женщина понимает это. И женщина — таков уж закон жизни! — начинает сдавать. В конце концов она может на него посмотреть, может чуть-чуть, пока только губами, улыбнуться ему. Женщина начинает сдавать, она как бы становится меньше, а он — поди же ты! — все растет и растет. Довольно! Пусть — казалось бы — они остановятся на той точке равенства, которая не будет унизительна ни для нее, ни для него. Нет! Он растет, а она все уменьшается. Меняется картина. Он — господин, она — слуга. Наконец, он не желает — не желает! — с нею танцовать. Он просто не замечает ее. Он вытаскивает револьвер и стреляет вверх. Женский круг проглатывает свою неудачницу и тотчас же выделяет новую танцовщицу, лучшую. Соревнование продолжается.

Так танцуют карачаевцы.

В другом месте происходят скачки-состязания.

По широкому и ровному полотну равнины расставлены деревянные штуки, напоминающие пюпитры музыкантов. У каждого пюпитра стоит человек. Около человека — охапка тросточек. Вот по команде чудесного вояки и неустрашимого героя Карачая — тов. Дроздова, люди, стоящие у пюпитров, вставляют в каждый пюпитр трость. Задача участника гонки — стрелой пронестись по равнине и шашкой разрубить все тросточки.

Участников много. Здесь карачаевцы, с детства не расстающиеся с лошадьми, привыкшие к седлу, как мы привыкаем к стулу, здесь и красноармейцы, ребята из Тулы и Рязани, из Елабуги и Свердловска. Поневоле у всех участников возникает вопрос — кто кого? Кто победит на этих состязаниях? Стихийные самоучки или боевики, умелые воины тов. Дроздова?

Равнина велика, участников много. Они выстроились в ряд. Через каждые пять-десять минут от ряда, сборища участников, отрывается один. И тотчас же все прочие исчезают, перестают существовать. Тысячи глаз всех здесь присутствующих устремились в одну точку. И ездок чувствует, что каждое его движение контролируется сейчас тысячами глаз. Он в центре внимания. На него смотрит умный глаз старика, который помнит вихревые налеты Шамиля, зоркий и ревнивый глаз участника состязаний, на него устремлен обволакивающий, сжимающий и холодящий сердце, взгляд карачаевки. Под внешним спокойствием ездока я улавливаю волнение, так хорошо знакомое спортсменам. Минуту ездок сидит на седле как изваяние, потом, во всю прыть резвой лошади, несется по ристалищу, летит к нам. Сейчас он весь виден — до мельчайшего выражения его лица. Он улыбается, этот загорелый человек, но он — явно хитрит. Жилы набухли на его лице, глаза сузились. Вот он как-то странно присел, пригнулся к шее лошади. Все ближе пюпитры. Незаметным, все еще деланно-равнодушным движением ездок из ножен вытаскивает саблю. Как брошенный осколок стекла, сталь сверкает на солнце. То ли решительный взмах холодного оружия, то ли приближающееся испытание меняет, преображает участника. Дико вскрикнув, подскочив на седле, всем своим существом сообщив тревогу лошади, волнуясь и бесясь, он взмахивает шашкой, и — раз! — отсеченная трость летит в пыль. Но тростей много, а сын гор не рассчитал, слишком много внимания и силы уделил он этому первому испытанию, первому препятствию. Результаты просчета сейчас же видны. Второй трости сабля только касается, мимо третьего пюпитра лошадь, чутьем своим угадав позор ездока, спотыкается и — мимо! — бросается в сторону, выбывает из строя.

Уменье, учёба бьет стихию самоучек. Первый приз достается красноармейцу, талантливому рубаке. Он без притворства насыщен хорошей увереностью умелого творца. Его движения рассчитаны, как движения прекрасно выверенного механизма. Все трости с легкостью пушинок проваливаются, исчезают. Гул одобрения вырывается из множества грудей. Слава победителю!

11.

...В радужном мареве веселится Карачай. Наступил вечер, сотни электрических ламп освещают город. Ни на минуту не прекращается веселье, топот ног, всплески хлопков, урчанье гармоний. Кто устал, тот может спуститься к реке. Там, у кибиток и арб — становище карачаевцев. Там дымят костры, множество костров, но все же там — темно. И в темноте люди кажутся страшными, поневоле лицо поворачивается к городу. Город все еще сверкает электричеством, световые линии слезятся, подмигивают, зовут. А над всей этой пылающей массой, на высочайшей горе, пронзая густую тьму, как призыв, надежда — алая, как кровь, видимая кругом на десятки пустынных верст, пятиконечная звезда.

Панаит Истрати.

Иван Анисимов.

1.

Кира Киралина.
Дядя Ангел.
Представление гайдуков.
Домница из Снагова.
Кодин.
Семья Перльмуттер.
Неррантсула.
Мои скитания.

Вот в хронологической последовательности восемь книг, написанных Истрати. Первая из них появилась в 1923 году. Как видим, творческая деятельность нашего автора развертывается с чрезвычайной интенсивностью. Истрати пришел в литературу зрелым, вполне сложившимся человеком — он прожил многострадальную трагическую жизнь, обогатившую его творческое сознание огромным опытом, — неудивительно, что поток его литературных изображений так стремителен, неудержим и полноводен. Из человека, что называется, «хлынуло». Каждый, кто сталкивался с Истрати в личной жизни, знает, что человек этот — неистощимый рассказчик. Лишь незначительная часть всего рассказываемого Истрати закрепляется в виде литературных произведений, — наш автор не хочет и не умеет здесь экономно хозяйствовать, он щедр, потому что фонды его неисчерпаемы.

За Истрати стоит пережитое. Этот писатель не любит прибегать к выдумке, «сочинительство» — не его область. Факты личного жизненного опыта играют исключительно важную роль в его творчестве, они непосредственно определяют тематику его произведений. Истрати, румын по национальности, выходец из социальных низов (сын прачки) провел первые пятнадцать лет своей жизни на берегах Дуная (в Браиле), это был мрачный и жестокий пролог его существования. Следующая глава его жизни охватывает четверть века непрерывных скитаний. «Я испробовал все ремесла, на которые способен человек, вынужденный зарабатывать свой хлеб. В Египте и в Малой Азии, в Греции и в Италии, во Франции и в Швейцарии, повсюду я принимал то, что мне предлагали: грузчик на вокзале и в портах, подруч-

ный на верфях, лакей в гостиницах, кухонный мальчик в ресторанах, гарсон в пивных, кузнец, сеятель... телеграфных столбов, землекоп, расклейщик афиш, фигурант в цирковых пантомимах, шофер на тракторе, аптекарский ученик, пильщик, газетный экспедитор, странствующий фотограф...» — рассказывает о себе Истрати. Такова емкость жизненного опыта Истрати, от данных этого опыта он отходит лишь в одном направлении — к историко-романтическим изображениям, примером которых могут служить повести о «гайдуках».

Надо отметить, что материал всегда оказывается для нашего художника важнее, чем форма его раскрытия, чисто эстетическая задача здесь всегда отодвинута на второй план. Истрати не имеет обыкновения слишком много заниматься технической организацией своих вещей — они всегда слегка хаотичны, но эта беспорядочность их становится качеством стиля: литературным изображениям нашего художника свойственна стихийность, они возникают и развертываются с буйной непосредственностью.

Истрати тяготеет к одной излюбленной форме повествования, форме сказа. Уже первая книга Истрати была демонстрацией сказовой манеры — три повести, составившие сборник «Кира Киралина», который так восторженно приветствовал Ромэн Роллан, были мотивированы, как рассказы «несчастного лимонаджи» Ставро. Впоследствии определилось, что форма эта взята не случайно, что она органически присуща нашему автору: для Истрати сказ — не только наиболее целесообразное средство психологической документации, но и самая простая и органическая форма «признания» (confession). Наметились здесь и определенные подразделения: 1) сам автор рассказывает о себе («Мои скитания» — наиболее характерное выражение этого раздела) и об Адриане Зограффи (персонаж этот, бесспорно, является образом самого автора, введен он для того, чтобы автобиографическая мотивировка не была обнаженной); 2) Адриан Зограффи рассказывает о себе («Кодин») и, наконец, 3) Адриан Зограффи передает слышанные им рассказы (здесь речь идет преимущественно об историческом прошлом, действие отодвигается к середине прошлого столетия), в этом двойном сказе мы встречаемся с пышно развернувшимися элементами романтики. Переплетение намеченных сказовых пластов формирует всю творческую продукцию Истрати.

Одно замечание. Книги Истрати написаны по-французски, и антология KRA включает его в число двадцати пяти лучших прозаиков современной Франции, но все это не делает Истрати хоть сколько-нибудь французским художником — он не воспринял здесь литературной традиции и не уложился в рамки какого-либо направления. Он остался обособленным одиночкой, — современная литературная Франция оказалась неспособной усвоить этого своеобразного и мощного писателя. Французом Истрати оказался случайно.

2.

Опираясь на внутреннюю динамику творчества Истрати, на взаимоотношение и характер пред'явленных им образов, мы можем построить следую-

щую схему, показывающую, в каком направлении развертывается творчество нашего художника, к какому классовому основанию он тяготеет, куда устремлено его творческое внимание (оговариваемся в условности обозначений первой графы):

Поколения.	Представители.	Соц. принадлежность.
3 / дети	Кодин—Кир-Николай (сюда относится и сам автор, как герои «Моих скитаний»).	Деклассированные.
2 / отцы	Дими-Ангел.	Крестьяне, теряющие хозяйственную устойчивость.
1 / отцы отцов	Гайдуки.	Крестьянские революционеры 50-х годов.

В порядке этой схемы мы будем вести наше изложение.

Деклассированные.

«Со странностью игрока я везде ищу свою судьбу.

Красота лишь в иллюзии. И будет или нет достигнута цель безумного стремления, все равно горечь ее одинакова в обоих случаях. Конец ее всегда один. И единственно ценное для человека с чрезмерными сомненьями — это борьба, сражение со своей судьбой. В этом вся его жизнь — жизнь мечтателя. Я один из таких мечтателей».

Такова философия, прокламируемая Истрати в автобиографическом цикле «Моих скитаний». Она просачивается то-и-дело между отдельными отрезками документального повествования, как бы подводя итог ему, обобщая и подчеркивая его направление. Из всего написанного Истрати «Мои скитания» — самое строгое, сосредоточенно-простое и открытое. Здесь совершенно отсутствует какая бы то ни было искусственная расцветка, здесь переживания обнажены, а факты пред'явлены откровенно и прямо. Это — подлинные документы, это — подлинные искренние свидетельства. Тем резче и убедительнее выделяется здесь философская концепция автора. Она отнюдь не случайна, она органически присуща нашему художнику и перерастает в совершенно определенную программу поведения — в бродяжничество, которое Истрати считает своей «основной радостью» и которое, как он говорит, «будет длиться до тех пор, пока я буду иметь два глаза, чтобы видеть, и хотя бы одно легкое, чтобы дышать». Эту программу Истрати, как мы знаем, осуществлял с чрезвычайной настойчивостью. Он оценивает ее как восстание против капиталистической действительности, как открытый и решительный вызов. Ясно, что бунт этот бесплоден, ибо он обращен не к преодолению действительности, а к отказу от нее, ибо глубочайшие социальные противоречия наш бунтарь пытается разрешить в узких границах своей индивидуальности. Бунт становится самоцелью. Бунтом ради бунта. Все это очень убедительно характеризует нашего автора: ему не на что опереться, он мятется в тщетных поисках выхода. Здесь интересно остановиться на положительных элементах мировосприятия Истрати. Все они имеют подчеркнуто

этический характер: добро, любовь, справедливость — таковы последние основания, к которым обращается художник в своих оценках и обобщениях действительности. В эгоицизме наш бунтарь находит опору. Это свидетельствует о его бессилии, о тщетности всех его протестантских попыток. Ситуация такова, что бунтарь сваливается в этическое болото.

Обратимся теперь к рассказам о «Детстве Адриана Зограффи». От документального автобиографического повествования они отличаются бо̀льшей эмоциональной насыщенностью, большей красочностью. Художник здесь не так скупо ограничивает себя в изобразительных средствах, он хочет не только констатировать и описывать, он хочет создавать образы. Здесь происходит естественный процесс: то, с чем мы встречались уже как с теоретическими отвлечениями, как с определенной философией, получает образную параллель. Мы уже знаем, что восстание нашего художника против социальной действительности замыкается в пределах его творческой личности. Это, так сказать, восстание в себе, — ситуация такова, что бунтарь не превращается в революционера, в активного борца за преобразование действительности, которую он осудил так решительно. Вот эти мотивы бесплодного и тщетного бунта и эти трагические и неотвратные противоречия, приводящие к глухому тупику, получают в рассказах о детстве новое и углубленное раскрытие.

Повесть «Кодин». Она имеет обличье автобиографического рассказа, но нетрудно заметить, что центр тяжести здесь резко перемещен с личности рассказчика (Адриана Зограффи — автор) на образ Кодина. Изобразительные средства явно передвинуты в этом направлении,—Кодин вырастает в центральный образ новеллы, становлением этого образа определяется развертывание всей вещи. Надо сказать, что Кодин раскрыт как романтический образ: преувеличение масштабов, подчеркнутая патетичность, сгущенная красочность — вот средства, которыми пользуется здесь художник. Реалистическое раскрытие не удовлетворяет в этом случае нашего автора, он хочет поднять своего героя над уровнем действительности, сообщить ему героический смысл. Кто такой Кодин этот? Бунтарь. Большой, сильный человек. Яркая, мощная индивидуальность. Художник делает попытку построить монументальный образ. Кодин — это чаемый человек, личность, насыщенная энергией, бунтарь, поднятый на романтические подмостки. В нем есть то, чем не располагают реальные представители деклассированной мелкой буржуазии, — сила, железная воля, активность. Художник, бесплодно восстающий против социальной действительности, выдвигает образ, который не только впитывает в себя его устремления, но и служит романтическим дополнением действительности. И вот здесь оказалось, что художник не может удержать образ на такой высоте. Образ снижается, теряет цельность. Реальные отношения победили, и Кодин, стихийный бунтарь и отщепенец, превратился в человека с трещиной. Великолепный, непоколебимый, железный Кодин вдруг раскрывается перед нами, как «человек с отравленной кровью», раз'едаемый сомненьями, разочарованный, мечтающий «жить по-другому». Блекнут цветы романтики, горькие признания низводят героиче-

ского протестанта на уровень беспочвенного мятущегося искателя, без пестрого романтического оперения. Кодин выглядит буднично — это человек, не нашедший своего места в жизни, лишний человек. Необходимо отметить, что непроизвольное разоблачение Кодина сделано при ближайшем участии этических мотивов, которые, как мы уже указывали, очень свойственны нашему автору. Этицизм и здесь сыграл роль «последнего основания».

От Кодина — прямой путь к Кир-Николаю. Этот прекраснодушный булочник, который «хотел бы быть братом всех людей», начинается там, где приходит к своему этическому тупику бродяга-протестант Кодин. Здесь мы уже не встречаемся с попытками восстания, здесь с самого начала взята нота разочарованности и покорности — никакого бунта, никакого протеста! Кир-Николай — человек «всюду лишний», он с этим примирился, возразить он не может, нет сил. Свою неудовлетворенность он спрятал в себе самом. Здесь происходит характерное перемещение данных стиля — романтические краски, понадобившиеся художнику для раскрытия образа Кодина-бунтаря, снимаются, на их место выдвигаются реалистические бытовые изображения, очень настойчиво дополняемые этико-философскими рассуждениями, которые выполняют функцию своеобразного рефрена в рассказе. Одной рукой создавая романтический образ бунтаря-отрицателя, наш автор другой рукой развенчивает своего героя, заставив его погрузиться в этическое болото, погасив его протестантский пафос, превратив его в философствующего непротивленца.

Таково положение. Автор и его герои, как видим, непосредственно его продолжающие, выбиты из социальной колеи, оторваны от устойчивого классового массива, это — деклассированные одиночки с мелкобуржуазными корнями, отсюда — все их качества.

Теряющие хозяйственную устойчивость.

Кодин и Кир-Николай выброшены в город. Их трагедия развертывается в декорациях бедняцкого квартала Браилы или какого-нибудь другого румынского города. Отцы их — в румынской деревне. Наш автор не очень охотно обращается к ним, он предпочитает говорить о «детях» или уходит в красочную область исторической романтики. Но и те несколько повестей, которые посвящены теме «отцов» («Дядя Ангел», «Ночь на болотах») достаточно выразительны и хорошо очерчивают положение. Среди изобразителей деревенской нищеты и тяжелого крестьянского труда возникает здесь образ дяди Дими, бедняка, задавленного нуждой, чья жизнь «была сущей кабалой, хотя и считалась свободной», Дими стоит на пороге разорения; одного небольшого толчка достаточно, чтобы рухнуло его обескровленное хозяйство. Дими держится только инерцией, он обречен, рано или поздно он будет выбит из крестьянской колеи. Если не он, то сыновья его будут Кодинами. Дядя Ангел является продолжением Дими. Здесь трагедия хозяйственного распада дана в виде схемы, охватывающей все основные моменты процесса. Ангел — в периоде первоначального накопления. Ангел — в зените хозяйственного

расцвета. Кризис. Разорение Ангела. Ангел — пьяница, бродяга и пессимистический философ («я чистый человек, любивший чистую жизнь, стал пьяницей и пьяницей умираю»). Как видим, Дими и Ангел являются ответвлениями одного образа, оба они — представители разоряющегося, падающего крестьянства. Здесь мы имеем дело с той почвой, на которой вырастают Кодины, вышибленные из колеи, отсюда исходят бродяги-бунтари, которых изображает Истрати. Они идут в город и там разыгрывается трагедия людей, не нашедших места в жизни, трагедия деклассированных. Характерно, что художник ограничил свои деревенские изображения образом Дими-Ангела, здесь сосредоточил он все свое внимание. Как будто он задавался целью установить необходимое звено своей классовой генеалогии. Корни Кодина есть корни Истрати. Образ здесь неотделим от художника.

Гайдуки.

Нам предстоит теперь рассмотреть еще одну область творчества Истрати, самую романтическую и красочную, — его новеллы, обращенные к прошлому. «Кира Киралина», «Козьма», «Гайдуки» связаны своеобразным единством времени: действие отодвинуто здесь к середине прошлого столетия. Истрати повторил старый путь художников-романтиков, выражающих социальную неудовлетворенность своего класса, он обратился к прошлому, чтобы его идеализировать, чтобы найти в нем известный противовес действительности. Эпоха, в которую переносит нас Истрати, была для Румынии эпохой полуфеодальной. Что же ставит здесь на романтические подмостки наш автор? Что выделяет он здесь, как антитезу современной действительности? Естественно, что у нашего художника нет никаких оснований идеализировать румынскую феодальную аристократию — здесь вскипает классовая ненависть, обращенные в эту сторону разделы повествования насыщены негодованием, гневом, сарказмом. Сочувствие свое Истрати отдает крестьянским революционерам, разбойникам-гайдукам, боровшимся против феодального режима. Вот где начинается романтический пафос. Вот где вспыхивает энтузиазм. Великолепная фаланга гайдуков, возглавляемая героической женщиной Флоречиной Кодрилор, предстает перед нами, это — мощные железные личности, сочетающие непоколебимость, мужество и преданность революционному долгу с внутренней целостностью. Это — предки Кодина, не знающие еще губительного внутреннего разлада, люди без трещины. К этим ярким индивидуальностям наш автор влечется, как к высоте, до которой не поднимаются уже мелкобуржуазные отрицатели его эпохи. Здесь расцветает романтика. Здесь загораются краски поразительной яркости. Повествование становится патетическим, художник ищет слов, которые подняли бы рассказ над бытовым уровнем, он строит изображения романтического вкуса. Большие люди, клокочущие страсти, мощные несгибающиеся характеры, неукротимая, неиссякающая воля к бунтарству — таковы гайдуки, все эти Иеремии, Козьмы, Ильи мудрые, разбойники во имя социальной справедливости, беспощадные разрушители, героическое племя мужицких революционеров. Не

все историко-романтические новеллы связаны с мотивом гайдучества формально, мы встречаем (в «Кира Киралина») и главы, внешне обособленные от этой темы. Но это не меняет основного направления цикла — образ гайдука имеет здесь определяющее значение, к нему стягиваются все разветвления рассказа. Если не гайдук, то потенциальный гайдук. От Кира до Флоренчины — один шаг. Все здесь насыщено бунтарским электричеством. Все здесь является деталями одной картины. Истрати отдал теме гайдуков лучшие страницы своего творчества. В историческом прошлом своего класса он нашел наиболее выразительное средство демонстрации своей социальной неудовлетворенности. Он нашел в этом героическом прошлом новую форму протеста и восстания. Когда нет конкретных возможностей, находят иллюзии.

Надо отметить, что, обращаясь к исторической действительности, наш художник не стремится понять исторический смысл фактов, им изображаемых. Он не хочет и не может увидеть в героических разбойниках-гайдуках людей, осуществлявших определенную классовую задачу. Он предпочитает оценивать их как революционеров вообще, как достойную восхищения породу идеалистов-мечтателей, бунтарей-романтиков. Он накладывает на историческую правду печать своей психологии. Особенно резко это сказалось на введении этического мотива. И железные гайдуки его не избежали. Художник, раз'едаемый этической рефлексией, привил суровым разбойникам эту, несвойственную им, болезнь.

3.

Два лейтмотива имеет творчество Истрати: лейтмотив бунтарства и лейтмотив этицизма. Это дает нам довольно противоречивое соединение. Но эта противоречивость естественна, она органически присуща нашему художнику. Он по природе своей двойственен, колебаться, тщетно искать выхода — его удел. Он — бунтарь, протестант и отрицатель. Но рядом с этим он — этический философ, непротивленец. Он об'являет войну капиталистической действительности, он обречен на поражение, оставаясь выразителем расплывчатой, колеблющейся и половинчатой мелкобуржуазной идеологии — иллюзию выхода из этого глухого тупика он обретает в этических «основаниях». Глубочайшие противоречия отделяют его от капиталистической действительности, он осудил ее окончательно, он хочет ее гибели, но он не решается стать на единственно правильный путь — на путь революционной борьбы. Это связано с отказом от мелкобуржуазной психоидеологии, с полным перевооружением, с переходом на позиции борющегося пролетариата. От этой перспективы он прячется в этическую скорлупу.



Совсем недавно Истрати нашел выход. Каждому, кто внимательно наблюдал путь Истрати, было ясно, что отношения его с капиталистическим миром обостряются за последнее время все больше и больше. Противоречия назревают и углубляются. Близится время, когда этический компромисс пе-

рестанет удовлетворять мятущегося художника. Дело идет к разрыву, к решительному скачку, связанному с переоценкой всех ценностей. Естественно, что процесс обострения сказывается в авторских предисловиях, в отдельных высказываниях, в теоретических замечаниях прежде, чем в творчестве. Идеологический сдвиг предшествует психологическому. В творчестве происшедшая перемена отразится лишь после того, как преодолена будет известная инерция.

К десятилетию Октября Истрати приехал в Советскую Россию с твердым решением остаться здесь и работать. С Францией, с Западом, с капиталистическим миром — он порвал. У нас он надеется найти свое отечество, новую и здоровую почву для творчества. Этот шаг, как мы уверены, приведет Истрати не только к большим и ярким творческим достижениям, но и к ликвидации болезненных противоречий его классового сознания. Советская Россия сделает Истрати своим писателем.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Никулин. Матросская тишина. Повести и рассказы. Артель писателей «Круг». М. 1927. Стр. 203.

Л. Никулин написал приключенческий «кинематографический» роман («Никаких случайностей»), брался он и за юмористику («Банный лист»). Теперь он выпустил сборник «повестей и рассказов». Повидимому, он все еще находится в полосе исканий «своего лица». «Матросская тишина»— серьезная работа на пути его исканий. Но «приключенческая» жилка сказалась и здесь. Автор любит ставить своих героев в необычайные положения, строить рассказ на драматических «случайностях», благо теперь сама жизнь изобилует ими, так что перед каждым писателем стоит большой соблазн использовать эти заманчивые положения и сопоставления.

Возьмем, например, самую большую вещь сборника, занимающую почти половину книги, повесть «Матросская тишина». Это, можно сказать, вполне «роман приключений», с тайнами, которые становятся явными в конце, с роковыми листками дневников и фотографиями, которые служат уликами тяжких преступлений, но оказываются затем лишь невинными вещами, вводящими в заблуждение и судебную власть, и читателя (конечно, в начале), наконец, с такими «гвоздями», как бывший охранник и предатель, преспокойно жуирующий на хлебах советской страны, собирающийся хватить куш и удрать в Париж, где «кабаки — жизнь». Помучив слегка читателя страданиями невинных героев, автор в конце концов заставляет торжествовать все-таки правду, и бывший шпион попадает в надлежащее место.

Или вот другой рассказ. Тихая усадьба-музей, бывшее «дворянское гнездо». Старичок-смотритель, «ученый садовод», с благоговейным почтением вспоминающий именитых владельцев «гнезда» и последнего из них представителя «угасшего рода», ставшего актером. И автор, конечно, не в силах воспротивиться соблазну показать нам этот последний отпрыск рода здесь же, в когда-то ему принадлежавшей усадьбе, на фоне осеннего пейзажа, и притом в виде жалкого пропойцы, которого смотритель сперва принимает за бродягу и даже хочет представить куда следует, и лишь затем бродяга открывает ему свою «тайну», крайне огорчив смотрителя и поколебав его почтение к «бывшему» человеку.

В рассказе «Розовая вода» родственница декабриста Норова, ехавшая из Эстляндии в Санкт-Петербург проведать о судьбе арестованного дяди или кузена (в рассказе он то дядя, то кузен), в пути чуть не погибает от метели, но, по счастливому случаю и... по воле автора, попадает как раз к убийце Павла Первого графу фон-дер-Палену, хотя, строго говоря, в фон-дер-Палене особой надобности не было, если не считать разговора о нем царя Николая с Бенкендорфом, изложенного дальше.

В двух рассказах («Индонезия» и «Мужество») дана и экзотика. В первом автор устраивает своеобразную встречу в тюремной больнице, где-то в далекой Индонезии, русского большевика и бывшего гусарского вахмистра, семеновца, которого велением судьбы и революции перебросило из родного ему Херсона в английскую колонию на службу субинспектором полиции. В «Мужестве» иноземный моряк-скиталец рассказывает секретарю русского консульства в Константинополе историю геройской гибели русского матроса-потемкинца, попавшего вместе с рассказчиком в Африку в так называемый иностранный легион, несущий охранную службу для французского империализма. Иноземцу-моряку удалось бежать из этого проклятого места

благодаря стечению обстоятельств, нанизанных автором: ему помогает спасенный им от неминуемой смерти туземец-араб, делая услугу за услугу.

Итак, приключенческий элемент торжествует по всей линии.

Даже в наименее искусственном и, как нам кажется, наиболее разработанном рассказе «Командировка» не обошлось без некоторой доли из ряда вон выходящего: вагонное любовное приключение героя с женщиной, которая через два месяца умирает от чахотки.

Эта склонность автора к необычайностям имеет одну положительную сторону: она дает ему возможность широко развернуть его способность к сюжетным построениям с занимательной фабулой. Л. Никулин несомненно искусный рассказчик. Он знает тайны композиции. Когда-то Чехов говорил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно должно выстрелить. У Л. Никулина каждая малейшая деталь — к месту, имеет свое оправдание, свою мотивировку. Кроме того, это очень сдержанный писатель: он чужд аффектации, нарочитых красок, он пользуется изобразительными средствами со скупой экономией. В этом залог большого дальнейшего развития.

Но сдержанность сдержанности рознь. Она может быть признаком и зрелой мощи художника и его худосочия. Толстой восхищался «сдержанностью» Чехова: «Никогда у него нет лишних подробностей, — говорил он,— всякая или нужна, или прекрасна». Это — сдержанность, или, как говорил сам Чехов, «грация» могучего, полнокровного художника, владеющего материалом в совершенстве.

Нельзя сказать, чтобы сдержанность Л. Никулина с несомненностью свидетельствовала о худосочии его таланта. Но в его книге «повестей и рассказов» мы имеем пока образы, которые кажутся нам не более как лишь с и л у э т а м и.

Среди этих силуэтов мы встретим немногие контуры коммунистов, неусыпно делающих свое революционное дело, как следователь Соколов и прокурор Углов («Матросская тишина») или как тот неизвестный, который очутился в тропической колониальной тюрьме и там, смертельно больной лихорадкой, продолжал кипеть энтузиазмом хозяйственного строительства («Индонезия»); контуры революционеров прошлого, как бывший потемкинец матрос Жуков, который «научил мужеству» товарища-иноземца своей неукротимой ненавистью к рабовладельцам и неистребимой жаждой вырваться из их цепких лап и вернуться на свою родину, горящую огнем небывалой революции.

Но это контуры, сделанные, так сказать, мимоходом.

Более четко поданы «опавшие листья» прошлого, разных социальных корней. Одни из них еще пытаются приспособиться к новым условиям и до поры до времени продолжают существовать под новой личиной в Советской стране. Таков советский гражданин Зимин, когда-то взятый из публичного дома, бывший охранник и предатель («Матросская тишина»).

Другие влачат призрачное существование живых мертвецов, осколков прошлого барского быта, как бродяга Галин, отпрыск княжеского рода и бывший владелец имения («Листопад»).

Третьих революционный ветер занес далеко за пределы нашей страны.

Наиболее разработана Никулиным фигура современного интеллигента-спеца, который живет в свое удовольствие, без особенных запросов, который не прочь использовать случайные любовные интрижки и только под влиянием неожиданной смерти его возлюбленной слегка задумывается над проблемами любви и смерти («Командировка»).

Таковы силуэты и контуры книги Л. Никулина. Но, повторяем, все это только силуэты. Чего же в них не хватает, чтобы стать живописными образами, играющими всеми красками жизни?

Тот же Чехов (от которого, несомненно, многое воспринял автор) требовал не только индивидуальной, но и социальной обусловленности персонажей: кроме фигур должна чувствоваться и «ч е л о в е ч е с к а я м а с с а, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом, все», то есть вся «среда». Так учил великий мастер новеллы. Вот в этом-то «дальнем плане», в этой глубине социального, к л а с с о в о г о проникновения в существо персонажа и чувствуется в творчестве Л. Никулина недостаток.

В общем книга Л. Никулина дает интересные по сюжету произведения, которые стилистически тщательно отделаны, привлекают внимание читателя, но чаще скользят по поверхности явлений, чем проникают в их глубину.

Ив. Ежов.

Вивиан Итин. Высокий путь. Гиз. Москва 1927. Стр. 275. Цена 1 р. 50 к.

Сибирь за последние годы сделала немало подарков нашей литературе. Новый сибиряк, пришедший в центр, прежде всего нисколько не областник. Со страниц повестей Итина не сходят одаренные железной волей иностранцы, звучные иностранные слова. Всю нашу действительность, строительство новой жизни и новой культуры Итин воспринимает сквозь призму романтической легенды. Все противоречия нашего переходного времени Итин берет в максимальном романтическом заострении — авиахим в тайге, шаманский бубен и немецкий аэроплан. Вся повесть «Каан Кэрэдэ», кстати сказать лучшая в книге, есть, по существу, легенда о трагической гибели крылатого богатыря, а не рассказ о том, как разбился герой международного перелета Эрмий Бронев.

Но в этой романтической оболочке живет здоровая вера в человеческую силу и человеческую волю, легенда обрастает бытом — живым и сочным. Картины жизни сибирской провинции, полет планериста Мити даны убедительно и ярко. «Многоплановый» сюжет повести развернут умело, — Итин, вообще, хорошо владеет писательской техникой.

В «Каан Кэрэдэ», так же как и в другой «летной» повести «Высокий путь», перевешивают положительные стороны творчества Итина, чего нельзя сказать о «Машине Риэля». В этой повести на борьбу с милитаризмом Итин выдвигает общие и туманные идеи гуманности и пацифизма. Идеи эти, сами по себе в достаточной мере выветрившиеся, к тому же облечены в форму утопии. Писать утопии вообще дело трудное и рискованное. Не удивительно, что «Страна Гонгури» с летающими при помощи радио мудрыми людьми оказалась мертвой и отвлеченной легендой, перегруженной философией, литературой, биологией и т. д. В «Машине Риэля» особенно заметен основной недостаток Итина — неуменье овладеть своими знаниями, своей культурой.

Вместо того, чтобы итти к искусству от жизни, он часто смотрит на жизнь сквозь призму искусства. Даже в «Каан Кэрэдэ» есть женщина — «кустодиевская сдоба», татарин «с аксаковской бородкой», комсомолец, который застыл «как Акентиба». Все это, может быть, и метко, но книжно, не свежо, да и воспринять эти образы может только читатель, который хорошо помнит и картины Кустодиева, и портрет Аксакова, и изваяние Будды Акентибы. Разве надо ориентироваться лишь на такого читателя?

Эта книжная отвлеченность часто заставляет Итина терять чувство меры. Если «аксаковская бородка» не очень хороша, то «синие рубины моря» («Каан Кэрэдэ») и обилие «красивостей» — драгоценных камней и металлов («Машина Риэля») — уже просто плохо. Это напоминает недоброй памяти эстетизм российской буржуазии начала двадцатого века.

У Итина есть мастерство, наблюдательность и острота тематики. Остается пожелать, чтобы он больше учился у жизни, чем у книг, и, забыв о «стране Гонгури», окончательно обосновался бы в СССР.

Евг. Книпович.

А. Чапыгин. Сувенир. Собр. соч., т. II. Гиз. М.—Л. 1927. Стр. 278. Ц. 2 р.

Чапыгин — не новое имя в нашей литературе. Рассказы его стали появляться на страницах журналов лет 20—25 тому назад. В предреволюционные годы он уже был зрелым, сложившимся писателем. При чтении его рассказов на первый взгляд кажется, что имеешь дело с типичным русским прозаиком эпохи реакции, по тематике близким Ремизову и Сологубу. Но впечатление это — мимолетное. Темы как будто и те же, но трактовка, весь внутренний смысл—совершенно иные.

Вместо надрыва, мучительства и мученичества — зрелость подлинного, здорового художника, вместо изощренного психологизма — несомненные черты эпоса.

Судьба героев Чапыгина — не радостна: «всегда, везде безобразье человечье»

(Игошка); но это «безобразье», самая гибель даже — не гнетет и не удручает. Герои Чапыгина гибнут не пассивно, они борются за счастье, за лучшую, не скотскую жизнь (Заморычев в «Сувенире», Федька в «Миноге»). Мертвая мудрость твердит им, как кровельщик Бердяй — кто выше залез, тому падать страшнее; живем мы худо, — хоть без жалости умрем. Но живой человек — Федька-Минога — отвечает: «На чорта помирать — жить хочу!». Вот за это желанье жить, когда в моде было желанье умереть, Чапыгина и не читали. Он шел от жизни во всем — русскому языку научил его не Достоевский, Гоголь и Лесков (как Сологуба, Ремизова, Белого), а Виговский край и Поморье, где еще целы сокровища живого русского языка. За любовь к жизни, за прекрасный русский язык — Чапыгина безусловно стоит читать.

Е. Книпович.

Ольга Форш. Горячий цех. Гиз. Л. 1927. Стр. 196. Ц. 1 р. 75 к.

Роман этот распадается на две части. В первой довольно живо и ярко изображено восстание в 1905 году части киевских войск — как ответ на гибель восстания в черноморском флоте. Здесь — лучшие страницы романа. Во второй части— менее удачной — воспроизводится 1905 г. в Москве — восстание Ростовского полка, митинги и забастовки на заводах и фабриках и, наконец, вооруженное восстание в Москве, баррикады, бои на Пресне, поражение революции.

Главное действующее лицо в романе — Кузьма Лукьянов, потомок нескольких поколений рабочих подмосковного сталелитейного завода. Детство Кузьмы прошло в обстановке «горячего цеха». А затем мальчик осиротел и был взят на воспитание доктором Вередой. Из Кузьмы вышел своеобразный «двоедум»: по воспитанию он тянется к интеллигенции, к «чистой» науке; по кровному же родству и воспоминаниям детства — к рабочему классу и к активному участию в революции. Последнее берет верх — Кузьма участвует в баррикадных боях на Пресне, но мещанско-интеллигентская установка, приобретенная в годы учения, дает себя знать: не говоря уже о постоянных колебаниях, подход к революции у Кузьмы не социально-классовый, а философско-идеалистический; он ищет здесь той «предельной полноты переживаний», которая, «как вера, движет горами». «В этой предельной сгущенности жизни, — поясняет автор,— было богатство от сближения замыслов и результатов, потому что действительность стала тем чудом факира, когда зерно через минуту посадки дает вдруг и цвет и плод».

Этой премудростью Кузьма напитался в тех мистико-философских кружках, в которых он бывал гостем — в Киеве и в Москве. Автор дает волю своей иронии в изображении этих кружков, но сам-то Кузьма всерьез ищет здесь разрешения своих сомнений и оказывается в значительной степени отравленным удушливыми туманами мистики.

В художественном отношении фигура Кузьмы вышла мало убедительной, расплывчатой. То же надо сказать и относительно героини — Пашеньки. Более законченное впечатление оставляют второстепенные персонажи — Рут, Вереда-хуторянин, старая няня.

Роману вредит надуманность главных героев и отсутствие простоты в манере письма. Страницы, посвященные быту рабочих и производству, — наиболее бледные.

А. Цинговатов.

А. П. Чехов. Несобранные письма. Редакция Н. К. Пиксанова. Комментарий Л. М. Фридкеса. Гиз. М. 1927. Стр. 148. Цена 1 руб.

Письма Чехова давно уже стали одной из самых любимых читателями частей его литературного наследия. Кроме шеститомного собрания, выпущенного семьею писателя (первая половина его была переиздана с дополнениями), куда не вошли некоторые письма, помещенные в вышедших раньше сборниках Б. Н. Бочкарева и В. А. Брендера, и сборника, изданного Б. Л. Модзалевским (1922 г.), а также писем, помещенных в выпущенном Пушкинским домом книге «А. П. Чехов» (под редакцией М. Д. Беляева и А. С. Долинина, 1925 г.), еще немало писем осталось

на страницах разных изданий, преимущественно периодических. В лежащей перед нами книжке, которая сохранит свое значение, пока не будет издан полный свод корреспонденций Чехова, около сотни писем и записок. Сколько-нибудь крупных по объему и значительных по содержанию среди них мало (отметим, впрочем, письма к С. А. Андреевскому, Я. П. Полонскому, А. С. Суворину, Д. В. Григоровичу), но все они вместе читаются с интересом. Трогательны внимание Чехова к людям и его заботы о товарищах по профессии и о русском писателе вообще. Он дает советы, пристраивает чужие сочинения в печать, помогает из своего небогатого кармана — и все это со скромностью и простотою. Интересны его замечания о собственном творчестве. «У меня в голове есть мысли, — не без наивности пишет он в 1891 г. Андреевскому, — но они не умеют широкою струею выливаться на бумагу». К большой вещи («Степь») он приступает с робостью, с «привычным страхом написать лишнее», и сетует на свою «компактность», которая и была таким прекрасным его достоинством. Он видел подчас свою слабость именно в том, в чем была его сила: «я имею способность в этом году не любить того, что написано в прошлом; мне кажется, что в будущем году я буду сильнее, чем теперь, и вот почему я не тороплюсь теперь рисковать и делать решительный шаг». Весьма ценны его теоретические наблюдения (например, о прозе поэтов, о «тесном родстве сочного русского стиха с изящной прозой»).

Пользуюсь случаем указать один пропуск. Составитель упустил интересное письмо Чехова к старому таганрогскому товарищу С. Крамарову (1881 г.), напечатанное в ленинградской вечерней «Красной газете» 18 августа 1925 г., № 201 (889). Комментарий местами слишком скуп. Так, в одном письме к Григоровичу Чехов говорит: «Самоубийство 17-летнего мальчика — тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно взяться!.. Хватит ли у нашего брата внутреннего содержания?». Следовало вспомнить и напомнить читателю, что здесь речь идет о рассказе «Его первая любовь», который Чехов за полгода до того напечатал в «Петербургской газете» (1887 г., № 147) и который он затем, все-таки безбоязненно взявшись за него снова, так могуче углубил (переделав его в «Володю» — в сборнике «Хмурые люди», 1890 г.).

Н. Лернер.

Л. Тихомиров. Воспоминания. Предисловие В. И. Невского. Вступительная статья В. Н. Фигнер. Центрархив. Гиз. Ленинград 1927. Стр. XXXVI+515. Тираж 4 000. Цена 5 руб.

Содержание этой книги составилось из шести тетрадей дневников и воспоминаний архива Л. Тихомирова, бывшего народовольческого лидера, затем ренегата и публициста охранительного направления, умершего в 1923 году. Документы эти содержат материалы из его биографии вплоть до его покаяния, а отчасти и за первые годы его жизни после возвращения в Россию. К сожалению, вследствие небрежности составителей в книгу не вошла интереснейшая часть его воспоминаний, касающихся периода «Земли и воли» и «Народной воли», которая была еще прежде опубликована в шестом томе «Красного архива» за 1924 год. От этого книга много потеряла.

Но и в своем настоящем виде она представляет глубокий исторический и психологический интерес. В течение доброго десятка лет человек активно участвовал в революционном движении, причем во вторую половину этого периода был одним из его идейных руководителей — и вдруг, неожиданно для своих единомышленников, открыто выступил в роли ренегата, топча ногами свое прошлое, оплевывая своих друзей и дорогое им дело, а затем, доводя до конца логику отступничества, превратился в одного из самых крикливых и крайних идеологов самодержавия. Как хотите, но эта метаморфоза даже среди богатых примерами измены и предательства летописей революционной борьбы представляет нечто настолько громкое и исключительное, что невольно приковывает внимание и возбуждает жгучий интерес, смешанный с чувством естественной гадливости. С этой стороны воспоминания Тихомирова представляют в полном смысле слова «человеческий документ», заслуживающий внимательного рассмотрения не

только историков, но и психологов, лучше сказать — психиатров.

Книге предпослано два предисловия: одно — В. И. Невского «Герой политического безвременья» и другое — В. Н. Фигнер «По поводу записок Л. Тихомирова». Оба они дополняют друг друга, поскольку первое подходит к анализу ренегатства Тихомирова преимущественно с социально-политической, а второе — главным образом, с личной стороны. Вера Фигнер, бывший товарищ Тихомирова по Исполнительному комитету, допускает, что его ренегатство заложено было в основных чертах его личности, что от него такого сюрприза, как выразился другой его бывший товарищ, Н. Морозов, «всегда можно было ожидать», но, вместе с тем, она полагает, что превращение бывшего революционера и атеиста в ретроградного монархиста и ханжу объясняется психозом, развившимся на почве его индивидуальных задатков. В. И. Невский, не закрывая глаз на личные свойства Тихомирова, но отводя им подчиненное значение, стремится выяснить «социальные причины ренегатства Тихомирова и ему подобных» (из них он называет одного — Присецкого, который, однако, сделавшись либералом, не стал поклонником самодержавной нагайки и не оплевывал публично своих бывших товарищей!) и находит, что «в корне эволюции взглядов Тихомирова, доведшей его до ренегатства, лежат основные ошибки народнического мировоззрения». В этом отношении В. Невский следует за Плехановым, который развил эту точку зрения в своих статьях 1888 года («Неизбежный поворот» и рецензия на брошюру Тихомирова «Почему я перестал быть революционером») и в брошюре «Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова» 1889 года (все они перепечатаны в третьем томе Сочинений Плеханова).

Не нужно даже быть марксистом, чтобы признавать правомерность и необходимость социального подхода к объяснению случаев ренегатства, как и всяких иных явлений исторического и общественного порядка. Разумеется, измена Тихомирова произошла на определенной социальной почве и в определенный исторический момент. Возможно, что его политические взгляды облегчили его эволюцию в известном направлении. Но ведь другие товарищи Тихомирова, стоявшие приблизительно на той же теоретической позиции, что и он, не поддались веянию реакции, духовно его опустошившей, не пошли по его отступническому пути и не поклонились тому, что раньше сжигали. Одни из них, разочаровавшись, отошли от работы, не щеголяя напоказ всему миру своими душевными язвами, не хвастая молодечески своим падением и не приглашая других за собой последовать. Другие, более видные, занимавшие в партии столь же выдающееся место, как в свое время Тихомиров, до конца высоко держали свое знамя, несмотря на то, что лично очутились в положении более тяжелом, чем он, и не проживали на лазурных берегах Женевского озера или в веселом Париже, а томились на Карийской и Шлиссельбургской каторге. В этом смысле падение Тихомирова являлось не правилом, а исключением, объяснявшимся специфическими чертами его личности.

Ведь ренегатства и измены случались не только среди народников. Разве среди марксистов их не было? Было сколько угодно, и даже среди большевиков, партии революционного марксизма. Достаточно напомнить примеры Г. Алексинского, инженера Малоземова, наконец, провокаторов вроде Малиновского. Говорит ли это против марксизма, против коммунизма? Нисколько. После 1905—1906 гг. наступила реакция, вселившая уныние во многих, побудившая немало активных прежде деятелей отойти от политической работы, но нужно было быть Малиновским, обладать совершенно специфическими чертами, чтобы сделаться предателем и пойти на службу к царизму. И не напрасно «Энгельс, в марксизме которого никто не усомнится, был против отождествления Тихомирова с народовольцами вообще, которое, по его мнению, проводилось в упомянутых работах Плеханова (см. ст. А. Водена в «Летописях марксизма» 1927, № 4, стр. 90).

В конечном счете факт шумливого ренегатства бывшего вождя «Народной воли» все-таки сводится к его личным особенностям, из которых часть была известна его товарищам и вызывала среди них лишь добродушные шутки (например, его шпио-

номания), но бо̀льшая часть тщательно им скрывалась. Конечно, если бы революция тогда победила, шуйца Тихомирова не успела бы полностью проявить себя. Конечно, на почве политической и идейной реакции, наступившей после разгрома партии, полностью развернулись все его отрицательные черты, создавшие в конце концов тот образ бесстыдного ренегата, под которым этот жалкий человек вошел в историю. Эта обстановка реакции была необходима для того, чтобы целиком сказалась натура Тихомирова, но главное дело — именно в этой натуре, в тех особенных ее свойствах, которые не «отождествляли» его с другими видными народовольцами, а отличали его от них.

И прежде всего Тихомиров — глубокий мещанин. Его идеал — тихое, мирное, обывательское житие. «Из какой ямы вытащил меня господь! — восклицает он под новый 1891 год. — ... И вот я, если не прочно устроен, то все же содержу семью, слава богу, ни в чем не нуждаюсь, свободен, член своего народа, своей церкви» (стр. 389, 433). Лучшее лекарство для него—верная пенсия (стр. 436). Мечта его сводится к тому, чтобы он и Россия «зажили тихим и благоденственным житием, как жили прадеды» (стр. 431). Материальная нужда сыграла огромную роль в его отступничестве (разумеется, на почве разочарования в революции, но то и другое шло у него рука об руку). У человека, в котором обывательские интересы не говорят так сильно, как в Тихомирове (и, повидимому, в его супруге, тоже бывшем члене Исполнительного комитета, Сергеевой, еще бо̀льшей обывательнице, чем ее супруг), разочарование в прежних революционных путях и материальная нужда, чувствующаяся особенно остро в подавленном душевном состоянии, вовсе не возбуждают тех эмоций и не ведут к таким выводам, как у Тихомирова. А таких господ, как Тихомиров, отсутствие денег, болезнь сына и т. п. толкают на «героические» решения. Революция не оправдала возлагавшихся на нее надежд, она не принесла ни власти, ни силы, ни благополучия, ни почетного положения (в буржуазных кругах, ибо в революционных Тихомиров до своей измены пользовался уважением). А тут средств нет, за квартиру заплатить нечем, лечить сына трудно (хотя и здесь заметим, что в сравнении с многими другими эмигрантами Тихомиров не так уже нуждался), перспектив в смысле хорошего личного устройства никаких — так к чорту же эту обманувшую революцию, не оправдавшую ожиданий партию, продолжающих во что-то верить товарищей! Не удалось устроиться на революционном пути, — попробуем на другом. Царизм устоял, он оказался силен,—авось, он даст нам то, чего не дала революция. Вот душевный процесс, типичный для прирожденного ренегата.

В основе этого обывательского настроения у Тихомирова лежит гнусный животный эгоизм, свойственный низшим видам биологического существования. Представителем такой низшей формы биологического существования и был Тихомиров. Своя шкура для него была на первом плане. «Людей боишься, холеры боишься, смерти (т. е. конца) боишься» — вот как он характеризует свое настроение в 1892 году (стр. 404). Через две недели, говоря о холере, он отмечает в дневнике: «На меня иногда нападает самый печальный и прискорбный страх». Он никак не может помириться с мыслью о смерти: «оттого тоска и страх» (стр. 432). А ведь при этом он является глубоко религиозным человеком, верит в загробную жизнь и т. п. (впрочем, такие ханжи особенно боятся смерти). Скажут, что такое настроение не характерно для молодого Тихомирова. Но, повидимому, это неверно. Тихомиров всегда был таким. В частности, его шпиономания, которую отнюдь нельзя смешивать с осторожностью конспиратора, обращала на себя внимание товарищей в лучшие времена его деятельности, когда никто не мог предвидеть его будущего падения.

С такими задатками сидеть бы Тихомирову смирно за печкою, служить в какой-нибудь канцелярии, — а чиновником он был бы прекрасным, ибо это был прирожденный бюрократ, — наживать добро и чины. Нет, злая судьба бросила его на путь революции, для которой он абсолютно не был создан. «Во всю мою жизнь, — говорит он о себе, — я почему-то всегда

становился в положения, превышающие мои силы» (стр. 356). В этом трагическом для него противоречии между его данными и невольной ролью и заключается разгадка всех его дальнейших злоключений.

Но вот вопрос: невольной ли? В том-то и дело, что таким прирожденным эгоистам, как Тихомиров, свойственно стремиться к высокому положению, к видным местам, в первым ролям. На грош амуниции и на рубль амбиции — вот что отличает таких господ в первую голову. «Я, — говорит он, — воспитался на стремлении к грандиозному» (стр. 390). И он, ханжа и бюрократ в душе, лезет в революцию и непременно на первое место. Более того, уже разочаровавшись в революции, он, однако, не разочаровывается в своих талантах и в своем призвании. Решив перебежать на сторону царского правительства, он продолжает мечтать о крупной роли, какую он будет играть в новом лагере. Это не просто разочаровавшийся человек, потерявший веру в себя и в свое дело, впавший в отчаяние и отходящий в сторону с разбитым сердцем. Тогда он заслуживал бы только сожаления. Нет, он, повернув на 180 градусов, щеголяет своим поворотом, любуется собой, смотрит на себя как на героя, требует, чтобы другие пошли за ним, злобствует на тех, кто остался верен прежним убеждениям. Он уверен, что «имеет некоторую миссию» борьбы с революционными заблуждениями (стр. 331), и с этой целью собирается «основать некоторую новую группу или направление». И не подлежит сомнению, что его ренегатство в значительной мере обусловлено его надеждой на то, что там наверху его оценят, признают великой силой и с высоты престола призовут его к государственной деятельности первого ранга. Поэтому-то он совершил свое отступничество с таким шумом, с печатными выступлениями, с газетными интервью, с обращениями к сильным мира сего. И когда он, гадая по евангелию в минуту жизни трудную, наталкивается на слова о том, что бог даровал Иосифу мудрость и благоволение царя египетского фараона (стр. 364), он, подумав немного, решает, что речь идет о нем и царе Александре III, который должен доставить новому Иосифу Прекрасному такой же пост первого визиря (правда, он не договаривает свою мысль до конца, но она и без того ясна, да и дальнейшие действия его показывают, как он понял указание апостола). Но вот о чем он не сообщает: сколько «указаний» евангелия он пропустил мимо ушей, прежде чем наткнулся на то, которое соответствовало его затаенным мечтам?!

Но, увы, розовые надежды Тихомирова не осуществились и теперь. Самодержавие готово было использовать его как публициста, но — не больше. А тут еще скоро обнаружилось, что с изменою поблек и его литературный талант и что вообще ничего нового сверх обычных разглагольствований реакционных писак он не скажет. И им овладевает новое разочарование. «Я уже знаю, — пишет он (стр. 364, 370, 374) — что сделать в общественном смысле мне ничего не удастся»; «моя судьба — ничтожество», «пустыня кругом». Но он все еще продолжает мечтать о крупной роли, он все еще «готов пуститься в великие дела, спасать человечество или Россию, уж не знаю кого» (стр. 390—391). Вот именно, неважно кого, лишь бы играть роль! И революция привлекала его до тех пор, пока она позволяла играть роль, чувствовать себя «аристократом революции», для которого законы не писаны (стр. 131), а когда она обернулась к нему своей изнанкой, он без церемонии послал ее к чорту.

Была еще одна черта, свойственная среди членов Исполнительного комитета, вероятно, исключительно Тихомирову и, несомненно, сыгравшая свою роль в его падении. Мы имеем в виду его религиозность. Опять-таки и эта черта в нем не случайна. Не только потому, что он происходил из старого поповского рода и в известном смысле носил ханжество в крови. Ведь из духовенства вышли люди, наиболее круто порвавшие со всякой религией. Достаточно вспомнить Чернышевского. Да и вообще «семинаристы» в нашей литературе выступали в качестве самых ярых и убежденных атеистов. Значит, дело здесь не в одном социальном происхождении. Но религиозное ханжество, являющееся одним из проявлений животного эгоизма и страха, лежало в самой натуре Тихомирова, отличавшейся именно этими чертами. Как и у всякого мещанина, бог

для Тихомирова — это податель материальных благ, к которому обращаются в минуту жизни трудную и который своим верховным вмешательством призван заменить отсутствие собственных сил и средств. В этом отношении «вера» Тихомирова ничем не отличается от веры богомольной купчихи или деревенской старушки, более того — от веры полинезийского дикаря или африканского фетишиста.

Он сам говорит, что «только несчастье будит во мне мысль о боге» (стр. 393). Захворал ли у него сын, вышли ли деньги, постигла ли его другая неудача, — он спешит воззвать к своему богу в надежде, что тот поспешит ему на помощь и устроит его делишки. От зубной боли он лечится маслицем от иконы Пантелеймона-целителя, ставит по обещанию рублевую свечу «божией матери» по случаю выздоровления дочери; чтобы спасти от смерти своего приятеля В. Д. Саблина, приговоренного врачами, покупает и освящает для больного образок, который, в случае кончины друга, просит зарыть с ним в могилу, ибо «молитва о. Валентина не бесполезна и на том свете» (стр. 408). В случае нужды он спешит обратиться за помощью к своему небесному покровителю: «Ой, спаси, господи! Плохо, пропадаю!» (стр. 402). И он настолько уверен в том, что небесные силы заботятся об устроении его хозяйственных делишек, что их вмешательством объясняет и получение гонорара. «У нас была Иверская божия матерь, молебен. В этот же день получено жалованье» (стр. 389).

Кажется, законченная фигура? Но, скажут, все это относится к тому времени, когда Тихомиров уже порвал с революцией и стал верноподданным холопом самодержавного и «благоверного» царя. В том-то и дело, что это не так. Если не в полном виде, то в зачатке эта духовная болезнь присуща была Тихомирову и в расцвет его революционной деятельности. Вот поразительный факт, которому трудно было бы поверить, если бы о нем не поведал нам сам рыцарь печального образа (в буквальном и переносном смысле этого слова, ибо речь идет об образке).

«Я, — пишет он, — хранил тщательно образок св. Митрофана, никуда без него не выезжал и часто даже не выходил. Вечно носил в кармане и чувствовал себя спокойным. Когда же со мной не было моего талисмана, я ждал беды. Этот образок — благословение матери — был мною брошен в 1873 г., и через месяц я поплатился за это (!) тюрьмой 1873—1878 годов. Однако образок не пропал. Он как-то непонятно очутился у брата, мать его там разыскала, и мне привезла в Спб. в тюрьму, в 1877 г. Через месяца два я (был) выпущен и с тех пор никогда не решался его оставить. Все бросал, но не его». Этот образок он вывез с собой и за границу. «Вместе с образком св. Митрофания я вывез и хранил также маленькое евангелие, подарок сестры Маши» (стр. 288—289).

Освобожденный из тюрьмы, где он сидел в качестве привлеченного к делу о пропаганде в народе («большой процесс», или процесс 193-х), Тихомиров примкнул к обществу «Земля и воля», в котором быстро занял руководящее место, сделавшись редактором партийного органа и проповедником террора. Затем он участвует в Липецком съезде, входит в Исполнительный комитет партии «Народной воли» и становится членом Распорядительной комиссии (нечто вроде Оргбюро ЦК), редактирует газету «Народная воля», составляет основные документы партии вроде программы, письма к Александру III и т. п. — словом, играет роль одного из главных лидеров партии в разгар ее деятельности и в течение всего этого времени носит в кармане тайком от товарищей образок Митрофания, приписывая ему чисто мистическое фетишистское значение! А затем, уезжая из России за границу для продолжения революционной работы, увозит с собой евангелие, к которому обращается в минуты душевных сомнений, ища в бреде полупсихопатов, составлявших эту книжку, указаний и ответов на мучившие его вопросы. Разве это не чисто личная черта, не имеющая ничего общего с ошибками народничества, и разве эта черта в связи с другими индивидуальными особенностями Тихомирова не должна была в известном смысле предопределить его судьбу — не говорим, его падение, ибо сама по себе она есть признак глубокого духовного упадка, точнее — примитивности его психики, на почве которой расцвело и все остальное?

Нетрудно понять, какие болезненные формы приняла религиозность Тихомирова после его ренегатства. Некоторые образчики этого мы привели выше. Другими, еще более чудовищными, переполнена вся книга...

Факт сокрытия от товарищей по делу таких своих «качеств» кстати свидетельствует о лицемерии Тихомирова, представляющем естественное дополнение к остальным его свойствам. Характерно, что, придя в деревню Ренси к решению порвать с революцией, Тихомиров по возвращении в Париж скрывает это решение от своих товарищей по эмиграции, продолжая сноситься с Лавровым, Оловенниковой и пр. как ни в чем не бывало, так что его покаянная брошюра является для них полным сюрпризом. Спросят: а как же сотоварищи Тихомирова в течение долгих лет не замечали, с кем они имеют дело? Но это другой вопрос, которого мы здесь не касаемся...

Но ведь был же Тихомиров в продолжение ряда лет революционным социалистом? В том-то и дело, что и это подлежит большому сомнению. Мы уже не говорим о том, что революционным социалистом никак нельзя признать человека, не расстающегося с образком св. Митрофания и прячущего его от товарищей. Не рассматриваем и вопроса о том, насколько может быть революционным социалистом человек, стоящий на народнической точке зрения (впрочем, теоретически это на известной стадии общественного развития возможно, хотя бы субъективно, как показал пример многих современников Тихомирова). Но беда в том, что и среди революционных народников Тихомиров представлял своеобразное явление и что в е г о воззрениях уже тогда содержалось много реакционных элементов, как показал Плеханов в цитированных работах, а также в «Наших разногласиях».

Социалистом Тихомиров, в сущности, «совсем не был», как он сам сознается (стр. 132). И если в другом месте (стр. 284) он заявляет, что «долго оставался социалистом, хотя и с прорехами», то мы вправе поверить ему только насчет прорех, а не насчет социализма, ибо социализм с прорехами есть все что угодно, но не социализм. Но и демократом и революционером он был довольно странным, и его пример лишний раз показывает, что можно быть террористом, будучи, в сущности, весьма плохим революционером.

Прежде всего Тихомиров был великодержавным националистом весьма неблаговонного пошиба. Он сам рассказывает, как во время переговоров «Народной воли» с польской партией «Пролетариат» он, «чтобы дать своим более молодым товарищам пример внимания к национальным русским интересам (?), настаивал, чтобы польская группа признала верховный надзор со стороны русской, а также чтобы поляки отказались от прав вести организацию в литовских и белорусских губерниях» (стр. 248). В партии он был представителем «государственнического» начала. Товарищи это замечали, но считали чем-то неважным и неопасным, — возможно, потому, что сами плохо разбирались в национальном и государственном вопросах. На этой почве в Тихомирове постепенно развился своего рода государственный фетишизм, который на почве разочарования принял уродливые формы, превратив для него государство и даже верховную власть, которую он теперь уже мыслит как монархию, в какую-то самоцель, драгоценное сокровище, которое надлежит всячески беречь.

С этим связан и антисемитизм, который у Тихомирова, очевидно, составлял нечто прирожденное. (Надо заметить, что эту же черту он приписывает М. Н. Оловенниковой-Полонской, равно как свой великорусский национализм приписывает также Э. Серебрякову, но мы не знаем, насколько он здесь точен.) Антисемитские выходки заполняют страницы книги в такой же мере, как и ханжеско-православные. С его чувствами и ругательствами по адресу евреев может сравняться только его ненависть к революционерам и брань по их адресу. В общем получается довольно определенная и смачная фигура. Но ясно, что все это создалось не сразу, что задатки всех этих симптомов духовного вырождения были скрыты в психике этого человека издавна. Как не замечали всего этого сподвижники Тихомирова по Исполнительному комитету, это — секрет. Повидимому, не до наблюдений было, а, с другой сто-

роны, надо полагать, что скрытный и сдержанный он был человек.

Впрочем, ведь Н. Морозов, узнав в Шлиссельбурге об измене Тихомирова, заявил: «Этого всегда можно было ожидать». К сожалению, из рассказа передающей об этом В. Фигнер не ясно, на чем Н. Морозов основывал свое суждение. Но и сама она приводит в этом отношении довольно поучительные факты. «Правда,— говорит она, — что после 1 марта Тихомиров удивлял нас признаками шпиономании, побуждавшей его носить траурную повязку по императору, отправиться в церковь и принести присягу его преемнику, а в Москве кинуться в Троице-Сергиевскую лавру, чтоб «очиститься» от предполагаемого шпионства на квартире». Можно быть человеком подозрительным, даже трусливым, но для члена Исполнительного комитета выражать свою осторожность в таких формах, это, как хотите, странно. Разные люди выражают свою конспиративность по-разному (нам, например, рассказывали про лидера эсеров, что он в 1905—1906 гг. носил значок русского народа, чтобы сбить с толку шпиков; но на это пойдет не всякий даже рядовой революционер). Но те штуки, какие, по словам В. Фигнер, выкидывал Тихомиров, все-таки выходили из ряду вон. И что же? «Этому удивлялись, — продолжает В. Фигнер, — над этим смеялись, но считали не больше как комедией или болезненной подозрительностью, которая пройдет» (стр. XXIV). И на странности Азефа, отличавшие его от обычного типа революционера, сначала не обращали внимания,— вспомнили о них лишь после его разоблачения.

Но можно ли сравнивать предателя и провокатора Азефа с ренегатом Тихомировым, который никого не выдавал, никаких революционных секретов правительству не раскрыл? И да, и нет. В некоторых отношениях Азеф «кроет» Тихомирова, но в других последний может дать Азефу сто очков вперед.

Допустим, что Тихомиров никого не выдавал, но он сделал хуже: он предал революцию. Разочаровавшись, он не отошел тихо в сторону, а выступил с своим отречением публично, чванясь своим отступничеством, приглашая других следовать своему примеру, развращая молодежь, шельмуя тех, кто остался верен революционному знамени. Отныне для него революционеры — это «идиоты», «мелюзга», «мерзавцы», «халуи», «сволочь», «подлецы, которых вешать мало», «проклятые», «анафемы», для которых «и веревки жалко», которых «нужно рвать с корнем», по отношению к которым не допустима «никакая, ни малейшая снисходительность» (стр. 254, 256, 261, 384, 434 и пр.). Можно ли представить себе бóльший цинизм в устах человека, который некогда был вождем партии, толкал других к революции, подстрекал к террору, звал на борьбу во имя народного освобождения! На такие штуки и Азеф был, пожалуй, не способен.

Но, «поливая» так своих вчерашних последователей и единомышленников, бывший лидер «Народной воли» находит в своем словаре одни лишь елейные и умильные славословия по адресу царизма и его агентов. Ольга Новикова, сыщик Рачковский, гр. Д. Толстой, П. Н. Дурново, К. Победоносцев, А. Суворин, В. Плеве, Саблер — все это прекрасные, милые люди, столпы отечества, которых он любит, «душевно уважает», обществом которых дорожит. Нечего и говорить о самом носителе короны Александре III, который ко всем своим многочисленным достоинствам (как же: повесил часть его товарищей, а остальных замуровал в Шлиссельбурге!) присоединил еще и то, что милостиво вернул Тихомирову дворянство. В преклонении перед этим тупым вахмистром на троне бывший убийца его отца доходит до такого хамства, смешанного с глупостью, что при известии о его близкой кончине восклицает: «Но что же будет с Россией и даже с Европой?» (стр. 423). Опять-таки, разве Азеф был на это способен?

Тихомиров не принадлежал к числу тех, кто старается и в самой подлости сохранять осанку благородства. Ренегатство имеет свою логику. И Тихомиров среди самих консерваторов берет такой визгливый тон, что для многих из них оказывается слишком крайним и компрометантным. Таким он оказался, напр., для суворинского «Нового времени». «В своем консерватизме, — меланхолически замечает Тихомиров, — он (Суво-

рин) не переходит известной черты, которую я перехожу. Я отрицаю разные передовые идеи по существу» (стр. 345). И, действительно, Тихомиров набрасывался с одинаковой яростью и на террористов, и на социалистов, и на демократов, и на умеренных либералов, которых он систематически обличал в потворстве террору. Только Победоносцева и К. Леонтьева он считал близкими себе по настроению. И немудрено, что его прочили в преемники Грингмуту на посту редактора «Московских ведомостей». Какая честь для бывшего редактора «Народной воли»!

Да, но все-таки Тихомиров был чисто «идейным» ренегатом, с полицией не сотрудничал, ей не помогал, никаких указаний ей не давал. Но и это неверно. Давал ли он политической полиции какие-либо конкретные указания относительно отдельных лиц, организаций, способов их действия и пр., нам сейчас не известно, но нас ничуть бы не удивило, если бы впоследствии такие факты открылись. Но в своих литературных произведениях, написанных после ренегатства, он дал достаточно разоблачительного материала, в частности относительно действий революционеров в студенческой, в либеральной среде и т. п. Наконец, не следует забывать, что к моменту его перехода в лагерь ликующих и обагряющих руки в крови он и не знал ничего такого, что было бы не известно полиции. За последние годы эмиграции он стоял в стороне от революционных дел, да и дел-то таких в то время почти не было.

Но в общей «идейной» области он с полицией сотрудничал. Одним из первых его шагов после ренегатства (по крайней мере, нам известных) была подача в январе 1889 года записки заведующему политическим розыском за границей П. И. Рачковскому относительно мер к уничтожению вредного влияния эмигрантов на учащуюся молодежь (стр. 268 и сл.). Какие он вел беседы с Дурново, Победоносцевым и пр., нам неизвестно, но зато мы знаем, что в 1891 году он хотел поступить на службу в департамент полиции, но Дурново его туда не принял (стр. 396). Однако Дурново не отказывался использовать его в качестве сведущего человека и в 1892 году вызывал его в Петербург, где спрашивал его мнения «о разных вопросах» (стр. 410). И если Тихомиров не закончил своей карьеры чиновником департамента полиции, то не по своей вине.

Такова была эта по-своему колоритная личность. И в минуты просветления, наступавшие у него обыкновенно после денежных и иных неудач, он сам давал себе правильную оценку. Мы не станем приводить всех отзывов Тихомирова о самом себе («паскуда», «свинья свиньей» и т. п.), но одно место заслуживает быть приведенным: «Презамечательная дрянь я был всегда и с тем остаюсь. Малодушие и мечтание о себе — вот два постоянные качества» (стр. 404). И лучше о Тихомирове не скажешь.

Этими личными свойствами Тихомирова, моральной неустойчивостью в сочетании с огромным самомнением и объясняется в конечном счете его печальная судьба. Одним разочарованием в революционных путях ее не объяснишь. Мало ли террористов становилось потом умеренными кадетами (Присецкий, Караулов), но в своем отступничестве они знали предел, которого не знал Тихомиров, и в ренегатстве желавший играть роль, шуметь, стоять на авансцене и вести за собой других, они не изрекали хулы на все передовые идеи «по существу», они не плакались насчет возможной амнистии, которая даст «десятки вожаков» (стр. 425), они не предлагали своих услуг департаменту полиции, чтобы вместе с ним уничтожать борцов за народное освобождение, они не щеголяли и не хвастались изменой своим прежним убеждениям.

Мы отнюдь не говорим против социально-исторического анализа таких явлений, как измена Тихомирова. Но не забудем, что на одной и той же почве вырастают совершенно различные плоды. Такие редкостные продукты, как Л. Тихомиров, требуют для своего появления специфических условий, и, обобщая их, мы рискуем впасть в ошибку.

Ю. Стеклов.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.
Издатель: Государственное Издательство.
Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14; тел. 5-63-12.